

**ОРИНЬЯ
СТЕПЬ**
**МИХАИЛ
БУБЕННОВ**



**МИХАИЛ
БУБЕННОВ**

**ОРИНЬЯ
СТЕПЬ**

М. БУБЕННОВ





МИХАИЛ БУБЕННОВ

**ОРЯННАЯ
СТЕПЬ**

РОМАН

«СОВРЕМЕННОК»
Москва, 1979

Р2
Б90

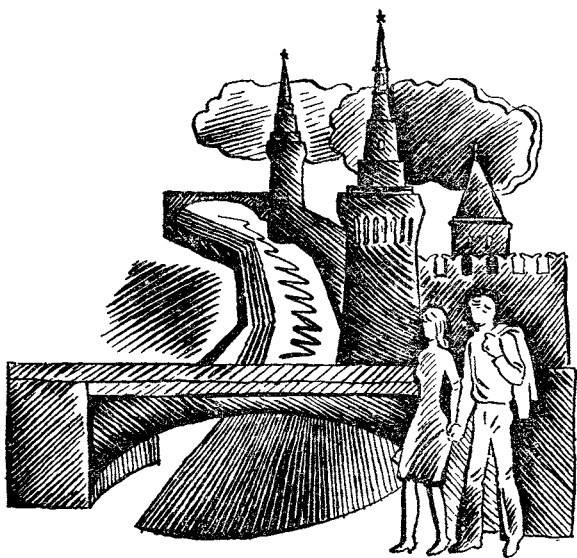
Бубеннов М. С.

Б90 Орлиная степь: Роман.— М.: Современник,
1979 — 383 с.

Роман «Орлиная степь» посвящен теме послевоенного мирного патриотического подвига советских людей, особенно молодежи, в освоении малообжитых просторов Сибири.

Б 70302—025
М106(03)—79 97—79 4702010200

Р2



ГЛАВА ПЕРВАЯ



Утром в степи появились орлы. Они прилетели сюда издалека — на властный зов жизни. Немного отдохнув, они вновь поднялись с земли и, быстро набрав высоту, достойную их могучего, вольнолюбивого племени, тут же ворвались в незримо кочующие над степью воздушные потоки: нет ничего сильнее чудесной страсти парящего полета! Расправив бурые, со светлыми пестринами, ловкие и чуткие крылья, лишь изредка трогая ими воздух, орлы начали стремительно выписывать в раздольном поднебесье огромные круги.

Дождавшись своего часа, степь уже выходила из-под снега. Там и сям бездонно мерцали темной синью озера и залитые полый водой низины, и над ними, не стихая, мельтешило охочее до приволья, разогретое призывами весны неугомонное птичье царство. Кое-где ослепительной белизной сверкали на солнце голые березовые перелески. Огромными серыми шкурами лежали проталины ковыльной целины. Но даже зоркое орлиное око не могло разглядеть, где край этой необъятной степи.

Под вечер, вдоволь налюбовавшись степным привольем, орлы попарно опустились на землю, чтобы выбрать места для ночевки. Одна пара, припоздав, шумно снизилась на проталине с куртинами низкорослых, непролазных тарначей. Едва коснувшись земли, орел сделал несколько сильных, порывистых прыжков, расплескивая помятый ковыль, затем вдруг замер на месте и предостерегающе щелкнул стальным клювом. Тут же позади остановилась его подруга. Крупные и красивые птицы, не двигаясь, некоторое время сторожко и зорко осматривались вокруг, здесь было надежное для поселения место. Куртины тарначей сплошь забиты колючими шарами перекаати-поля, а над изрытой сусликами целиной всюду поднималось густое обтрепанное разнотравье. На фоне далекой кромки неба торчали кисти полыни и бескильницы, висели пустые колоски житняка и метелки лисохвоста. Особенно высоко поднимались сизые кусты волоснеца да покрытые шерстистым войлоком стебли медвежьего уха.

Успокоясь, орлы вышли на чистень и долго стояли здесь рядом, стояли мирно и величаво, задумчиво щуря на вечернюю степь мудрые глаза.

Через несколько дней, обжив в тарначах уютное место, орлы начали строить гнездо. Иногда, заспорив о чем-то, они бросались друг на друга, гулко хлопая тугими крыльями, а спустя время, успокоясь, видели, что все собранное для гнезда было раскидацо вокруг или висело на ветках таволожки.

И работа начиналась сначала.

Это были молодые орлы. Они строили первое в своей жизни гнездо...

II

Озаренная весной света, высоко вздымалась над землей Москва. Как никогда в другое время, открывала она теперь свои просторы. Даже с большой высоты нельзя было объять ее одним взглядом. У нее не было границ; казалось, она расходится проспектами и бульварами во все концы нашей страны. И над всей ее беспредельной панорамой в солнечном половодье ослепительно поблескивало белое камень и стекло, жарко вспыхивало золото...

Леонид смотрел на город из окна.

— Все любишься? — спросила мать.

— Да, смотрю... — ответил Леонид.

— Отсюда есть на что посмотреть! Красота! Не то что из нашего оврага...

— Не вспоминай!

— Не на земле — в земле жили.

Прасковья Михайловна перестала греметь посудой и выпрямилась у стола. Она была маленькая, сухонькая, с пучком седеньких волос на затылке, в простенькой, но опрятной юбке и кофте из немаркого материала. Быстрым взглядом светлых глаз Прасковья Михайловна окинула стены комнаты в бирюзовых обоях, ее бедное убранство и вдруг даже порозовела от избытка счастья. Так случалось уже много-много раз за месяц жизни в этой новенькой и чистенькой комнате в огромном нарядном доме — на такой высоте, что дух захватывало...

— Теперь нам здесь жить да жить!

Но на этот раз Леонид почему-то промолчал. Прасковья Михайловна пытливо присмотрелась к его высо-

кой, дюжей фигуре. «Задумчивый стал, весь в отца,— рассудила она про себя и со вздохом решила, что в простенке между окон надо повесить портрет мужа, погибшего во время войны.— О чем думает он? Может, о женитьбе? Пора бы, что теперь медлить? Стесняется, видно, сказать. Ах, сынок, сынок, да чего же матери-то стесняться?» В этот момент Леонид неожиданно обернулся, и Прасковья Михайловна, увидев его лицо, замерла в тревоге. Лицо Леонида было спокойно-суровым, даже властным, каким бывало у мужа, когда он брался за тяжелое дело, а большие серые глаза казались дерзкими и светились необычайно ярко.

— Леонидушка, да что случилось-то? — с замирающим сердцем проговорила Прасковья Михайловна.— Ты что молчишь? Может, ты стесняешься сказать? Ты говори...

— Я уезжаю,— потупясь, ответил Леонид.

— Уезжаешь? Куда же это?

— На Алтай, мама.

Некоторое время Прасковья Михайловна никак не могла понять, почему сыну непременно надо ехать на Алтай. Леонид усадил мать на диванчик, сел рядом с ней, вытер своим платком ее заплаканные глаза и попытался объяснить, как пришло к нему решение ехать в далекий край, но мать, плача, глядела на него так растерянно, что пришлось замолчать и терпеливо выждать, пока она сама справится со своей внезапной слабостью.

Высвободясь из рук сына, Прасковья Михайловна наконец-то переспросила далеким печальным голосом:

— Стало быть, уезжаешь?

— Надо, мама,— произнес Леонид.

— И никак нельзя... не ехать?

— Нельзя, мама.

— Ты все об этом думал?

— Дело-то ведь вон какое! — сдержанно ответил Леонид.— Помнишь, как отец, бывало, говорил? «Хлеб — всему голова».

«Отца вспомнил,— подумала Прасковья Михайловна.— Значит, уедет. Не удержаться...»

Разгадав ее мысль, Леонид подтвердил:

— Уеду, мама, уеду...

— Тянет тебя к земле,— промолвила Прасковья Михайловна жалобно.

— Это правда,— согласился Леонид.

— Всех бы так тянуло,— проговорила Прасковья Михайловна очень тихо и грустно.— Что же делать там будешь? Пахать целину?

— А что? Трактор я хорошо знаю.

— Инженер — и сядешь на трактор?

— Сяду и буду пахать!

Прасковья Михайловна с горечью вспомнила, как ее Леонид десять лет подряд, часто не зная отдыха, отказывая себе в развлечениях, работал на заводе и учился: сначала в вечерней школе рабочей молодежи, а потом в вечернем институте. Десять лет она видела сына чаще всего склонившимся над книгой. Иногда ее не столько радовало, сколько пугало его упорство. Совсем недавно наконец-то сбылась их мечта: он получил диплом инженера. И мать заметила со вздохом:

— Только выбился...

Вспомнила Прасковья Михайловна и о том, с каким чувством перебирался Леонид из гнилой халупы, ютившейся в овраге, в новый дом, как готовился в ближайшие дни, немного пообставив комнату, справить шумное новоселье. Тогда казалось, что жизнь в новом доме он считал превыше всего. Втайне дивясь незоркости своего глаза, Прасковья Михайловна спросила с грустью:

— Опять в халупе жить будешь?

— Вполне возможно,— ответил Леонид.

Больше не о чем было говорить, и Прасковья Михайловна замолчала. Довольный тем, что разговор с матерью все же закончился мирно, Леонид оживился и сообщил:

— Сейчас пойду в комитет.

— Сегодня же воскресенье,— напомнила мать.

— Сейчас все там...

Прасковья Михайловна вдруг смутилась тем особым смущением, какое бывает у родителей, беседующих с детьми о взрослой жизни, скомкала в ладонях фартук и спросила:

— Уезжаешь-то один?

— Один.

— Неужто никого на примете нет?

Леонид быстро поднялся с диванчика, прошел к окну и вновь засмотрелся на Москву. Ответил не сразу и, на удивление, с непонятной тоской:

— На примете-то есть...

Сердечная тайна сына встревожила Прасковью Михайловну, вероятно, не меньше, чем его внезапное решение уехать в далекий край. Со стесненным дыханием она спросила:

— Кто же такая?

— С нашего завода...

— Звать-то как?

— Светланой...

— Ты уж... открылся ей?

Чубатая голова Леонида медленно опустилась перед окном.

— Господи, весь ты в отца! — воскликнула мать с изумлением, в котором были и радость и боль, затем проворно поднялась с диванчика, подошла к сыну и, легонько уцепившись за его рубаху, прижалась щекой к широкой теплой спине. — Что ж ты, родимый, молчал?

— Так вышло, — негромко ответил Леонид.

— Значит, по сердцу она тебе, — заключила мать и, одобрительно, ласково погладив рукой богатырскую спину сына, продолжала: — Что ж ты, вояка ты мой, с боевой-то медалью, а так боязлив? — И вдруг попросила почти жалобно: — Поговорил бы, Леонидушка, сейчас-то, а? Женился бы...

— Теперь поздно, — отозвался Леонид и, осторожно обернувшись к матери, схватил ее несильно за плечи. — Поздно, мама!

— Вот отчего ты невеселый был, — грустно вздохнув, произнесла Прасковья Михайловна, но тут же с надеждой всмотрелась в лицо сына. — Ну, а она-то как? Примечал ведь? Может, она только и ждет твоего слова?

— С глаз бежит!

— Значит, любит...

У Леонида вдруг вспыхнуло лицо. Мать тут же опустила глаза, чтобы дать сыну время справиться с собой, и с минуту задумчиво трогала пальцами пуговицы на его рубахе. Потом, все еще не решаясь поднять свой взгляд, стукнула ногтем в его грудь.

— Зря ты молчал! И зря молчишь!

— Не буду я, мама, вести с ней такие разговоры, — ответил Леонид. — Вдруг откажет? Что тогда? Как я поеду?

— А она не едет на целину? Позвал бы...

— Она не поедет,— убежденно ответил Леонид.

— Отчего же? Все едут.

— Не для нее это дело, мама.

— Городская очень?

— Да.

— А здоровьице ничего?

— Тоже городское.

— Слабенькая, значит...— Мать помедлила в раздумье.— Может, ты боишься, что и тебя-то, если узнает, отговаривать начнет?

— Да.

Только теперь Прасковья Михайловна наконец-то решила вновь взглянуть в лицо сына, но едва лишь она увидела его, темное от боли и горя, у нее так и зашлось с испуга сердце.

— Неужто так и уедешь?

— Что ты, мама!— воскликнул Леонид.— Да разве я смогу так уехать? Как только все решится в комитете, обязательно встречусь с ней и поговорю...

— Откройся ты ей, сынок, откройся!— озабоченно попросила мать.— Хоть напоследок, а скажи... Пусть знает, а там уж ее дело. А так ведь оставлять ее нельзя: до осени много воды утечет.

— Знаю,— сказал Леонид.

— Стало быть, одному ехать,— в горестном раздумье заключила Прасковья Михайловна.— Одному тебе жить...— К ней вдруг вернулось то волнение, какое она испытала полчаса назад, узнав о решении сына. Она вновь залилась слезами и начала все сначала, как это и бывает в таких случаях.— Но ведь Алтай-то, Леонидушка, где-то очень далеко?— заговорила она, не в силах противостоять своему желанию удержать сына в Москве и по наивности думая, что ее замечание о дальности Алтая может отрезвить его.— Там же, сказывают, совсем дикий край, сплошная зима!

Леонид заулыбался и спросил:

— Мама, а помнишь командира?

— Это какого ранило у нашей деревни?

— Ведь его фамилия Зима...

— О господи!— всплеснув руками, воскликнула Прасковья Михайловна.— Вот смутья-ан!

— Помнишь, как он рассказывал об Алтае?

— Помню, как же! Ох, смутья-ан!

— Умер, наверно.

— Помер! — убежденно произнесла Прасковья Михайловна. — Сам помер, а тебя смутил. Какое ведь тяжелое у человека слово! Вон как все вышло!..

III

...Немецкие войска отступали из Подмосковья.

С начала марта на утренних и вечерних зорях от речки Синей до Хмелевки стало доносить приглушенный гул артиллерийских канонад. Каждую ночь на востоке поднимались багровые, дрожащие зарева пожарищ; когда они сливались воедино, казалось, что над землей встает третья, незаконная в природе, зловещая ночная заря.

Со дня на день хмелевцы ожидали появления наших войск в родной деревне. С неумемной тоской смотрели они на восток. Но в середине марта, вместо того чтобы дойти до Хмелевки, фронтовая ночная заря, не одолев крутых берегов речки Синей, стала слабнуть, стихать, припадать к земле...

Однажды Ленька Багрянов, выйдя на задворки, долго наблюдал за востоком и прислушивался к утренним звукам весны. С крыши сарая падали, радужно вспыхивая на лету, крупные капли. Со всего восточного склона взгорья, почти освобожденного от снега, навстречу солнцу спешили, весело журча, проворные ручьи. У подножия взгорья, в березняке, за которым яркой голубизной сверкала поляя вода, гомонили грачи. Но все это, всегда любимое, Ленька с радостью променял бы на звук одного орудийного выстрела от речки Синей.

Из-за угла сарая выглянул дед Зотей, единственный в деревне из ее взрослой мужской половины, ростом чуть повыше Леньки, худенький, с жиденкой грязно-зеленоватой бородкой. Помедлив, он окликнул парнишку сиплым, крикливым, старческим голоском:

— Ну как, партизан, каковы дела?

Ленька быстро оглянулся на знакомый голос, поражаясь тому, как смог дед Зотей подойти неслышно, и сердито заговорил:

— Ты чего кричишь? В своем ты уме?

— Горяч ты, ох горяч! — мирно заметил дед Зотей, становясь рядом с Ленькой и копаясь сухонькими паль-

цами в бороденке.— Чего ты такой горячий, а? Ишь шипит, как горшок в печи... Таким будешь произрастать, тогда что же из тебя выйдет? Ты всю деревню собьешь с покою. Чего слышать-то оттуда? — Он кивнул на восток.— Уши у меня ослабли, вот беда-причина...

Леньке стало жалко деда.

— Затихло, — ответил он грустно.

— Затихло?

Оглянувшись по сторонам, Ленька добавил:

— Наши силы подтягивают.

— Истинно, истинно! — обрадованно подтвердил дед Зотей.— У меня знамение есть.

— Какое знамение? — насторожился Ленька.

— А вон, погляди! На мой вяз гляди!

Когда деду Зотею было всего-навсего десять лет и его звали просто Зотькой, он посадил на огороде молоденький вяз, с которым был тогда одинакового роста. Прошло полвека, и вяз стал самым большим деревом в деревне. Однажды на благовещение на вершину вяза опустились серебристо-белые аисты. Около часа они торчали на вершине, поворачивая туда-сюда свои красноклювые головы. Выждав, когда они улетели кормиться на ближнее болото, Зотей Корнилыч приказал сыновьям срезать вершину вяза и закрепить на ней старую борону вверх зубьями. Охотно приняв помощь людей, аисты вскоре тщательно уложили на бороне толстый слой прутьев и устроили гнездо: никакие ветры не могли сорвать его с вершины вяза.

С той поры аисты появлялись в деревне каждой весной, сорок с лишним лет подряд, и почти всегда в один день — на благовещение. Завидя птиц, дед Зотей радостно восклицал:

— Вот они, благо вещают!

И только весной 1941 года, когда деду Затею исполнилось сто семь лет, аисты почему-то не прилетели. Дед Зотей закручинился, стал прихварывать, чахнуть и, не скрывая от сельчан, готовиться к смерти.

Теперь над гнездом вновь стояли аисты.

— Вернулись? — не утерпев, крикнул Ленька.

— Возвернулись, родные мои, возвернулись! — проговорил дед Зотей растроганно.— Вот теперь скажи: какое это знамение? Это, парень, благо они вещают нам, счастье... Придут скоро наши!

Только теперь Ленька вдруг с необычайной отчетливостью понял, что ожидания его напрасны.

— Эх, дед ты, дед! — неожиданно крикнул он сквозь слезы и, сорвав с головы шапочку, остервенело ударил ею оземь. — Ничего ты не понимаешь, дед!

За зиму Ленька прослыл в деревне большим военным авторитетом. Еще осенью за связь с партизанами гитлеровцы сожгли Хмелевку, случайно оставив только четыре избы, и потому партизаны, боясь поставить ее под новый удар, не появлялись в ней. Оторванные от мира, хмелевцы жили в полном неведении того, где и как идет война. Смышленный Ленька, успевший за лето и осень, вертясь около мужиков, поднатореть в военных разговорах, частенько солидно растолковывал женщинам, как идут, по его мнению, события на фронте. Раз а три он приносил партизанские листовки, уверяя, что находит их поблизости от деревни. В одной из них, всем на удивление, подтверждались Ленькины слова о разгроме немцев под Москвой. В последнее время Ленька убежденно предсказывал, что наши войска в середине марта будут в Хмелевке, и все женщины охотно верили парнишке.

— Нет, дед, — горестно заключил Ленька, поднимая шапку с земли, — не помогут твои аисты.

В конце апреля, как только просохли дороги, в Хмелевку нагрянули немцы. Они согнали всех хмелевцев в один двор, оцепили его, и тогда волостной староста Порфирий Мокрицын, почему-то мгновенно побурев, возвысив голос, объявил стоявшему впереди деду Зотею:

— Перепись, дед, будет! Понял?

Дед Зотей насторожился.

— Это какая такая? — спросил он и подставил старосте ухо.

— Всеобщая! — выкрикнул Мокрицын.

— А зачем? Мы давно-о переписаны!

— Это прежней властью, а теперь новая.

— Новая? А где-кошь она? Это ты — власть? А чего тогда краснеешь перед народом? Или те власть, что за тобой?

— Здесь прифронтовая полоса, — пояснил Мокрицын, стараясь обойтись с дедом, которого знал давно,

как можно мягче.— Здесь военное положение, а потому вся гражданская власть временно находится в руках наших освободителей.

— Это понятно, что временно...

Немецкий офицер, стоящий позади Мокрицына, вдруг шагнул вперед и молча ткнул старосту кулаком в спину, да так сильно, что тот едва устоял на ногах.

После этого Мокрицын действовал более энергично.

— Сейчас всех перепишем и выдадим бирки.— Он торопливо вытащил из кармана пиджака связку фанерных бирок с разными номерами и потряс ею в воздухе.— Вот они! Кто снимет— расстрел. Все ясно?

— Нам давно все ясно и понятно,— сердито, но тихо ответил дед Зотей.— А вот тебе-то ясно, чего вы затеяли? Я вон сколь царей пережил! Даже самые лютые цари не вешали мне на шею собачьи бирки! Это мы кто сейчас, выходит? А ну, дай сюда!

Дед Зотей неожиданно рванул связку бирок из рук Мокрицына; шнурок лопнул, и бирки разлетелись по луже. Немцы заорали, схватили деда и волоком оттащили в угол двора. Той же минутой прозвучал выстрел из пистолета. Дед Зотей свалился, поджал ноги, как любил спать всегда, и на виду у всех сельчан заснул навечно...

К старосте подходили семьями. Напуганные, дрожащие женщины, держа около себя всхлипывающих детишек, стояли перед ним, не видя света белого... Присаживаясь на чурбан, Мокрицын заносил всех в список, а затем самолично надевал на каждого бирку, неизменно твердя:

— Никогда не снимать! Увидят без бирки— расстрел!

Последней подошла Елена Лаптева с грудным ребенком, закутанном в легкое байковое одеяльце. Надев бирку на шею Елены, Мокрицын приказал:

— А ну, открой мальчика.

— Неужто и ему? Да вы что? Дите ведь!

— Открой! Тебе сказано?

Из глаз Елены брызнули слезы. Кое-как она раскутала ребенка и посадила его к себе на руку. Синеглазый худенький мальчонка, увидев перед собой бирку, вдруг схватил ее и начал вырывать из рук старосты, и Елена с ужасом подумала, что он почти точно повторил жест деда Зотей...

— Погоди, наиграешься,— смущенно сказал Мокрицын и накинул шнурок с биркой на шею мальчонке.

Только Ленька и три его дружка не получили бирки. Ребят в это утро не оказалось в деревне.

Дело случая, но самым старшим из мужчин в избе Сергеевны, где после пожара ютилось более тридцати человек, был тринадцатилетний Ленька Багрянов. Это обстоятельство позволило Леньке считать себя совершенно взрослым и всегда испытывать суровое чувство ответственности за судьбу всех живущих вместе с ним под одной крышей.

Вся зима прошла у Леньки в бесконечных хлопотах. Вставал Ленька рано и, схватив кусок хлеба, если он был, уходил из избы, надевая на ходу шапчонку и пиджачишко. Вместе со своими дружками он собирал по деревне обгорелые столбы и бревна, пилил и колол дрова, расчищал двор от снега, таскал из колодца воду, молол рожь на самодельной мельнице... Чем только мог, Ленька в равной мере облегчал жизнь всех обитателей избы, и те, видя его безмерное добросердечие и бескорыстие, с завистью шептали Прасковье Михайловне:

— Радуйся, мать!

С наступлением весны Ленька вместе с дружками день-деньской бродил по лесам и лугам вокруг Хмелевки. Ребята добывали рыбу, пустив в дело все наличные снасти, и особенно много уток. Правда, ловили они птиц жестоким, браконьерским способом: ставили на озерах подпуска, наживленные рыбьими пузырями, и жадные утки, налетев стайей, в драку заглатывали вместе с пузырями рыболовные крючки.

В это утро ребята, возвратясь с добычей, застали много хмелевских женщин во дворе Сергеевны, а деда Зотю, обмытого и обряженного в последний путь, на широкой лавке в сенях. К удивлению женщин, ребята молча и хмуро выслушали их крикливый, слезный рассказ о новом несчастье в деревне.

Подойдя к сыну — он сидел на чурбане, опустив голову, сдерживая подрагивающее колено, — Прасковья Михайловна жесткими пальцами потрогала его волосы.

— Как жить-то будешь?

— Без бирки? — догадался Ленька. — Велика беда!

— А если попадешься?

— Я не попадусь!

Деда Зотея похоронили под его вязом.

Долго не спал Ленька в ту ночь. Когда крепкий первый сон одолел всех, он осторожно приподнялся и при лунном свете, проникавшем в единственное окно, не забитое паклей и досками, осмотрел спящих,— они лежали под разным тряпьем на низких нарах, застланных истертой соломой. Мать, потревоженная Ленькой, зашевелилась, раза два двинула рукой, словно бы отстраняя кого-то, и сбила с себя и маленькой Катюши ватное одеяло. Ленька прикрыл мать и сестренку, ласково, со вздохом сказал им мысленно: «Спите, милые, спите!» И в эту минуту Леньке вдруг особенно сильно, как никогда за все время разлуки, захотелось видеть отца.

Ленька был в таком возрасте, когда мальчишки, особенно деревенские, не очень-то любят родительскую ласку, даже избегают ее, считая, что всякое ласкание — недостойное мужчин дело. Иван Багрянов в свою очередь высоко ценил стремление Леньки быстрее взрости и вместе с тем его нелюбовь к излишним нежностям. Поэтому отношения между отцом и сыном Багряновыми были на редкость деловыми и, как все истинно деловые отношения, добрыми, сердечными.

Любое крестьянское дело Иван Багрянов делал смело, уверенно, сноровисто, с большой любовью. Леньке очень нравилась отцовская напористость в жизни, его живой, неугасимый огонек в работе. Ленька во всем старался походить на отца. Он тоже охотно брался за любое дело, работал всегда горячо и во многом уже не отставал от взрослых. Но особенное наслаждение испытывал Ленька, когда приходилось работать рядом с отцом: работа приобретала тогда сокровенный смысл и отличалась особой легкостью и красотой. Наибольшим для себя счастьем Ленька считал охотничьи походы с отцом. За один только день, проведенный с ним в лесу или на озере, Ленька узнавал так много интересного и о жизни природы, и о людской жизни, что об этом рассказывал потом друзьям целую неделю.

Вот теперь весна. Не будь войны, сегодня перед рассветом отец тронул бы его тихонько рукой, и Ленька, моментально вскакивая, спросил бы озабоченно: «Проспали?» А потом бы он со своей одностволкой на плече и с пестерькой, в которой шебаршит подсадная кряквя утка, пошел бы рядом с отцом на озеро.

Ленька отчетливо представил, как они идут в темноте, оступаясь в ямки и толкая друг друга, и ему даже почудилось, что он слышит голос отца. Весь дрожа, Ленька улегся на свое место и с открытыми глазами пролежал до рассвета.

Утром матери запретили ребятам выходить из деревни.

Вскоре обнаружилось, что без ребячьей добычи сразу же для всех наступило голодное житье, даже для собак и кошек. До пожара в Хмелевке на каждом дворе была собака, в каждом доме — одна, а то и две кошки. Теперь все они жили около четырех изб. Хмелевцы жалели несчастных животных, всю зиму подкармливали их чем могли, но теперь вынуждены были гнать от себя. Стаи давно отощавших, линяющих собак жалобно, не мигая, смотрели на всех, кто выходил на крыльцо, дрались на помойке, уныло бродили вокруг дворов, обнюхивая все, что попадалось под ноги. А кошки от бездомной жизни уже одичали за зиму; далеко от жилья они не уходили, но, завидя человека, бросались от него как ужаленные; по темным углам на чердаке, под сенями, под крышей сарая, в печах на пепелищах, в прошлогоднем бурьяне у огородов — всюду можно было видеть горящие, дикие кошачьи глаза.

Через неделю у хмелевцев вышло все зерно. Тогда хмелевцы решили открыть заветную яму, где была спрятана редкостная сортовая пшеница, оставленная на семена, — о севе не могло быть и речи... «Зерно дорогое, — рассудили они, — а люди еще дороже».

Несколько лет назад Иван Багрянов, беспокойный, всегда ищущий что-то в жизни, всегда занятый разными опытами в колхозном хозяйстве, раздобыл немного пшеницы «Вятка» и стал выводить из нее особый сорт. Его затея увлекла и Леньку, как увлекало любое отцовское дело, а вместе с ним — и его друзей. Скучно, надоеливо было ребятишкам в долгие зимние вечера сортировать пшеничный урожай, отделяя на посев наиболее крупные, спелые зерна. «Птичья работенка! — ворчали иногда ребята. — Ключешь, ключешь, даже в глазах пестрит!» Но никогда не оставляли начатого дела: каждое зернышко, отобранное на семена, мгновенно освещалось чудесной мечтой о новом, собственном сорте пшеницы, которую уже прозвали в колхозе «багряновкой»...

Утром на северном склоне взгорья, за огородами,

в орешнике, собралось большинство хмелевцев: всем не терпелось увидеть своими глазами зерно, которое должно спасти им жизнь. Но только хмелевцы отрыли яму, только пахнуло на них душистым хлебным запахом, самым лучшим из всех запахов на земле,— от ближней русской печи на пепелище, где сидел наблюдатель, донесся продолжительный тревожный свист: это означало, что на дороге, связывающей деревню с большим, показались немецкие машины. В толпе кто-то крикнул:

— Проверять едут!

— Тихо! — скомандовал Ленька женщинам.— Давай в кусты, а мы сейчас узнаем... Если насчет этих бирок, то мы живо на болото... Только нас и видели! А вот если другое что, тогда спасайся!

Опять раздался свист. Пригибаясь, Ленька пробежал к печи, осторожно глянул из-за нее на деревню и оцепенел от ужаса. С немецких машин, остановившихся у южной околицы деревни, соскочили солдаты с автоматами и бросились к ближней избе. На одной из машин остались три фигуры в рваных окровавленных рубахах. «Наши, партизаны!» — весь побелев, понял Ленька. Он хорошо помнил о строжайшем предупреждении гитлеровцев: если еще раз попадутся партизаны родом из Хмелевки, все хмелевцы будут уничтожены до одного человека и деревня стерта с лица земли. Пригибаясь, Ленька стремглав бросился обратно к хлебной яме, на ходу молча размахивая руками, давая понять ссельчанам, что они должны бежать куда глаза глядят...

Только те, кто бросился за Ленькой, спаслись на болоте, где были сухие пригорки, заросшие елками, березками да ольхой. Всех остальных хмелевцев, от ветхой старухи Михеевны до грудного мальчонки Елены Лаптевой, гитлеровцы расстреляли на глазах у партизан. А потом расстреляли самих партизан и сожгли остальные избы.

Закончив свое черное дело, гитлеровцы случайно наткнулись на яму с мешками пшеницы и увидели на сырой земле следы бежавших в болото. Немецкий офицер, волостной комендант, руководивший расправой, долго крикливо ругался у ямы...

На другой день немцы пригнали на хмелевское взгорье до двухсот крестьян из соседних селений с топорами, ломami, носилками, лопатами... Всех расстре-

Лянных крестьяне похоронили в яме, вырытой когда-то хмелевцами для овощехранилища, развалили все печи, а кирпич, головешки и разный хлам зарыли в ямах и погребках. Потом все взгорье, где стояла деревня, заровняли и запахали плугами, а через день, чтобы оно побыстрее заросло, его заборонили и засеяли той пшеницей «багряновкой», что нашли в яме.

Оставшихся в живых хмелевцев тайно приютили у себя колхозники большой деревни Загорье, где старостой был Кузьма Орехов, преданный Советской власти человек, принявший на себя тяжкий и позорный пост по велению партизан. От людей, работавших по приказу немцев на хмелевском взгорье, он узнал, что в числе трех расстрелянных партизан был Иван Багрянов. Не решаясь передать страшную весть Прасковье Михайловне, и без того убитой горем, Кузьма Орехов решил сообщить ее прежде всего Леньке: этот паренек с твердым, крутым характером, верховодивший среди растерянных, обездоленных хмелевцев, вызывал у старосты чувство удивления и уважения.

Услышав о смерти отца, Ленька вскрикнул, как кричат люди только во сне, падая в пропасть, и несколько секунд, держа оцепеневшие кулаки у подбородка, иступленно смотрел на старосту расширенными, невидящими глазами, словно перед ним стояла тьма, потом упал на землю и забился, и с его губ потекла пеннистая слюна.

Поправлялся Ленька очень медленно. Весь июнь он прожил, не выходя со двора загорского старосты, прожил не по летам молчаливо и задумчиво. Только в начале июля он вдруг попросил старосту рассказать ему подробнее, как погиб отец, выслушал рассказ молча, не промолвил ни одного слова, не заплакал, а только стиснул зубы, нахмурился и долго-долго ковырял палкой землю.

На другой день Ленька отправился на сенокос.

Несколько дней, хотя и нелегко ему было, он с наслаждением косил буйные в то лето травы, ворошил и копнил сено, не в силах насытиться его нежнейшими запахами. Но однажды он увидел, как с ближнего болотца поднялся и потянул на запад серебристый аист. Ленька так и вспыхнул: «Наш!» И с той минуты он мучительно затосковал о родном взгорье.

В начале августа наши войска внезапно нанесли

удар по немецко-фашистской армии на широком участке Ржевского фронта. Три часа подряд от речки Синей до Загорья доносился громовой артиллерийский грохот. Вечером вновь, как и на провесне, по всей извилистой фронтовой линии запылали пожарища, высоко осветив небосвод. По всем дорогам хлынули на запад отступавшие гитлеровские части. Вместе с собой немцы угоняли подневольный народ. Жители Загорья по совету старосты врассыпную бросились из деревни искать спасения в лесах.

Вот здесь-то Ленька и заявил матери, что они должны вернуться поближе к родному взгорью и там дожидаться освобождения. Леньку поддержали все остальные хмелевцы.

На рассвете небольшая группа бездомных с котомками, следуя за Ленькой, немало проплутав в тумане, добралась до памятного места на болоте, где спаслась в день гибели Хмелевки. Когда взошло солнце, хмелевцы увидели взгорье, с которого гитлеровцы начисто снесли их родную деревню, но по недомыслию оставили одну из главных ее примет: столетний вяз с огромным гнездом, откуда добрые домовитые аисты всегда вещали людям благо. Под вязом по всему взгорью плавно колыхалась туда-сюда, точно раскланиваясь перед пробуждающимся миром, золотистая пшеница.

— Поспевает,— прошептал Ленька почти беззвучно.

Весь день и ночь с востока надвигалась война. Дрожащий пыльный воздух был наполнен гулом авиации, тяжкими вздохами взрываемой фугасами земли, грохотом артиллерии, стоном и свистом снарядов... Ночью на болоте стало особенно жутко. Вокруг поднялись багровые, трепещущие, словно порывающиеся взлететь в небо, зарева пожарищ; небо помутнело, воздух насытился запахом дыма и гари. А на утренней заре война подошла вплотную к хмелевскому взгорью. Около часу перепуганные хмелевцы, забившись под низкие разлапистые елки, судорожно царапая засыпанную колючей хвоей землю, слушали близкие взрывы, от которых даже болото вздрагивало, пулеметные и автоматные очереди, хлопки гранат, тревожные человеческие голоса...

Когда на взгорье все стихло, Ленька поднялся и сказал матери:

— Надо узнать, может, там уже наши?

Выйдя с болота с одним из своих дружков, Ленька сразу же увидел, что из леса на взгорье по заросшему проселку и дальше, в сторону большака, быстро двигалась небольшими колоннами наша пехота. Отослав дружка обратно к хмелевцам с радостной вестью, Ленька не выдержал и один стремглав бросился на родное взгорье...

...Прасковья Михайловна нашла сына в березнячке близ речки, где расположился на короткое время пункт медицинской помощи недавно сражавшегося здесь стрелкового батальона. В тени, под березками и кустами орешника, лежали раненные в недавнем бою. Один военфельдшер и две сестры, торопясь, почти не разговаривая, бросались туда-сюда, перевязывали раненых, давали им воды, укладывали их на земле поудобнее и часто поглядывали на проселок в сторону леса, откуда скоро должны были показаться санитарные повозки.

Ленька сидел около молодого раненого командира в разорванной, окровавленной гимнастерке, с забинтованной грудью, лежавшего на плащ-палатке в сторонке от большой группы солдат. Лобастая голова его с потными, зачесанными чьей-то ласковой рукой темными волосами покоилась высоко на аккуратной сложенной шинели; он мог смотреть не только в небо, но и на вершины березок, уходящих от него по склону к речке. Вероятно, не менее десятка осколков вонзилось в тело командира. Но рваное, раскаленное железо пощадило его прекрасное, мужественное, слегка скуластое, смуглое лицо с ясным и быстрым взглядом почти черных глаз. Это лицо сразу и навсегда запоминалось своим необычайно одухотворенным выражением, которое никак не соответствовало положению командира сейчас, когда он был насильно повергнут на землю и потерял немало крови, но которое, должно быть, вполне соответствовало состоянию его духа после победы.

— Вот она, моя мамка! — воскликнул Ленька, неожиданно увидев за березкой мать с дрожащей рукой у сердца. — Что с тобой? Бегала небось? Эх ты, не могла потише! Иди же сюда!

Прасковья Михайловна безмолвно и обессиленно опустилась на траву рядом с сыном. Ленька огорчился, поняв, что напугал мать, взял ее руку с земли, прижал к своей груди.

— Мама, не сердись! — заговорил он смущенно. —

Ты знаешь, кто это? — Он указал на раненого. — Это товарищ лейтенант, мама! Я нашел его вон там, в пшенице...

— Хороший у вас сын растет! — приподнято, почти певуче сказал раненый командир, и стало особенно очевидным, что он, хотя и сильно ослаб от ран, все же очень доволен чем-то и чему-то безмерно рад. — Он мне все рассказал: и о деревне, и об отце, и о пшенице.

Прасковья Михайловна потянула к глазам уголок платка.

— Война, мать! — сказал командир твердо, видимо искренне веря, что в этих его словах несчастная женщина найдет себе утешение. — Я упал, а потом открываю глаза, а надо мной качаются колосья пшеницы... Где я, думаю, куда попал? Колосья хорошие, тяжелые... Какой же это, думаю, сорт? Схватил несколько колосьев, гляжу на них... Нет, думаю, не наша! Не дома я...

— Он, мама, сибиряк! — не без гордости сообщил Ленька. — Настоящий сибиряк! С Алтая... Помнишь, я читал об Алтае?

— Помню.

— Пытливый у вас сын, — сказал командир и даже попытался улыбнуться. — И вот лежу я, гляжу на колосья и вспоминаю родной Алтай. Засеют у нас пашню пшеницей, а летом смотришь на нее и не нарадуешься, колышется она под ветром, как море! И чайки над ним!

— Откуда же чайки? — спросил Ленька.

— Вот видите, опять отвечай, — сказал командир. — Чайки с озер. У нас в степи озер много.

Ленька опустил ресницы, наслаждаясь видением алтайских пшеничных полей...

— В степях у нас — ширь, приволье! — продолжал командир. — А сколько целины! Самолетом засевай и самолетом коси...

Командир внезапно закрыл глаза и заговорил бесвязно:

— Да, да! Где связь? Дайте связь!

Ленька вскочил, негромко крикнул в сторону:

— Сестрица, сюда!

На другой день Ленька прибил к танковой части, проходившей через хмелевское взгорье, быстро понра-

вился танкистам и, передав коротенькое письмецо матери, отправился вместе с ними догонять наступающие войска...

Около года Ленька Багрянов был сыном танковой бригады и вернулся к матери с боевой медалью на военной гимнастерке. Но не пришлось семье Багряновых вновь зажить своим домом на родном взгорье: война да нужда вскоре заставили их перебраться к родичам на окраину Москвы, где у тех догнивала своя халупа в густозаселенном овраге...

IV

В это воскресенье, как и весь март, над домом, где находился комитет комсомола, витал и властвовал дух первых лет революции. В маленьком скверике перед подъездом, в просторном вестибюле, на широкой лестнице, ведущей на второй этаж, в коридорах — всюду толпилась и двигалась молодежь. Здесь не было медлительных, спокойных и равнодушных. У всех парней и девушек так или иначе были возбужденные, радостные, смеющиеся, печальные или даже плачущие лица и взгляды. У всех были на редкость звонкие голоса: обо всем, что волновало, здесь кричали на весь белый свет. В одном месте, окружив безусого паренька с картой в руках, они голосисто спорили о том, куда лучше ехать: в Казахстан или на Алтай, где привольнее степи и добычливее охота; в другом месте не менее азартно и громогласно они обсуждали вопрос о том, как провести прощальный вечер в Москве; в третьем месте они горланили вокруг девушки, которая заливалась горячими слезами, осуждая ее отсталых родителей... Но в разноголосице, которая ни на секунду не стихала здесь, повсюду и без конца на все самые ласковые и певучие лады звучало одно слово: *целина*. Похоже было, что это чудесное слово всем на радость только что родилось в русском языке.

Иногда из глубины дома по коридорам, по лестнице летело, всюду усиливая движение и галдеж, имя какого-нибудь безвестного московского паренька, которому отныне снилась только неведомая целина:

— Иванов Иван!

— Иван Иванов!

Проходила минута, и безусый романтик, вытаращив глаза, бежал откуда-то из скверика, расшвыривая в разные стороны молодой горланящий люд, врвался в дом, как ветер, хлопая дверями, летел вверх по лестнице, не замечая ступеней...

Возвращался он из глубин дома размашистым шагом, часто оборачиваясь назад, с глуповатым от счастья лицом, но перед лестницей останавливался, высоко поднимал над головой красную книжицу в два листка и орал во все горло:

— Е-еду!

И той же секундой он птицей летел по лестнице, очертя голову вырывался из дома, врзался в толпу у подъезда — и над толпой тогда пуще прежнего гремела разноголосица. И бывало, что толпа, покружась, пошумев вокруг счастливого романтика, вдруг немного расступалась, а он, что-то выкрикивая, начинал раз за разом взлетать на воздух.

...Одна из просторных комнат дома, где размещался «целинный штаб», напоминала торговый склад. Чуть не до потолка она была завалена и заставлена самыми различными ящиками, коробками, свертками и тюками простой рабочей одежды; от двери к противоположной стене с большим окном оставался лишь небольшой проход. Перед окном, где толпились вокруг стола девушки, то и дело звенел смех.

За столом с бумагами сидела одна Светлана Касьянова. Она что-то писала авторучкой. В те секунды, когда эта нехуденькая, но тоненькая девушка с изящной статью, в нарядной сиреневой шерстяной кофточке, распрямлялась за столом и смотрела в окно на дымящиеся заводские трубы, весеннее солнце освещало все ее одухотворенное, нежное, румяняющее лицо с высоким, открытым лбом, темными дужками бровей и яркими детскими губами и особенно сильно — ее темно-русые, вьющиеся от природы, тонкие, легчайшие волосы. В эти секунды в ее тихих карих глазах под густыми ресницами зажигался удивительный свет, какой в знойный день держится в заводях, на золотистом песчаном дне. Но она тут же жмурилась, опять склонялась над столом и негромким голосом спрашивала:

— Что же ему?

Легчайшие волосы Светланы, мгновенно рассыпаясь, оголяли ее тонкую красивую шею; на ней оставались лишь маленькие завитки из паутинок, которые так и трепетали, если кто-либо из девушек дышал близко...

У старшей из девушек, Марии Дубцовой, стоявшей позади Светланы, всякий раз сама собой тянулась к ее шее ласковая рука. Трогая золотые завитки, она говорила:

— Давай ему, Светочка, набор инструментов. Знаю, радешенек будет!

— А ей?

— Детскую коляску.

И опять в комнате звенел озорной девичий смех.

За смехом девушки и не слышали, как в комнату вошел секретарь комитета комсомола Можайцев, почти облысевший молодой человек. В глаза ему бросилась многоцветная этикетка на фанерном ящике, он задержался, чтобы рассмотреть ее, но в это время позади открылась дверь. Увидев на пороге Леонида Багрянова, Можайцев с досадой воскликнул:

— Отстань, Багрянов! Сказано же тебе...

— Сказано, да не то,— грубовато ответил Багрянов.

Услышав голоса у дверей, девушки кинулись от стола к проходу, а Светлану точно подбросило с места...

— Ничего другого не скажу, не жди! — вновь раздался голос Можайцева.

— Скажешь!

— Слушай, Багрянов, не морочь ты мне голову! — заговорил Можайцев, начиная сердиться.— На ней и так волос мало. Что ты ходишь за мной? С завода тебя не отпустят, я знаю... Директор поднимет такой вой — свету невзвидишь. С ним и так весь месяц одни скандалы: лучшие ребята с ума посходили. А у нас план! Ну что ты смотришь на меня? Что тебе загорелось? Ехал бы раньше: сгоряча-то, может, и отпустили бы. Иди, брат, иди!

Можайцев двинулся было вперед по проходу, но позади прозвучало сурово, властно:

— Сергей, погоди!

Увидев нахмуренное лицо Багрянова, его пронзительные, непривычно дерзкие глаза, Можайцев вернулся и попросил жалобно:

— Как друга прошу: раздумай.

— Не раздумую,— ответил Багрянов глуховато.

— У-у, дьявол ты упрямый!

Ничего больше не слыхала Светлана.

У нее давно уже пылало не только все лицо, но и вся шея. В последние месяцы Светлана ни о чем не мечтала так страстно, как о встречах с Багряновым, и ничего, кажется, не боялась так, как этих встреч: сердце ее сжималось от незнакомого прежде радостного страха. «Зачем он сюда-то пришел?» — пронеслось у нее в голове. Не оглядываясь, Светлана напрягала весь слух, стараясь не пропустить ни одного слова из разговора у дверей. Когда же она догадалась, о чем идет речь, ее вдруг зазнобило, будто на сквозняке, и она, прижав кулачки к губам, чтобы ненароком не вскрикнуть, вдруг отчего-то перестала разбирать отдельные слова. «Не пускай! Не пускай! Не пускай!» — мысленно, но все равно что есть сил закричала она Можайцеву, требуя и умоляя. Почти месяц, готовя вместе с подружками-комсомолками подарки для молодых добровольцев, уезжающих на целинные земли, она всегда с трепетом бралась за новые списки, появляющиеся на ее столе. Она каждый раз ждала, что вот-вот увидит в них имя Багрянова: по ее мнению, никто из знакомых заводских парней больше, чем он, не заслуживал места и дела в далеком целинном краю. Но поскольку она не собиралась ехать туда, она не допускала мысли, что может ехать туда и он, Леонид Багрянов. Время шло, он не появлялся в списках, и Светлана в конце концов восприняла это как наивернейший признак того, что он любит ее и не хочет оставлять одну в Москве. Она уже считала, что для нее миновала опасность разлуки. И вдруг — вот она... «Да почему он так вдруг? — кричала и терзалась душа Светланы. — Неужели он ничего не знает? Неужели не видит? Неужели не любит? Не может быть! Но как же он решился ехать? Что это значит? Почему я должна остаться одна?»

Ее била дрожь и душили слезы обиды. Она не слышала, как позади вновь собрались подружки, и поразились, когда рядом раздался голос Можайцева:

— Жаль! Очень жаль!

— Значит, уедет? — спросила Дубцова.

— Разве его удержишь? — ответил Можайцев.—

Уедет, дьявол упрямый, уедет, да и за собой, боюсь, многих потянет! Вот беда!

— За ним ребята поедут,— согласилась Дубцова.

— А почему одни ребята? — игриво вставила одна из озорных подружек.— Если хотите знать, и мы поедем. Поедем, девочки, а?

— Поедем, поедем! — смеясь, зашумели девушки.

— Эх, вы!..— укорил их Можайцев.— Одна Светочка умница.

— Нет, почему же!..— точно опомнясь, воскликнула Светлана.— Я тоже еду! Да, я еду! — повторила она слегка дрожащим голосом.

— Да ты что? Уж не серьезно ли? — удивился Можайцев.

— Совершенно серьезно.

— Ну вот, началось!

— Нет, я давно решила...

— Неправда, Светочка!

— Оставьте меня, я еду!

Внезапно разгорячась, Светлана даже выкрикнула последние слова. Она была совершенно неузнаваемой... Только теперь и Можайцев и девушки с немалым удивлением открыли, что у тихой Светланы, во всем облике которой было еще так много детского, отчего все и звали ее ласково Светочкой, далеко не кроткий, голубиный характер, как считалось всегда, а очень и очень твердый, решительный и, возможно, даже самоотверженный. И все поняли: хотя мысль об отъезде на целинные земли и явилась для нее самой совершенно неожиданной, что было очевидно для всех, отныне она, эта мысль, в какой-то связи с Багряновым, владеет ею уже безраздельно.

V

Всю осень, от первых пожелтевших листочков на городских липках и до конца слякотной погоды, Светлана тихонько, таясь, страдала оттого, что не прошла по конкурсу в Московский университет и вынуждена была, не желая оставаться без дела, поступить чертежницей на завод. Застенчивая, необщительная, иногда даже робкая, каких очень и очень редко встретишь те-

перь в Москве, она с большим душевным волнением осваивалась с непривычной работой, знакомилась с людьми в своем бюро, вживалась в шумную жизнь заводской молодежи. Но вот пришло первое воскресенье декабря — и все внезапно изменилось: Светлана вдруг не только забыла свои огорчения, связанные с неудачей в университете, но втайне стала даже радоваться этой неудаче.

В это воскресенье, рано утром, заводские комсомольцы на нескольких автобусах нагрянули на свою лыжную базу в заиндевевшем, будто из сказки, чернолесье близ Москвы-реки. Вот здесь-то Светлана впервые и увидела Леонида Багрянова, о котором уже не однажды слыхала на заводе.

Еще не зная Багрянова, Светлана давно уже удивлялась ему и завидовала. Многие в его жизни, о чем рассказывалось в девичьем кругу, казалось ей удивительным и необычным. Одно то, что он мальчишкой побывал на войне и даже имеет за боевые заслуги медаль, поразило ее несказанно.

И вот первая встреча.

Это был дородный и, должно быть, могучий парень с темно-русый чубом. Ростом он был выше многих, кто толпился на базе, а в плечах куда шире обычной меры. На его чистом, добром и приветливом лице было уже достаточно мужественных, а то и суровых черт. Взгляд его серых глаз, необычайно быстрый, смелый и пронзительный, больше всего говорил о напористом, горячем, а возможно, и крутом нраве...

Многое, очень многое уже выделяло мужающего Леонида Багрянова среди молодых пареньков, какие составляли здесь большинство, но именно это больше всего и понравилось в нем Светлане. Наклонясь к подруге, с которой обувалась в одном углу, она, смущаясь, спросила:

— Вон там... это Багрянов, да?

— Он самый. Понравился? Смотри не влюбись!

— Ну тебя!.. Спросить уж нельзя...

— Опаснейший, Светочка, для нас человек!

— Чем же?

— У него не сердце — камень.

— Знаешь?

— Не одна я знаю.

К Багрянову то и дело подходили молоденькие па-

реньки и девушки, начинающие лыжники, за советами. Он подбирал им ботинки, лыжи и смазывал их мазью. Светлане вдруг тоже захотелось обратиться к Багрянову за каким-нибудь советом, хотя она никогда не любила и стыдилась обращаться к людям без крайней нужды. Это странное желание было как внезапным, так и кратковременным. Оно так смутило Светлану, что у нее мгновенно летней зорькой заалело все лицо.

Она тут же поспешила удалиться с базы. Отойдя в сторону от шумной толпы молодёжи, снующей вокруг крыльца, она в ожидании подруги остановилась на лыжне, проложенной вдоль огромного лесистого оврага. Вскоре на крыльце базы показался Леонид Багрянов. Пока он вставал на лыжи, Светлана думала: «Куда он пойдет? Только бы не сюда!» Но вот Багрянов вырвался на лыжах из толпы и, крикнув что-то назад, в несколько секунд оказался рядом с онемевшей Светланой.

— Вы что же, не решаетесь идти? — крикнул он Светлане, проходя вперед нее на лыжню. — Вы только учитесь ходить? — спросил он, оглядываясь с лыжни и всматриваясь в ее лицо.

— Нет, я умею, — с трудом ответила Светлана.

— Тогда идемте!

Поражаясь тому, что делает, но почему-то не в силах сдержать себя, со сжимающимся от робости сердцем, но одновременно и с внезапной решимостью, Светлана вдруг двинулась вслед за Багряновым...

Минуты через две, остановившись у поворота, Багрянов вновь присмотрелся к незнакомой тоненькой девушке в синем костюме, с пылающим лицом, яркими детскими губами и растерянным взглядом: она догоняла его легко, свободно, но несколько порывисто.

— Хорошо идете, — похвалил ее Багрянов, когда она остановилась поодаль. — Только поменьше волнуйтесь и берегите силы, — посоветовал он и очень просто, по праву старшего спросил: — Как вас зовут?

— Светланой.

— Ну, а меня, если угодно...

— Я знаю...

— Отлично, будем знакомы, — сказал Багрянов, не удивляясь осведомленности Светланы, отчего ей сразу же сделалось немного легче...

Их настигла цепочка лыжников во главе с Костей Зарницыным — коренастым красивым белокурым парнем с голубыми, как у девушки, глазами. Шутник и балагур, он был известен тем, что ради озорства любил все преувеличивать, и хорошее и плохое, чем изрядно веселил знакомых и озадачивал незнакомых. Остановившись, он крикнул:

— Вот рванули, а? Вас не догонишь!

— Где тебе! — с усмешкой ответил Багрянов.

— А морозец-то?

— Не пугай!

Вторым в цепочке был Виталий Белорецкий, смугловатый худощавый парень. Ему не нравилась пустая болтовня, и он нетерпеливо предложил:

— Может, пойдем?

Светлана уже собралась было освободить лыжню, чтобы встать в цепочку последней, но в это время Леонид Багрянов вдруг улыбнулся ей, а ребятам крикнул:

— Торопите? Ну, держитесь!

— Я позади,— поспешила сказать Светлана.

Он ничего не сказал ей, а только вновь улыбнулся, но с таким ласковым укором, что она тут же отказалась от своей мысли...

Над Подмосковьем уже высоко поднялось тихое, с легким морозцем и необычайное для декабря, самого темного месяца в году, солнечное утро. Чистый, прозрачный купол неба, все еще слегка розоватый в зените, по склонам был облужен ярчайшей, почти летней лазурью; только на горизонте, за лесами, опавшими атласными покрывалами лежали синие облака. Но не менее нарядны были и леса. Ночью их легонько подморозило в тишине, и они густо заиндевели: каждая веточка была теперь точно в горностаевом меху, он жемчужно мерцал и искрился на солнце. На белоствольные березовые рощи невозможно было глядеть простым глазом: они стояли будто опустившиеся на землю огневые облака. Так и думалось: залетишь с ходу в такое облако и мгновенно сгоришь в его тихом холодном огне...

Большой, сильный, в темном просторном костюме, Леонид шел легко, ловко, красиво, но не хвастаясь своей силой и умением, без мальчишеского азарта и озорства, не забывая, что он на прогулке... В чернолесье, где уже

легло много снега, а потому не было пользы от палок, он шел не спеша и нередко останавливался, чтобы всмотреться и прислушаться,— он наслаждался светлой лесной тишиной. Пересекая лесные поляны, он обычно переходил на двухшажный, а то и бесшажный ход, особенно на склонах, и здесь давал себе полную волю — у него точно вырастали незримые крылья.

С каждой минутой Светлане все больше и больше нравилось следить за тем, как идет Багрянов, сильно направляя вперед то правое, то левое плечо, как он, делая толчки, вытягивается и дает ход лыжам, как размашисто действует палками, оставляя отметины в снегу по обе стороны лыжни... Его свободное, стремительно скользящее движение, хотя в нем и не было ничего особенного, со временем почему-то стало так волновать, горячить и увлекать Светлану, что и она иногда летела, не жалея сил, пусть и обжигало морозцем пылающие щеки. «Хорошо! Чудесно!» — без конца твердила она себе в такие секунды. Ей было приятно, что впереди нее самый мужественный, самый сильный, самый упорный из заводских парней, тот самый Леонид Багрянов, которого она, еще никогда не видя в глаза, уже почему-то очень хорошо знала. Она была убеждена, что, будь вместо Багрянова кто-либо другой, вся эта прогулка на лыжах стала бы гораздо менее интересной и приятной: ведь в таких прогулках многое зависит от того, кто идет первым в цепочке, от его силы и ловкости, от его характера и состояния духа...

Из всех парней только Багрянов, конечно, обладал тем властным и притягательным качеством, каким положено обладать жожакам. Светлана чувствовала это по себе: ее так и подмывало броситься за Багряновым без всякой опаски с любого склона. «Так бы и лететь за ним! В любые пропасти! — с удивительной ясностью и трезвостью подумалось ей однажды.— Так бы и шла за ним куда угодно. Всю жизнь!» Она мгновенно осеклась, сказав эти слова, и с испугом прислушалась к себе... «Я сумасшедшая, честное слово! — тут же осудила себя.— Ну что я болтаю? Это же глупости!»

На пути вновь поднялся густой смешанный лес. Леонид Багрянов призадержался на его опушке и, кивнув на вершину старой березы, где с резкими выкриками прыгали и взлетали, осыпая иней, нарядные

птицы, впервые после знакомства заговорил со Светланой!

— Слышите, как раскричались сойки?

— Это сойки? — переспросила Светлана, останавливаясь и с живейшим любопытством присматриваясь к птицам. — Красивые, а кричат очень неприятно! Скажите, почему же они раскричались?

— К теплу...

В глубине леса Леонид Багрянов вновь остановился — на этот раз у высокой, в полной зрелости, разлапистой ели, весь снег под которой был осыпан расщепленными шишками. Запрокинув голову, он долго осматривал вершину ели.

— Там белочка? — осторожно приблизясь, шепотком спросила Светлана. — Это она набросала шишек?

— Нет, тоже птицы, — ответил Багрянов. — Клесты. Вон один, розовый, вертится на вершине! Видите? О, запел!

Над лесной тишиной пронеслось: «Цик, цик! Цек, цек!»

Светлана не сразу, но все же увидела поющего клеста.

— Молодец! — сказал Багрянов с восхищением. — Зима, морозец, а он поет. Вот что дорого!

— А он к чему? — спросила Светлана.

— Радостно жить, вот и поет! — ответил Багрянов. — А возможно, и для самочки. Она уже, вероятно, снесла яйцо и сидит в гнезде.

Светлана впервые взглянула в глаза Багрянова.

— Они зимой несут яйца? — спросила она после небольшой паузы и с явным недоверием.

— И выводят птенцов, — ответил Багрянов.

— Вы не шутите?

— Да ведь это всем известно!

— А вот я, например, не знала...

— Ну, вы еще мало жили...

— Как же они в морозы?

— У них теплые гнезда.

— Где же оно? Вы видите?

— А вон оно! Вон, под густой веткой!

Светлане совершенно нестерпимо захотелось своими глазами увидеть гнездышко, где зимой, в морозы, выводятся птенцы, чтобы потом рассказать о нем маме,

но сколько ни вертела головой, осматривая вершину ели, не могла разглядеть его в густой заиндевелой хвое.

— Да где же оно? Где? Где? — спрашивала она шепотком, волнуясь, как ребенок.— Под какой веткой?

— Встаньте вот здесь рядом,— предложил Багрянов.

Когда Светлана послушно встала несколько впереди него, он неожиданно прижал ее левое плечо к своей груди, а правую руку, с которой она зачем-то сняла варежку, поднял вверх — так обычно поступают взрослые с детьми, помогая им разглядеть что-либо в мире быстрыми, беспокойными и неопытными глазами.

— Вон ветка, как шапка... Видите?

— Ах, вон где! Теперь вижу. Вон оно! Вон! — закричала Светлана, вся трепеща от радости и вгорячах совершенно не придавая значения тому, что почти незнакомый молодой человек держит ее у своей груди.

Теперь можно было опустить маленькую озябшую руку Светланы с розовыми, как перышки на грудке клеста, тонкими, просвечивающими ноготками. Но отчего-то вся душа Багрянова вдруг облилась огнем, как не обливалась никогда в жизни, холодным и жгучим, вероятно, таким же, какой царил в природе; и Багрянову внезапно показалось совершенно невероятным расставание со слабенькой, озябшей рукой Светланы. «Эх ты, маленькая! — сказал он ей ласково и растроганно.— Совсем маленькая! Совсем девочка!» Он знал, что уже не имеет права держать руку Светланы, и все же, словно в отчаянии, какие-то секунды еще продолжал держать и греть ее в своей большой горячей руке.

Рядом раздался голос Кости Зарницына:

— Что там такое? Кого увидели?

Только теперь Светлана спохватилась и поняла, что он держал ее руку в своей дольше, чем нужно было, и ужаснулась своей рассеянности. «Да что же это со мной? — спросила она себя.— Как я могла позволить?» Она не знала, куда девать от стыда свои глаза, но в то же время с удовольствием чувствовала, как хорошо согрел он ее озябшую руку, и поторопилась спрятать ее в варежку, чтобы подольше сохранить его тепло. И ей подумалось, что ведь это просто чудо: он без ва-

режек, а сколько в его руках тепла и нежности! Просто чудо!

Через полчаса Леонид Багрянов вышел на высокий, но отлогий берег Москвы-реки. Отсюда открывался большой и чудеснейший простор. Недалеко, в правой стороне, у самой реки, виднелись крыши деревеньки, вытянувшейся в один рядочек, и над ними — самодельные телевизионные антенны; в левой стороне, за широким оврагом, где в густом заснеженном кустарнике держался синеватый сумеречный свет, высоко вздымался крутой, обрывистый берег с сосновой рощей. За Москвой-рекой по всей пойме с лесными островами до самого горизонта холодно сияли под солнцем свежие снега.

Подошла Светлана, а за нею гурьбой все остальные лыжники.

— Отсюда только стихи читать, — раздумчиво произнес Багрянов.

В этот момент Светлана, увидев в заречье на большой поляне стадо лосей, закричала лыжникам:

— Смотрите, смотрите!

Стадо лосей, вероятно напуганное кем-то, ходоко пересекло поляну и скрылось в кустарнике. Около минуты лыжники зорко осматривали побережье, гадая, куда скрылись лесные великаны. И вдруг стадо, чего никто не ожидал, выскочило к реке и понеслось вдоль берега, но на мыске, у речного изгиба, увидев кого-то впереди, смешалось и, завернув, бросилось на лед. Огромный вожак, вытянув горбоносую морду и закинув ветвистые рога на спину, во весь опор повел стадо левее небольшой, слегка дымящейся черной полыньи, держа путь в овраг на этой стороне. Еще один лось, две лосихи и несколько телят, приотстав, врассыпную неслись в стороне от его следа. На середине реки, где снежок лишь слегка прикрывал лед, лось-вожак со всего разбега заскользил, широко растопырив передние ноги и опустив зад: вероятно, в том месте была небольшая ледяная впадина, какие случаются при убыли воды. Он пролетел так метров десять и, увидев, что совсем рядом полынья, забился изо всех сил, стараясь остановиться, и грохнулся на бок... Стадо пронеслось мимо, выскочило на берег и скрылось в чащобе оврага. Лось-вожак несколько раз сильно мотнул головой, царапая рогом снег, потом каким-то чудом, сработав всеми мускулами, ра-

зом вскочил на ноги, бросился вперед, но тут же вновь поскользнулся и со всего размаха ударился двадцатипудовой тушей об лед. Лыжники ахнули, увидев, как над пробоиной среди прыгающих льдинок заметалась его рогатая голова.

— Надо выручать,— сказал Багрянов; выражение его лица в эти секунды, к удивлению Светланы, стало суровым и властным.

— Я в деревню за пешней, а оттуда — к лосю. Оцепите берег и никого туда не пускайте, да и сами не подходите близко. Его нельзя пугать: он избобется об лед.

И Багрянов, взмахнув палками, полетел к деревне...

Раздобыв пешню, он выскочил на Москву-реку и еще издали увидел, что могучий бык за несколько минут бешеной борьбы раскрошил грудью полосу нетолстого льда, отделявшую его от полыньи, и уже плавал в полынье. Он раз за разом, со всей силой вымахивал до подгрудка из воды, безуспешно стараясь выбросить ноги на кромку льда.

Увидев Багрянова, лось отплыл в дальний конец полыньи и почти скрылся в дымке, поднимающейся над водой. Подойдя к полынье со стороны оврага, в том месте, где лось пытался выскочить на лед, Багрянов поспешно принялся за дело. Сильными ударами острой пешни он начал откалывать одну за другой и выталкивать на течение, в полынью, большие льдины. Делая выход к берегу, он отступал шаг за шагом. Постепенно лед становился толще и уже не откалывался с одного удара, но с тем большей напористостью действовал Багрянов пешней, хотя иногда и очень больно секло его лицо ледяной крошкой.

К нему осторожно приблизилась Светлана.

— Можно, я помогу вам отталкивать льдины? — спросила она негромко.

— Вы здесь? Тогда помогайте,— ответил Багрянов и, обернувшись к берегу, молча потряс поднятой рукой, запрещая остальным лыжникам, сгорающим от любопытства, спускаться к реке.

Светлана была очень благодарна Багрянову за то, что он не прогнал ее от себя, и смело, не боясь очутиться в реке, принялась выводить лыжной палкой льдины из проруби, которая вытягивалась к берегу, на стремнину полыньи.

— А пойдет он сюда? — спросила она за делом.

— Пойдет. Он умный...

— Смотрите, смотрите, он уже повернул сюда!

— Соображает. Жить охота!

Лось подплыл довольно близко и, сторожко кося одним глазом в сторону людей, положил морду на кромку льда.

— Устал, — заметил Багрянов, остановившись на минутку, чтобы обтереть платком разогревшееся, облитое потом лицо. — А здоров бычище! В самой силе. Девятый год.

— Это вы по рогам узнали, да? — спросила Светлана.

— По рогам... Скоро сбросит, уже отбаливают...

Он опустил пешню в воду, но не достал до дна и попросил Светлану:

— Идите сюда, промеряйте своей палкой...

Узнав глубину, он ласково подбодрил лося:

— Ну, держись, держись, еще немного!

Снова взявшись за дело, Багрянов стал так бить пешней, что Светлана не могла удивиться, откуда у человека такая яростная и красивая сила. Несколько точных, ловких ударов — и от ног Багрянова отплывала новая льдина. Светлана не успевала теперь выводить их в полынью.

Между тем лось, вероятно уже изрядно устав, стал проявлять нетерпение. Он то отплывал на середину полыньи, то вновь подплавал и клал морду на лед, но с каждым разом все ближе и ближе к людям. Вскоре он подплыл совсем близко к проруби, и Светлана, выводя очередную льдину в полынью, очень хорошо разглядела, какие у него большие, ясные, умные и немножко грустные глаза.

Достав пешней дно, Вагрянов сказал устало:

— Теперь выйдет.

Увидев, что люди бросили на лед все, что держали в руках, и отошли немного в сторону, лось, фыркнув во все ноздри, немедленно направился в прорубь. Раздвигая мелкие льдинки, он быстро, рывками подплыл к берегу, а когда наконец встал копытами на дно, в один бешеный рывок вымахнул на лед. Но здесь, к немалому удивлению Светланы, слегка отряхнувшись, он стал как вкопанный и некоторое время, отдыхая и приходя в себя, осматривался вокруг, поводя в стороны слегка опу-

щенной мордой. Потом, подняв рога, он не спеша вышел на берег, оттуда еще раз оглянулся по сторонам, на людей, собравшихся поблизости, и только тогда уж спокойной рысцой направился в овраг, по следам своего стада...

Все лыжники бросились с берега на лед.

— Сколько мяса-то ушло! — в шутку пожалел Зарницын.

— Пешней бы его, — вполне серьезно сказал Белорецкий.

Светлана посмотрела на них с укоризной и, отвернувшись, своим дыханием согревая озябшие руки, стала осторожненько наблюдать за Багряновым. Не отвечая друзьям, он все еще смотрел в сторону оврага сосредоточенно и задумчиво. О чем он думал? Что вспоминал? Теперь Светлана знала, что у него не только ласковые, теплые руки, но и отзывчивое, доброе сердце. Она еще не понимала, что с ней случилось в эти минуты, и желала только одного: быть всегда-всегда около этого человека...

В следующее воскресенье Леонид Багрянов не появился на лыжной базе. Краем уха Светлана услышала, что его послали в составе бригады в командировку на один из заводов Урала. Как и думала Светлана, лыжная прогулка на этот раз вышла утомительной и скучной.

С той поры со Светланой стало твориться что-то странное. Она почти всегда была чрезмерно возбуждена и жила в постоянной, беспричинной тревоге. Всякая работа и на заводе и дома теперь валилась из рук. Все она делала поспешно, нетерпеливо, будто стараясь побыстрее освободиться для более важного дела. Нигде она не находила себе покоя и места. Все ей чего-то недоставало, все что-то искали и ждали ее глаза...

Леонид Багрянов пробыл на Урале больше месяца. С каждым днем тоска Светланы становилась несносней. Когда же наконец она увидела Багрянова издали во Дворце культуры, ей вдруг подумалось, что легче провалиться сквозь землю, чем встать перед ним: она была убеждена, что он сразу, с одного взгляда, поймет,

как она тихонько, незаметно для людей, умирает от любви, и это, может быть, скорее рассмешит его, чем вызовет какой-то ответ. И она незаметно исчезла из дворца.

Мысль о том, что она полюбила первой и должна искать ответное чувство, совершенно убивала Светлану. Она всей душой рвалась к Багрянову и всячески избегала оставаться с ним наедине, когда случались редкие, долгожданные встречи. Где-то уже в феврале она определенно поняла, что и Багрянов любит ее, а тут над Москвой взлетело и зазвенело, как жаворонок над степью, чудодейственное слово — *целина...*

VI

В течение зимы при каждом воспоминании о Светлане душа Леонида неизменно обливалась тем холодным и жгучим огнем, каким облилась впервые в жизни во время прогулки у Москвы-реки. Вернувшись из командировки, которая показалась ему вечностью, он стал настойчиво искать случая, чтобы встретиться и поговорить с ней... Признание могло произойти быстро и решительно, что было в натуре Леонида, но его внезапно смутило и остановило поведение Светланы. Встречи были досадно редки. Леониду невольно показалось, что это никак не объясняется одной ее чрезмерной девичьей робостью. Он стал искать другие причины, которые могли как-то объяснить ее поведение, и вскоре обратился к самому себе. Однажды у него мелькнула мысль, к которой он и привязался быстро, — мысль о том, что он с первой же встречи со Светланой зарекомендовал себя с самой наихудшей стороны. «Ну, ясно, она причислила меня к тем ухажерам, какие, вероятно, выются около нее тучей», — сказал себе Багрянов. С той поры он решил не добиваться встреч со Светланой, не надоедать ей, а терпеливо выждать, пока она сама не разуверится в своей ошибке. Но все это до крайности осложнило дело. Оставить Светлану в неведении он не мог.

Мать права: до осени много воды утечет. Девичья душа — потемки, с девушками случается, что они выходят замуж с горя, а то и назло.

...В самую последнюю минуту, уже прощаясь с Можайцевым, Леонид вдруг увидел в дальнем конце ком-

наты Светлану в полюбившейся ему сиреновой кофте. По тому, как она стояла, слегка опустив голову и сиротливо сжав плечи, он мог безошибочно определить, что она с напряженным вниманием и волнением прислушивалась к разговору у дверей. «Испугалась! — пронзило Леонида. — Неужели и правда любит?» Он вышел из дома сам не свой и заметался по скверу, понимая, что решающая встреча со Светланой должна состояться сегодня же, вот здесь, пусть ему придется ждать ее до вечера...

Устраиваясь на скамейке в углу скверика, он стал наблюдать за подъездом, где толпилась молодежь. С этой минуты его неожиданно стало мучить чувство виноватости перед Светланой. Пусть она почему-то избегала его, опасалась, но разве ее редкие, случайные взгляды не говорили о том, что он чем-то нравится ей? Стало быть, одно это уже обязывало его отнестись к девушке со всей внимательностью и сердечностью. «Конечно, она обиделась, — думал Леонид от волнения рассеянно. — Решил один, внезапно. Но ведь я же обязан был прежде говорить с ней! Пусть мы еще далеки друг от друга, но все равно я уже обязан!»

Светлана вышла из дома гораздо раньше, чем он предполагал, и, к счастью, почему-то без подруг. Когда она, тоненькая, изящная, в синем пальто, отделанном светло-серым каракулем, вышла из толпы молодежи на асфальтированную дорожку, под молодые липки, Леонид на мгновение увидел ее в пустой, диковатой степи, до колен в бурьянистой траве... «Да разве можно было говорить ей? Разве она поедет? — горячась, подумал Леонид, но тут же решительно возразил себе: — Все равно я обязан был сказать! Все равно! Вон она как обижена!» У Светланы в самом деле был обиженный и взволнованный вид. При виде Багрянова у нее на мгновение удивленно поднялись брови, она порозовела, но впервые сдержалась, не прибавила шагу...

Поднявшись со скамьи, Леонид своей фигурой, как глыбой, загородил ей дорогу и, полуприкрыв глаза, едва сдерживая волнение, сказал тихо и несколько урюмо:

— Я ждал вас...

У Светланы то пылало, то бледнело лицо. И все же она в первый раз за все время знакомства осмелилась встретиться с его взглядом.

— Вы хотите что-то сказать?

Леонид кивнул ей в ответ.

— Может быть, о том, что едете на целину?

— Да, конечно,— подтвердил Леонид.

— Спасибо, я уже знаю.

Он освободил ей дорогу и, когда она пошла дальше, смело пошел рядом, сказав:

— Мне надо говорить с вами...

Он был очень рад, что она промолчала и только выше подняла голову, будто вдруг залюбовавшись небом. Теперь можно было в молчании прошагать два-три квартала вроде бы потому, что кругом слишкомлюдно, и тем временем собрать воедино свои мысли.

Когда они очутились у входа на небольшой бульварчик, Леонид остановил Светлану взглядом у невысокой чугунной решетки и, пригнув свисающую над головой ветку клена, загораживаясь ею и рассматривая на ней набухшие почки, наконец-то заговорил:

— Весна! Молодые клестята давно уже улетели из гнезда...

У Светланы дрогнули брови, она еще больше отвела взгляд от Леонида, но в то же время, пусть и несмело, потянулась рукой к ветке клена.

— Вы помните? — едва спросили ее губы.

— Всегда,— ответил Леонид.— А вы?

— Зачем вы спрашиваете?

— Я уезжаю,— продолжал Леонид после небольшой паузы.— Мне будет тяжело без вас, но я не мог не ехать. Простите меня, что я не сказал вам об отъезде раньше.

— Я боюсь спрашивать, почему вы так поступили,— с трудом выговорила Светлана.— Вы хотели уехать один?

— Я этого не хотел.

— Почему же вы молчали?

— Я боялся звать...

— Значит, вы не верили мне?

— Я прежде не верил себе, своим глазам! — ответил Леонид и, не в силах сдержать себя, отпустил ветку и схватил Светлану за руку.— Я не верил, что это возможно...

Светлане было стыдно, что это заметят прохожие. Но рука решительно отказывалась подчиниться: она

точно онемела в большой и ласковой руке Леонида, тепло которой помнилось в течение всей зимы.

— Почему же вы не верили, что это возможно? — переспросила Светлана чуть слышно. — В этом я виновата?

— В счастье не всегда легко поверить.

Светлана вдруг взглянула на Леонида ласково...

— Я боялся звать еще и потому, что вам сейчас будет очень трудно на целине, — досказал Леонид.

— Остаться одной не легче, — возразила Светлана.

Совсем забываясь, Леонид схватил и другую руку Светланы и, заглядывая ей в глаза, спросил:

— Значит, едем? Вместе?

Она поняла все, что он сказал одним словом, и так залилась румянцем, что готова была сгореть на месте или провалиться сквозь землю.

— Не отвечай, — глуховато сказал ей Леонид.

VII

С болью, с кровью отрывалось сердце Леонида от Москвы. Он был весел, вместе со всеми шутил, мечтал, пел песни, но стоило ему замолчать, и его глаза затуманивала печаль. Частенько его тянуло постоять в тамбуре у окна в одиночестве, послушать стук колес и всмотреться в летящие навстречу незнакомые земли. Но когда пошли сибирские равнины, он весь просветлел: деятельного человека не могут оставить равнодушным большие просторы.

Но здесь обнаружилась беда Светланы.

В начале пути она держалась, как и все девушки, весело, беспечно — и вдруг среди ночи, под сибирскими звездами, расплакалась навзрыд... С немалым трудом девушкам удалось выпытать у Светланы, что уехала она из дома тайком: она знала, что просить у родителей согласия на отъезд из Москвы бесполезно. Светлана боялась, что мать, получив через подружку ее прощальное письмо, свалилась замертво: у нее было слабое сердце. Утром девушки послали родителям Светланы телеграмму и письмо — просили их простить свою дочь...

Они ступили на землю Алтая ночью! Леонид — оза-

боченным, но с тайным нетерпением взяться за дело; Светлана — необычно притихшей, с тревогой о матери...

Остаток той ночи, когда их эшелон прибыл в Барнаул, они скоротали кое-как в железнодорожном клубе. Рано утром здесь поднялись невероятная суматоха и галдеж: началось распределение прибывших по районам края, где намечалось освоение целинных и залежных земель.

Специальные уполномоченные из этих районов, собирая группы молодежи у карт, наперебой расхваливали свои совхозы и машинно-тракторные станции, рассказывали о красоте и приволье родных мест...

Около Леонида Багрянова, молчаливо и доверчиво избранного еще в пути своим вожаком, толпилась большая группа москвичей. Леонид терпеливо выслушивал уполномоченных, рассматривал карту, но никому не давал определенного ответа, а только обещал:

— Мы подумаем, подумаем...

Его друзьям нравилась такая осторожность.

— Правильно, Леонид, не на один день едем!

— Некоторые вон как в воду головой!

— Ну и пусть, а мы лучше выберем место!

К группе Багрянова подошел один из представителей. Это был дюжий, выше среднего роста человек, вступивший в пору наибольшей силы, здоровья и возмужалости, с залысинами, отчего лоб казался очень большим и светлым, с мужественным скуластым лицом, обожженным степными морозами и ветрами. Не спеша, изучающе осмотрел он внимательными темными глазами молодых людей, столпившихся вокруг Леонида, и спросил:

— Думаем? Гадаем?

Москвичи обернулись на его голос, и он поздоровался, приветственно помахав всем поднятой рукой:

— Привет, орлы! Привет!

Ему ответили несмело, вразнобой...

— Да, все хвалят свои места! — сказал уполномоченный, показывая на группы новоселов у карт. — У одного район на Оби, у другого — на Чумыше, у третьего рядом тайга, у четвертого — горы! Одна красота! А что делать мне? — И здесь уполномоченный отрекомендовался: — Я главный агроном Залесихинской МТС... Что мне делать? У меня нет никаких красот! У меня степь да степь: самолетом засевай и самолетом коси.

Леонид вдруг разом побледнел.

— Товарищ командир? — спросил он тихо. — Товарищ Зима?

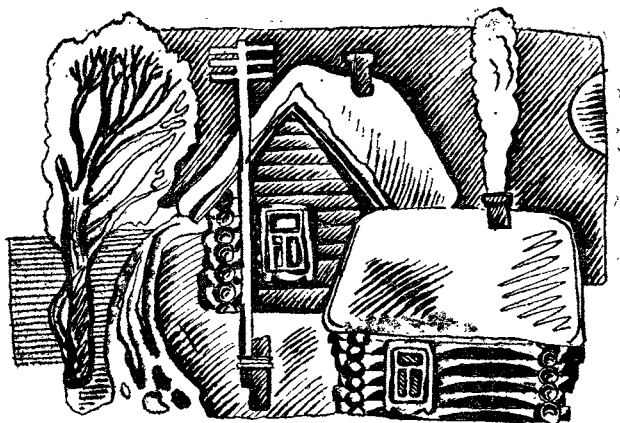
— Погоди-ка, погоди! — быстро произнес Зима и схватил Леонида за руку. — Неужели? Высота сто три? Отдельное дерево с гнездом? Это ты? Такой большой?

Он схватил Леонида за плечи и притянул к себе...

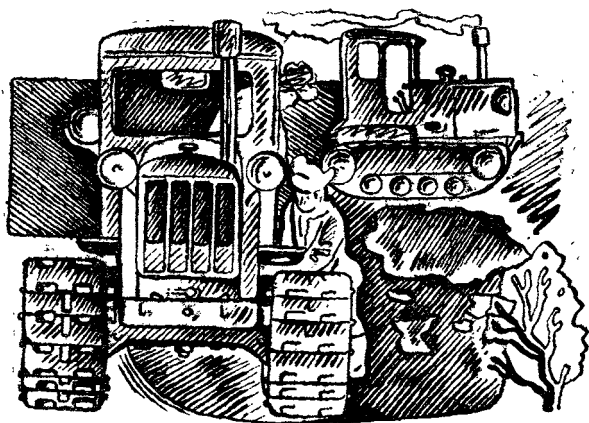
— Я думал, вы погибли, — сказал Леонид.

— Плохого ты мнения был обо мне!

Смотря через плечо Зимы на левый нижний угол карты Алтая, закрашенный желтой краской, Леонид вдруг увидел перед собой огромное золотое море, — широкие теплые волны, всплескивая, уходили до горизонта, и над ними стремительно, порывисто носились белые чайки...



**ГЛАВА
ВТОРАЯ**



Весна на Алтае в тот год была на редкость запоздальной и затяжной. Утрами обычно тянул колючий, пронзительный сиверко. В полдень пригретый солнцем наст все же становился ноздреватым и хрупким, как сухой мох, из-под оседавших сугробов сочилась светлая снежница, на солнцепеке обозначились проталины. Но уже на вечерней заре подмораживало, а ночью крепкий сибирский морозец властвовал как хотел, и огромное утреннее солнце, собираясь в обход, долго стояло в раздумье над густо затуманенной и заиндевелой землей. Только к середине апреля солнце стало припекать покрепче, снег начал уходить порасторопней — и степь наконец-то запестрела...

Село Залесиха — близ границы с Казахстаном, недалеко от Иртыша, откуда начинаются бескрайние, пустыющие земли. Машинно-тракторная станция, созданная здесь одной из первых на Алтае, когда-то работала деловито, сноровисто, шумно, пользуясь большой славой по всей Кулундинской степи, но в военные годы, изрядно ослабев, притихла и стала жить тоскливой, безвестной жизнью. И вдруг опять загремела на весь край: вот так горная речка, обмелев и задремав в омутах, в начале лета, когда снеговые горные вершины припечет солнце, вновь оживает, полнится, вырывается из берегов и обдаёт пеной скалы...

Это случилось, когда заговорили об освоении целинных и залежных земель: в зоне Залесихинской МТС были самые большие на Алтае пустыющие массивы. Уже на провесне в Залесиху прибыла группа комсомольцев-москвичей, променявших ради большого дела столичное житье на степную глухомань. Потом молодые новоселы стали прибывать сюда из самых различных российских мест. К концу марта они заполнили все село. В ожидании выхода в степь они сбивались в бригады, вывозили с ближней станции и изучали машины, знакомились со старожилками и степью. Они всюду появлялись шумными толпами: в конторе станции, на ее усадьбе, у магазинов, в столовой и чайной...

Вторым половодьем шумела жизнь в Залесихе.

Однажды под вечер, когда солнце уже присматривало себе место в глухих степях за Иртышом, из основного бора вышли к Залесихе три трактора; последний, приотстав, тащил тяжелые сани с горланившей песни молодежью. На окраине Залесихи ведущий трактор «С-80» затормозил вдруг, словно перед ямой, а через несколько секунд на гусенице у кабины, разогнувшись, вытянулся во весь свой рост Степан Деряба. Это был сухой жердястый парень лет двадцати пяти в несоразмерно малом ватнике; невольно думалось, что носил его Деряба лишь потехи ради. Как всегда, даже в очень холодное время, голова его была не покрыта; грубые медно-рыжеватые волосы на затылке точно измятые мялкой (ох, не вечной оказалась красота, наведенная по сходной цене в одной из лучших парикмахерских на окраине Москвы!). И тоже, как всегда, Деряба был в веселом, бесовском хмелю: его давно отекшее лицо косоротилось от пьяной ухмылки.

Из кабины трактора «ДТ-54», который остановился позади, выскочил с вопрошающим взглядом черный, похожий на грека тракторист Хаяров. Увидев его, Степан Деряба уничтожающе повел перстом в сторону по-вечернему притихшей Залесихи и произнес барственно-брезгливо:

— Мне не нр-равится эта тишина!

Приподняв левую бровь, Хаяров охотно предложил

— Отменить?

— Ставлю печать,— сказал Деряба.

За спиной Дерябы показался хозяин трактора — Тимофей Репка, широколицый, обожженный морозами и ветрами белобрысый кубанец-здоровяк добродушного вида. Он испуганно взмолился:

— Товарищ бригадир, не надо!

Степан Деряба медленно, зная цену своей выдержки, обернулся на его голос.

— Что-о-о? Что такое? — протянул он, презрительно и кисло морщась: — Ты что лепечешь, малютка? Ты где?

Два трактора рванули вперед. На предельной скорости, подбрасывая гусеницами комья талого снега, точно атакующие танки, они ворвались в Залесиху и двинулись главной улицей. Бог мой, что они делали! Они то выписывали зигзаги во всю ширину улицы, распугивая встречный люд, то кружились один за другим вокруг одиноких изб, то проползали у самых окон, оглушая

сельчан ревом моторов и лязгом гусениц... И вдруг — это случилось уже в центре села — тяжелый, плохо управляемый «С-80» с полного хода наскочил на телеграфный столб, да так, что тот, хрястнув, рухнул на тесовую крышу старенького пятистенного домика; зазвенели лопнувшие провода, полетели куски черных, покрытых плесенью тесин, из всех окон посыпались стекла...

Через минуту из домика на крыльцо ошалело выскочил рябой усач в синей сатиновой косоворотке, залесинский комбайнер, а следом за ним его гости — молодые новоселы. В этот момент у трактора завязалась драка: Тимофей Репка так двинул Дерябе под ребра, что тот, застонав, отлетел прочь, но, устояв все же на ногах, бросился на кубанца и схватил его за грудки.

— Ясно, он, собачья морда! — заорал сибиряк и кинулся к воротам.

Тяжелым кулаком-кувалдой он за один раз уложил в мокрый снег высокого, но слабого в кости Дерябу. Перепугавшись, что недолго и до греха, молодые новоселы бросились оттаскивать усача, несколько минут назад с увлечением рассказывавшего им о своей тяжелой и красивой степной работе. Воспользовавшись этим, разъяренный Деряба вскочил на ноги и полез с кулаками уже на новоселов, которые не давали ему прорваться к сибиряку, а подскочивший Хаяров кинулся к Репке...

Тем временем к месту происшествия из чайной высыпало человек двадцать молодежи, собравшейся здесь на ужин, и подоспел третий трактор с бригадой Дерябы. На санях пьяно закричали:

— Наших бьют!

И пошло, как в любой драке. Зашумели, заголосили на все село! Сибиряк-усач своей кувалдой укладывал в одну кучу наседавшую на него бригаду Дерябы. Сам Деряба, выкрикивая бессмысленные слова, гонялся между тракторами за Репкой, а за ним гонялись парни, выскочившие из чайной. Все остальные, не принимавшие участия в драке, пытались остановить дерущихся, тоже с криками металась между тракторами и по улице и этим значительно усиливали впечатление кулачного побоища.

Ярость еще более опьянила Степана Дерябу. «Меня, Дерябу, бить?! — звенело в его пьяной голове. — И кто

посмел? Кубанское сало?» Раскидывая всех, кто вставал на пути, разъяренный Деряба с налитыми кровью глазами носился туда-сюда за Репкой, который, хотя и казался увальнем, неожиданно проявил необычайную увертливость. Деряба не сносил обид. Его не могло успокоить, что он уже несколько раз достал кулаком кубанца, и достал довольно крепко. Где там! Яростная душа Дерябы требовала более суровой расплаты. Зачем-то задержавшись на секунду у трактора, Деряба вновь бросился в толпу, где скрылся Репка, быстро расчистил себе путь и вновь настиг кубанца. Но в тот момент, когда он замахнулся со всей силой, чтобы произвести с Репкой полный расчет, совсем рядом блеснул огонь, и его оглушило дуплетом. Деряба вытаращил обезумевшие глаза и начал мгновенно трезветь: перед ним с ружьем в левой руке стоял Леонид Багрянов, обвешанный по всему поясу сизоперой болотной дичью...

— Дай сюда нож! — сказал Багрянов, сузив глаза.

— Ты что, гражданин? Ты что лепечешь? — едва опомнясь, заговорил Деряба, через силу презрительно хмыляясь и держа руки за спиной. — Какой нож? Ты за кого меня считаешь? Оскорблять, да? — Он старался как можно скорее перейти в наступление. — Думаешь, глотнул лишнего, так тебе все можно? Даже стрелять? Ты в кого стреляешь, гражданин? — Осмелев, он вдруг шагнул вперед и рванул себя за ворот рубахи. — На, бей! Вот я, бей!

Той же секундой он уже летел со стоном под ноги толпы.

— Бокс! — пояснил кто-то восхищенно.

Леонид Багрянов между тем шагнул вперед, нагнулся над местом, где стоял Деряба, и вытащил из мокрого снежного месива небольшой финский нож с костяной рукояткой. Обтерев нож о полу ватника, он зачем-то потрогал пальцем его жало и сказал Дерябе:

— Ну все, больше мы терпеть не будем!

— Кто мы? — взревел Деряба, все еще под дикий хохот толпы безуспешно пытаясь подняться на ноги.

— Не кричи, ты знаешь кто!..

Вскоре негодующая ватага новоселов вслед за Леонидом Багряновым шумно повалила за село, к усадьбе МТС, где только что зажигались огни...

Незадолго до того, как в Залесихе появились новоселы, директором МТС был назначен Илья Ильич Краснюк — инженер с тракторного завода. Отдав новоселам свой дом в центре села, он жил теперь в конторе станции.

Закончив рабочий день, Краснюк поужинал тем, что принесли ему из столовой, а потом, не раздеваясь, улегся, как обычно, на диване в своем кабинете. Сняв очки и укрывшись шерстяным одеялом до подбородка, он долго, не шевелясь, лежал с открытыми глазами, радуясь тому, как все окружающие предметы исчезают в сумраке. Это был час решительного и полного отрешения от невероятно колготной, изнурительной директорской работы. Испытывая разбитость во всем теле, Краснюк лежал, думал о жизни и сочувственно слушал, как вздыхал и стонал старый дом-крестовик с обшарпанными стенами, прогнившими нижними венцами, щелястым полом, из-под которого тянуло сыростью, затхлостью и мышиной вонью.

Услышав гвалт молодежи у конторы, Краснюк с досадой оторвался от своих дум, поспешно встал, зажег свет и, чуя недоброе, в ожидании стука в дверь остановился, касаясь пальцами края стола, точно в этой позиции он мог как нельзя лучше встретить любые неприятности.

Илья Ильич Краснюк, как говорится в народе, был видный мужчина лет сорока пяти, начавший полнеть, вероятно, от долголетней малоподвижной работы, с нежным розовым лицом, какие не терпят солнечного загара, с пышно-курчавой рыжей шевелюрой, под которой надежно пряталась круглая плешинка. Во всем он был весьма приятный, истинно городской человек, и только одно в нем не нравилось никому на станции: собираясь ли с кем-нибудь заговорить, намереваясь ли читать бумагу, он непременно несколько раз кряду передергивал губами и ноздрями, совершенно точно так, как это делает что-либо грызущий суслик. Но все, конечно, понимали, что это всегда неожиданное и некрасивое сусличье движение в лице Краснюка не так важно в человеке.

Хлопнула одна дверь, потом другая, третья, и, наконец, в коридоре под тяжелыми сапогами, заскрипели половицы, полетела кружка с питьевого бака, зашуршал сорванный со стены плакат... «Опять Багрянов!» — оза-

даченно воскликнул про себя Илья Ильич, мигая светлыми ресницами, и даже порозовел от предчувствия неизбежного неприятного разговора; молодой москвич, назначенный разъездным механиком станции, за неделю жизни в Залесихе не один раз уже портил ему кровь тем, что встречал не в свои дела.

Постучав в дверь, Багрянов тут же открыл ее и вошел в кабинет, затем пригласил Репку и только после этого встретился взглядом с Краснюком. Сдерживая резко дающее себя знать сусличье движение губ и ноздрей, Илья Ильич спросил его высоким, обиженным голосом:

— Ну, что у вас опять, Багрянов?

В ответ Багрянов шумно, негодуя вздохнул и, обернувшись к Репке, кратко бросил:

— Расскажи!

— А чего тут рассказывать? — неохотно заговорил Тимофей Репка, комкая в руках шапку и отводя в сторону затекший левый глаз.— Драка у нас с Дерябой вышла.

— Драка? — удивился Краснюк.— С Дерябой?

— Ну да, с кем же еще! Конечно, я сознаюсь, я первый дал ему под девятое ребро...

— Так. Значит, зачинщик ты?

— Я, сознаюсь...

Лицо Багрянова вдруг стало темным-темно. На мгновение он прицелился в директора пронзительно-дерзким взглядом, потом сурово приказал Репке:

— Расскажи как следует!

— Обождите, вы ездили в бор? — спросил Краснюк, обращаясь к Репке.

— Ездили! — махнув рукой, ответил Репка.

— Ну и что же? Бревна на катки вывезли?

Тимофей Репка отрицательно покачал головой.

— Не вывезли? А почему?

— Товарищ директор! — заговорил Репка, всячески помогая себе в воздухе шапкой.— Да пьянствовали мы в лесу весь день! Видите, какое у меня фото? Как у того кота... Погодите чуток, я зараз всё начистоту выложу. Можно присесть?

— Садитесь, садитесь, — наконец-то предложил Краснюк и сам опустился в кресло.

— Начинай с вечера, — посоветовал Багрянов.

— Стало быть, началось это со вчерашнего вечера, —

начал Тимофей Репка, поминутно стыдливо пряча от директора подбитый глаз.— Попались вчера Дерябе новички... Те, что с Орловщины, знаете? Сосунки, а денег много. Так наш Деряба со своими друзьями за вечер раздел их догола! В одних трусах оставил... А потом, известное дело, на всю ночь гульба. Утром едва головы подняли. Опохмелились, кое-как собрались в лес, а он сует мне в кабину ящик водки. «Холод, говорит, собачий, беру для сугрева». Ну что с ним делать? Прибыли на место, нашли первую клейменую сосну, а она, не поверите, во какая, в два обхвата, и вершиной уперлась в самое небо. Глянул Деряба на сосну, повел глазом от комля до макушки и говорит: «Черт ее не валял такую, хлопцы! Да разве ж ее без пол-литра свалишь?» И пошло! Пока топтались вокруг той сосны, весь ящик опорожнили. А закуска, сами знаете, какая... Было б сало! Опорожнили ящик, сели вокруг той чертовой сосны и давай голосить на весь лес! Все глотки оборвали! Глядь, а уже вечереет.

— И сосну не свалили? — спросил Краснюк.

— Как стояла, так и стоит!

— Безобразие! Ну, а как подрались?

Репка рассказал, как не давал пьяному Дерябе куролесить на тракторе и булгачить народ, как они боролись в кабине за рычаги и тем временем наскочили на телеграфный столб...

С каждой минутой, слушая рассказ Репки, Краснюк розовел все ярче, потом все лицо его вдруг покрылось точно моросью, а в неподвижных глазах засияла чистейшая прозелень. Узнав, что Багрянову только выстрелы помогли остановить драку, Краснюк, весь потно-розовый, точно перегревшийся на солнце, поднялся за столом, отшвырнул какие-то бумаги и молча отошел к окну...

— Гнать! Немедленно гнать! Мы требуем!..— тоже поднимаясь, заговорил Багрянов, с надеждой следя за тем, как у директора сжимаются в кулаки сложенные за спиной руки.

— Дерябу? Гнать?! — оборачиваясь, с внезапным удивлением переспросил Краснюк.— Да вы что, Багрянов, в своем вы уме?

— В своем! — дерзко ответил Леонид.

— Вы понимаете, что вы требуете?

— Понимаю! Гнать, и весь разговор!

— Молоды вы, Багрянов, и горячи,— с сожалением

заговорил Краснюк.— Вы думаете, это так просто — прогнать Дерябу? Да кто это позволит нам? Разве можно гнать людей, приехавших на целину? За что гнать? За пьянство? За карты? За драки? Да большинство целинников пьют, картежничают и безобразят! Оторвались от дома, получили волю да большие деньги — вот и закрутило. Молодо-зелено... Выйдут в степь, возьмутся за дело и забудут о пьянстве.

У Леонида даже упали руки.

Он уже знал, что Илья Ильич Краснюк — непонятный и трудный человек. Работа в МТС была для него дремучим лесом, в котором он плутал безнадежно. Все отлично понимали, что это не вина, а беда Краснюка, как и многих других городских людей, едущих теперь работать в деревню, а потому осторожно и бережно учили его и в дремучем лесу находить верный путь. Но странное дело: вместо того чтобы вызывать чувство благодарности, всякая дружеская помощь в работе неизменно вызывала у Краснюка раздражение. «Самолюбив! — с огорчением говорили о нем на станции.— Нетерпим!» Решительно на все Илья Ильич смотрел своим особым взглядом и видел все в особом, непривычном для других свете. По этой необъяснимой причине своевольный Краснюк, отвергая дружеские советы, очень часто принимал совершенно неожиданные, никому непонятные решения, и, конечно же, нередко во вред делу и себе.

Зная такое о Краснюке, Леонид готов был услышать от него все что угодно, но при этом, однако, не допускал мысли, что он будет как-либо оправдывать и защищать Дерябу, который давно уже пользовался в Залесихе дурной славой. Это было сверх всяких ожиданий.

— Что же вы думаете? — едва сдерживаясь, заговорил Багрянов.— Вы серьезно думаете, что Деряба, когда выйдет в степь, исправится и станет настоящим человеком?

— Станет! Уверен! — воскликнул Краснюк.— Работа лечит.

— Сегодня у него тоже была работа!

— Но не было еще чувства должной ответственности.

— Почему же вы уверены, что оно появится у Дерябы в степи?

— Его рожают большое дело и большое доверие!

По всему выходило, что Краснюк вроде бы и прав: в нашей жизни немало примеров того, как именно большое доверие исцеляло людские пороки. Но Багрянов не зря целую неделю внимательно наблюдал за Дерябой.

— Вы ошибаетесь, товарищ директор! — сказал он Краснюку, поглядывая на него исподлобья. — Деряба не из тех, кого по молодости закрутило. Правильно, Репка?

— Он сам кого хочешь закрутит! — пробурчал в ответ Тимофей Репка. — Самый нахальный паразит, вот он кто! Гнать его надо! Думаете, зачем он сюда поехал? А чтобы около молодых да глупых, которых закрутило, нагреть себе руки. За месяц он всех здесь обобрал. Сколько в его карманы денег утекло, вы знаете? Все от него стоном стонут. И все боятся его...

— Почему же боятся? — недоверчиво спросил Краснюк.

— Он все может.

— Ну, знаете ли, — поморщился Краснюк, — все это только подозрения. А подозрительность — плохой помощник в оценке людей.

Опять выходило, что Краснюк вроде бы прав, но это не только не поколебало, но внезапно еще более укрепило мысль Багрянова добиться изгнания Дерябы. Разговор с директором чем-то точно раскалил неприязненные чувства против Дерябы, и теперь Багрянов знал, что он никогда не отступит от своего замысла.

— Значит, не желаете расстаться с Дерябой? — переспросил он отнюдь не любезно.

— Представьте, не желаю! — с вызовом ответил Краснюк.

Только теперь Леонид, откинув с правого бока уток, осторожно достал из кармана ватника финский нож Дерябы и положил его на угол директорского стола.

— Что это за нож? — быстро спросил Краснюк.

— Это нож Дерябы! — сверкая белками глаз, с горячностью ответил Леонид.

— Ну и что? Где вы его взяли?

— Этим ножом он хотел убить Репку.

— Во время драки? А кто видел?

— Я видел.

— Расскажите...

У Краснюка, когда он выслушал Багрянова, особенно долго и презрительно подергивались губы и ноздри.

— Слушайте, молодой человек,— заговорил он затем со снисходительной улыбкой,— мне все ясно: у вас нет никаких доказательств против Дерябы, чем вы докажете, что это его нож? Найден там, где стоял Деряба? Ну и что? Этого же мало! — Он подумал и, пользуясь случаем, решил окончательно добить горячего, настойчивого парня: — Так что зря вы хотели удивить меня этим ножом! Он не производит на меня никакого эффекта.

— Вы что, вы еще смеетесь? — сузив глаза, сквозь стиснутые зубы крикнул Багрянов.— Не производит? — Он вдруг схватил со стола нож и, слегка ощерив зубы, сделал шаг вперед.— Еще смеетесь?

Мгновенно побелев, Краснюк отшатнулся назад и, оказавшись у дивана, опрокинулся навзничь. Только здесь, быстро замахав красноватыми веснушчатymi руками, он закричал:

— Стойте, стойте!.. Что вы делаете?

— Теперь произвел? — тяжело дыша, с ненавистью спросил его Багрянов.— Ну как, хорош эффект? Нравится? Только знайте: Деряба это делает всерьез...

— Вы ответите...— ослабевшим голосом произнес Краснюк с дивана.

Пряча нож обратно в карман, Леонид бросил Репке:

— Пошли отсюда!

— Нет, погоди,— ответил Репка и выступил вперед.— Раз такое дело,— заговорил он, обращаясь к Краснюку, который торопливо обтирал платком вспотевшее лицо,— я не желаю оставаться у Дерябы. Увольняйте! Вот и все! Мне еще жить охота!

— Хорошо, хорошо! — согласился Краснюк.

— Тогда вот что, товарищ директор...— вновь заговорил Леонид, но уже обычным тоном.— Назначьте меня на его место!

Несколько секунд Краснюк с изумлением всматривался в Багрянова. Так и не отгадав, какие же новые планы зародились в голове надоедливого москвича, но тайне радуясь случаю избавиться от него, он ответил быстро:

— Что ж, я согласен...

— Когда будет приказ? — спросил Леонид.

— Утром.

У крыльца Леонида нетерпеливо поджидала толпа

молодежи. Из чьих-то рук он тут же получил свое ружье.

— Прогонят? — спросили из толпы.

— Сам уйдет, — ответил Леонид.

У окраины Залесихи Леонида встретила Светлана. Она не шла, а бежала, едва успевая вовремя различать в синих сумерках ухабы на изрытой тракторами дороге, и, когда узнала Леонида впереди шумно разговаривающей толпы парней, едва не вскрикнула от радости. Зная, как она все еще стесняется встреч, особенно на людях, Леонид незаметно схватил ее за руку и повел в село и, только когда почти вся толпа разбрелась с дороги в стороны, ласково попенял:

— Зря ты, маленькая, встревожилась!

— Зачем ты связался с ним? — спросила Светлана.

— Он оскорбил меня...

— Когда? Чем?

— Тем, что приехал сюда, — ответил Леонид. —

И пока он здесь, я всегда буду считать себя оскорбленным. Пусть не касается грязными лапами нашего дела!

— Но зачем же его бить? Разве нельзя без этого?

— Никак нельзя! — решительно ответил Леонид. —

Такие, как Деряба, считаются только с грубой силой. Где их боятся и дают им волю, там они наглеют без всякого предела, где не дают им спуска, они трусливы, как шакалы! Да и откуда у них взяться храбрости? Храбрыми становятся только в честном бою.

— Деряба здесь не один, — заметила Светлана. — Теперь ты и будешь драться с ними каждый день?

— Я драться не люблю, а если потребуется, бить их буду. У меня хватит на них силенок! И потом, я здесь тоже не один! Что поделаешь, если на таких, как Деряба, пока никакой управы нет?

— Да ведь они житья тебе здесь не дадут!

— Неправда! Мы им житья здесь не дадим!

Некоторое время Леонид шагал молча, незаметно для Светланы сжимая кулаки, потом, вздохнув, с огорчением продолжал:

— Да, ты права, таких, как Деряба, на целине оказалось немало... Не ожидал! Хотя чего удивляться? Вот мы смотрим на весенние потоки... Хороши? Залюбуешься! Не нарадуешься! А приглядись, сколько они несут

разного хлама? Так и здесь. Только этот хлам не в счет: все равно потоки хороши!

У дома, где жила Светлана, Леонид остановился, сказал:

— Я к вам...

— Мне стыдно будет,— возразила Светлана.

— Куда же мне с дичью?

Подружки Светланы встретили Леонида такой стрекотней, что хоть уши затыкай, в момент расхватили всю дичь и принялись за дело — по всей кухне полетело перо. Леониду пришлось тем временем отвечать на десятки вопросов об охоте и рассказывать, какой породы убитые селезни и утки... Но его все больше и больше тревожили мысли о таких людях, как Деряба. Ощипывая в кругу девушек нарядного крякового селезня, он вдруг и здесь повел речь о том, что его взволновало.

— Любую птицу узнаешь по полету, а вот человека — по тому, как он смотрит на труд,— сказал он сумрачно.— Если воротит хотя бы немножко свою морду от честного труда, вот и видно все его нутро!

Светлана тихонько попросила:

— Успокойся. Забудь.

— Не забывается,— ответил Леонид.— Да, какое ведь странное дело! У нас каждому человеку вольная воля: выбирай дело по душе, по уму, по силам... Чего же, казалось бы, еще надо? О чем еще мечтать? Трудись, где хочешь, и живи на радость себе и людям! Так нет, многих такое вольготное житье не устраивает. Видите ли, им вообще не хочется работать. Им нравится безделье. Им хочется жить легкой жизнью... И ведь живут! Да почему на таких смотреть сквозь пальцы? Пора заставить их трудиться. Наше общество должно быть очищено от всех паразитов и хищников. Раз и навсегда!

Одна из девушек заметила невеселым тоном:

— Очистишь, а там другие подрастут.

— А вот заодно надо сделать так, чтобы больше уж они не подрастали! — ответил Леонид и продолжал убежденно, горячо: — Надо всех, решительно всех, без исключения, приучать к труду с детства. Да не на словах, а на деле. Разве это порядок, когда люди по пятнадцать лет подряд учатся, не видя света белого, наживают лысины за книгой, а ничего делать не умеют?

Светлана с тревожным удивлением следила за Леонидом, и у нее сильнее обычного колотилось сердце: впервые она видела Леонида таким разгоряченным, напористым, шумным и впервые поняла, что у него будет нелегкая жизнь на целине...

II

В этот вечер, впервые за все время жизни в Залесихе, Степан Деряба не появился со своими закадычными дружками в чайной. Сразу же после драки, внезапно развенчанный и опозоренный, он под восторженный хохот молодежи, озираясь по-волчьи, скрылся в ближнем переулочке — жил он в пустовавшем доме...

Жестокó и безраздельно властвовал Деряба во всей Залесихе. Он держал в поклонении и страхе не только молодых новоселов, но и многих старожилов, которым в диковинку были современные столичные «варнаки». Никто, бывало, пикнуть не смел перед ним, воистину всесильным самодержцем Залесихи! И вдруг этот бунт, этот позор... Все кончено! Все в прах! Теперь властвовал и гремел на все село радостный хохот презренной, пофóуявшей волю безусой толпы!

Было отчего задуматься Дерябе...

Встревоженные дружки-приятели захлопотали на весь дом, всячески стараясь услужить «шефу» и поднять его настроение. Они в два счета завалили перед ним весь стол разной снедью. Васька Хаяров, оживленно потеряв руки, тут же схватил бутылку с водкой и, собираясь выбить пробку, заботливо осведомился:

— Ну, что ж... дерябнем?

— Дурак! — мрачно отозвался Деряба. — Думаешь, наша фамилия произошла от этого самого слова? Свистун! Деряба — птица...

— Певчая? — виновато осведомился Хаяров.

— Конечно, еще спрашивает! Всем дроздам дрозд! Васька Хаяров изумленно свистнул.

— Не свисти! — одернул его Деряба. — Не люблю! Осушив залпом стакан водки, Деряба сплюнул под стол и стиснул лоб пальцами левой руки...

У Степки Дерябы выдалось корявое, суковатое детство.

В тридцатые годы отец Степки, сбежав из колхоза, прижился на одной из станций Казанской дороги — в дачной местности под Москвой. Отец немного знал плотничье дело, а вокруг вдоволь было работы: именитые москвичи, имевшие немалые деньги, азартно гнездовались по лесам — строили дачи. Перед самой войной отец купил крохотную комнатенку в частном доме близ станции, который за многолюдье и невероятнейшую архитектуру, долголетний плод многих совладельцев, называли «Шанхаем», и на новоселье, произнося тост, с гордостью объявил, что теперь-то его род пустил корень в московскую землю. Погиб Деряба-отец на третий месяц войны, оставив несчастную жену, не знавшую никакого ремесла, и троих детей во главе с одиннадцатилетним долговязым, нескладным Степкой.

Много горя хлебнула осиротевшая семья. Несколько лет тянулось ее нищенское, голодное житье. Выбиваясь из сил, мать работала на разных тяжелых и грязных работах около станции, а получала ничтожный заработок: его не хватало, чтобы прикупить на рынке для детей хлеба. Ничего, кроме черной корки да какой-нибудь теплой заварухи из крапивы или очисток, они и не видели.

Хороший, сердечный, заботливый был парнишка Степка Деряба. Сколькó пролил он втихомолку слез, видя, как страдает и убивается мать! В первый же год войны он бросил школу и стал всячески помогать матери держать и кормить семью. Но что мог сделать мальчишка? Прежде всего Степка взял на себя заботы об отоплении комнатенки. Он сшил специальную сумку и вместе с друзьями из «Шанхая» стал ежедневно таскать со станции домой уголь да в придачу для растопки то доску, то бревешко... В комнатенке потеплело, сестренки вылезли из-под вороха тряпья на кровати, где сидели всегда как зверьки, голодно зыряя по сторонам, а у матери, почерневшей от горя, заблестели счастьем глаза. Со временем, осмелев, за компанию со всеми «шанхайцами» Степка стал тащить со станции все, что попадалось под руки и годилось на прожитье. Однажды ребяташки нашли у раскрытого вагона брошенный спугнутыми ворами разбитый ящик вермишели, а затем и сами залезли в вагон... Мать редела навзрыд, но суп с вермишелью варила. А потом и пошло: все, что плохо лежало, вмиг оказывалось в ловких руках

Степки Дерябы. Вскоре «шанхайцы» расширили район действия своей воровской шайки: они потащили в брошенных дач все, что можно было сбыть на рынке, а на самом рынке, только позевни, в мгновение ока «лямзали» где луковицу, где картофелину, а где и кусок мяса...

Прошло года три, и мать, всерьез обеспокоенная судьбой подростка Степки, насильно заставила его пойти учиться в ремесленное училище, но в юной Степкиной душе уже свила себе гнездышко хищническая страсть. Он постоянно отлынивал от учебы, чем изводил преподавателей и мастеров, без конца жаловался на тяготы ученической жизни и при первом удобном случае шел «промышлять» с друзьями по ближней округе. Потом он под нажимом матери скрепя сердце работал года два слесарем на газовом заводе, постоянно жалуясь, что работать трудно и малоодоходно. Однажды Степан Деряба вместе с приятелями сплавил «налево», как это называлось в их кругу, партию металлических труб и на этом попался: его судили, и вскоре он оказался в исправительно-трудовой колонии.

Оттуда Степан Деряба, всем на удивление, вернулся намного раньше заслуженного срока, а через месяц вновь оказался за решеткой: теперь уже не за воровство, а за грабеж и убийство. Что с ним было потом, никому не известно: ходили слухи, что он бежал из тюрьмы и еще раз попался на «мокром деле».

На этот раз Дерябу освободили из заключения по болезни. Он чудом добрался домой и здесь долго лежал запертым, как мешок с костями. Мать и сестренки никак не верили, что он выживет и встанет на ноги. Позже они говорили, что их Степан не выжил, а вернулся с того света.

А вскоре, к величайшему огорчению всей семьи, оказалось, что вернулся Степан совсем другим, совсем чужим человеком, точно подменили ему сердце. Ничего не осталось от его юношеской заботливости и доброты. Теперь это был жестокий, темный, мстительный парень. Раз и навсегда чем-то ожесточилась его душа, и теперь ничто не могло исцелить ее: ожесточенность жила в ней, как хроническая болезнь. Бывали случаи, когда Степан даже после небольшой обиды вдруг впадал в такое мрачное, грозное состояние духа, что бедная мать с ужасом начинала читать про себя молитвы. «Лучше

бы ты не возвращался! — со слезами думала она. — Легче бы мне было...»

К этому времени дружков у Степана Дерябы в «Шанхае» не осталось: все, с кем он начинал воровать, давно сидели по тюрьмам. Да он и не собирался воровать. Каждую ночь он просыпался с криками, весь в поту... Но и работать на каком-нибудь заводе он категорически отказался, заявив при этом озлобленно и цинично:

— Хватит ишачить-то!

Ссылаясь на болезнь, Степан Деряба долгое время вообще не работал, а затем, когда оставаться без дела стало нельзя, начал хитрить: поработает недолго в одном месте, а затем несколько месяцев бродит «безработным»; позовут его для объяснений в поселковый Совет — быстренько устраивается на новое место. Он был смекалист, а более того нагл и потому, не моргнув глазом, брал любые частные подряды, главным образом на дачах москвичей. Артель «халтурщиков», которую он создал в поселке, ремонтировала постройки, пристраивала террасы, проводила местную канализацию, оборудовала паровое отопление, рыла колодцы и бурила скважины... Брался Деряба за все при одном неременном условии: если удавалось обмануть доверчивого дачевладельца или принудить его к выгодной сделке. Деряба любил при самой малой затрате сил сорвать большой куш и затем некоторое время наслаждаться вольной жизнью. Раздав друзьям заработок от «халтуры», он в момент «обмывания», чем заканчивалось любое дело, неизменно выкладывал перед захмелевшими собутыльниками колоду карт и после недолгой лихой игры собирал обратно в свои карманы почти все розданные было деньги. Такая операция не совсем нравилась друзьям, но всякий раз, точно околдованные, они оказывались в тенетах дерябинской страсти.

В феврале этого года, зайдя как-то к Ваське Хаярову, работавшему в «пожарке», и захватив у него загулявшую компанию «халтурщиков», Степан Деряба вытащил из карманов две пол-литровые бутылки водки и, ставя их в центр забитого посудой стола, сообщил более оживленно, чем обычно:

— Ну, младое племя, есть халтура!

— Большая? — живо осведомился Хаяров.

— Большая и красивая!

— Говори дело! Давай! — загремели пьяные голоса.

Выпив стакан водки, Деряба обвел всех оценивающим взглядом и, загадочно шурясь, чванливо спросил:

— Я здесь кто?

— Шеф, — с готовностью ответил Хаяров.

— Слушать будете?

— До гроба!

Опять выпили, и тогда Деряба сообщил как закон:

— Едем на целину. На Алтай.

Не помня себя, Хаяров свистнул на весь дом.

— Без всякого свиста! — сухо одернул его Деряба, используя свои права «шефа». — Я давно вижу, что мы засиделись и закисли на одном месте. Довольно! Обещаю два месяца развеселой жизни, а потом на все четыре...

Один из молодых «халтурщиков», Данька, слесарь с водокачки, вставил с наивным видом:

— Через два месяца самая пахота.

— Молокосос! — с брезгливой ухмылкой бросил в его сторону Степан Деряба. — Неужели думаешь, что кто-нибудь из нас будет поднимать целину? Дьявол ее косматый не поднимал! Без нас хватит дураков: вон целыми поездами поехали! Я поработал на этом тракторе в заключении, так проклял все! Тяжелая и вонючая работа! Нет, младое племя, когда начнут поднимать целину, нам нечего будет там делать!

Деряба прищурил охмелевший, мутно-серые глаза и прощально помахал над столом рукой:

— Будьте счастливы, живите богато!

— А до пахоты что делать? — поинтересовался Данька.

— Не быть дураками, вот и все! — отрубил Деряба, но, видя, что ответ его, хотя и достаточно ясный, все же не удовлетворяет друзей, начал терпеливо развивать свой план: — Видали, какой подняли шум вокруг этой самой целины? Под такой шум только и пожить! Во-первых, мы получаем разные подъемные... Если действовать умело да понахрапистее, можно сорвать немало. Ручаюсь! До весны будем пинать коленками воздух, а заработок — из среднего расчета, как за простой, отдай, а то из глотки вырвем! Это во-вторых... А самое глав-

ное — два месяца будем среди оравы мелюзги, у которой полно денег! Это ли не жизнь? — Он вдруг выбросил на стол колоду карт. — Вот она! Будем заодно, пустим в дело — и живи, черт возьми, ешь и пей по самые ноздри! Только тихо. Чтобы шито-крыто, как в благородном обществе. В поезде создадим свою бригаду. Я бригадир, трактор водить умею; Васька Хаяров тоже поведет; тебя, Данька, на ходу натаскаем... Дорогой подберем еще ребят — и на Алтай явимся бригадой. Я подхожу, авторитетно говорю: «Московская бригада Степана Дерябы!» И нам везде дорога! Ясно?

За столом забушевали было страсти, но Деряба одним властным взмахом руки заглушил разноголосый гвалт и, мечтательно развалясь на диванчике, продолжал:

— И потом, еще одно дело. Ну, что мы живем? Пьем, жрем, девок портим... А как на нас народ смотрит? Разве это жизнь? Нет, я хочу пожить немного в уважении и почете. Будем выступать на митингах. Давать слово. Пусть нам аплодируют! Пускай в газетах о нас пишут! Вот мы, гляди на нас! Полные карманы денег, полная утроба водки, и кругом почет! Плохо, а? А ну, кто мне скажет: плохо?

— Оно, понятно, неплохо, — подтвердил Хаяров, но почему-то без восторга. — Только ведь не видать нам, шеф, такой красивой халтуры!

— Это почему? Что за свист?

— Так ведь не дадут же нам туда путевочки!

— Потому что не в комсомоле, да?

— Характеристики подмочены, шеф! Забываешь?

— Дурак! Истинный дурак! — с удивлением воскликнул Деряба. — Если хочешь знать, нам с радостью дадут путевочки, а про себя скажут: пусть смываются к чертовой матери хоть на край света! Ты что, не понимаешь психологии? С музыкой провожать будут!

...Все так и было, как задумалось под Москвой.

Но что же дальше?

— Думаешь, шеф? — не выдержав молчания, спросил Хаяров.

Но Деряба ничего не слышал в раздумье.

Сокрушенно покачав головой, Васька Хаяров прильнул орлиным носом к самому уху Дерябы и тихонько посоветовал:

— Смываться надо, шеф! Пора!

— Точно, в самый раз, — поддержал Данька, худенький, остроносый и остроглазый паренек с торчащими грязно-желтыми вихрами, всем своим видом похожий на странную птицу удода. — Помните, как в одной картине говорится: «В нашей профессии самое главное — вовремя смыться»? Ха-ха! Видали?

— Кончена халтура! Отбой! — смелая, отчеканил Васька Хаяров. — Делать здесь больше нечего. Сматывай манатки. Как раз к маю будем в Москве. Деньги есть, можно дать концерт...

— А там опять халтура, — подхватил Данька.

— Ну да, самый сезон...

— Никаких концертов в Москве! — вдруг мрачно произнес Деряба. — Май шухерим здесь. Ставлю печать. Водки!

Опять раздался изумленный свист.

— Ты долго еще будешь свистеть? — почти закричал Деряба. — Кто клялся? Забыл!

— Я клялся, — растерянно ответил Хаяров.

— Вот и будешь слушать!

Осушив еще стакан водки, Деряба склонился над столом и, тяжело, воспаленно дыша, точно в нем пылало что-то, объявил друзьям:

— Отомщу, тогда уедем!

Не было никаких сомнений: после долгого перерыва Степан Деряба опять находился в том состоянии необычайной ожесточенности и мстительности, в каком его видели время от времени после возвращения из заключения. У Васьки Хаярова, который особенно хорошо знал, чем опасно это смутное состояние духа «шефа», даже мурашки побежали по спине.

— Сидит он у тебя в печенке! — чуть не хныча, проговорил Васька, намекая на Багрянова.

— Сидит! — угрюмо признался Деряба.

— А ты пошли-ка его... подальше! — горячась, продолжал Хаяров. — Обидел? Тьфу! Одно воображение! Это и будешь ты из-за него всю поршневую группу себе портить? Да хрен-то с ним!

— Рассудил, — криво ухмыльнулся Деряба и, помедлив, снисходительно разъяснил: — Не такой Деряба, чтобы каждому прощать! Образование не позволяет.

С минуту дружки невесело молчали, потом Васька Хаяров, быстро, по-гусиному вытянув над бутылками шею, сказал жалобно:

- Ведь нас же выгонят в степь!
- Ну и что же? Поедем!
- Значит, ишачить будем на целине?
- Не сдохнем. Недолго.

Согбенная фигура Степана Дерябы вновь точно одеревенела за столом. Весь вечер никто из дружков не решался мешать его думам: среди этих людей, не признающих всеми принятой дисциплины, была своя, особая, очень суровая дисциплина.

III

Расчет Леонида Багрянова оказался совершенно точным: утром в знак протеста против его назначения трактористом Степан Деряба демонстративно, буйно и бесповоротно отказался от «руководства» бригадой. По его команде мгновенно взбунтовались и все его приятели-собутельники, которых он собрал вокруг себя еще по дороге на Алтай. Они с гвалтом ворвались в бухгалтерию станции и, перепугав там всех насмерть, вытребовали свои документы. Некоторые из них, вероятно, тоже не без команды Дерябы, тут же скрылись из Залесихи. К полудню в бригаде остались лишь те пареньки и девушки, которые не составляли личной свиты Дерябы: они были и напуганы и обрадованы тем, что произошло.

Илья Ильич Краснюк не раз хватался за волосы от досады, что накануне, поддавшись желанию избавиться от Багрянова, он в спешке да волнении не подумал, как может отнестись к его назначению Степан Деряба. Он понимал, что Багрянов-то, конечно, все это предвидел, потому и попросился на место Репки. Назойливый москвич добивался изгнания Дерябы, а добился большего — разгрома всей его бригады. Илья Ильич был взбешен своей оплошностью.

Необычное событие встревожило и всех остальных руководителей станции. В течение дня они не раз собирались в кабинете Ильи Ильича. Судили-рядили на все лады: некоторые побаивались, что слух о развале целинной бригады, да еще накануне выхода в степь, может быстро дойти не только до районного центра, но и до Барнаула и всюду произвести неблагоприятное впечатление. В этих беседах вскоре определились, а затем и столкнулись два мнения: Краснюка и Зимы. Директор

предлагал принять все меры к тому, чтобы восстановить бригаду во главе с Дерябой и сделать вид, будто ничего и не было, а главный агроном решительно, даже слегка озлобляясь, возражал против такого плана. Схватываться начали они еще при людях, а уж как следует заспорили наедине.

Они стояли друг перед другом у стола.

— Значит, вы предлагаете пойти на поклон к пьянице и хапуге? — спросил Зима, впиваясь темным, прожигающим взглядом в Краснюка. — Идите. Деряба, конечно, ждет вас: поважничать он любит. Только не забудьте прихватить с собой четверть водки!

— Оставьте ваши глупости! — повысил голос Краснюк.

— А так он на мировую не пойдет!

— Стало быть, по-вашему, мы можем спокойно наблюдать, как разбегается целая бригада?

— Если кто бежит, пусть бежит.

— Ну, знаете ли, так все разбегутся отсюда!

— Не разбегутся: у нас здесь не стадо.

— Я не пойму вас, — сказал Краснюк, весь заливаясь алой краской. — Очень похоже, что вы даже радуетесь развалу бригады.

— Я не скрываю этого, — ответил Зима.

— И вас ничто не беспокоит?

— Меня всегда беспокоит только дело, — подчеркивая каждое слово, ответил Зима, не боясь обидеть директора намеком на то, что его-то он не относит к числу таких людей. — Потому-то я и очень рад, что бригада Дерябы распалась. Для дела это хорошо. Даже очень хорошо. Жалею только, что не случилось этого раньше... Зачем же ее восстанавливать? Чтобы она разбежалась еще и в степи?

— Выйдет бригада в степь — будет не хуже других, — сказал Краснюк. — Конечно, если без Багрянова...

— При чем тут Багрянов?

— Один он во всем виноват, — ответил Краснюк с раздражением. — Он знал, что делает... Не допусти я ошибку, не назначь его вместо Репки — ничего бы не случилось. Бригада взбунтовалась только из-за него. Там все считают, что он оклеветал Дерябу...

— Кто все? — спросил Зима. — Дружки Дерябы?

Действительно, еще вчера вечером, сразу же после

драки, по Залесихе разошелся слух о том, что-де Багрянов оклеветал Дерябу, заявив, что предотвратил его нападение с ножом на Репку. Но слух этот поддерживали, и очень рьяно, лишь дружки и собутыльники Дерябы. Все остальные, наблюдавшие за дракой, молчали: или в самом деле не видели Дерябу с ножом в руках, или, скорее всего, боялись его мести.

— Хорошо, оставим это...— сказал Краснюк, дав круг по кабинету и вновь останавливаясь перед Зимой.— Но что предлагаете вы?

— Поставить на Дерябе крест,— ответил Зима.

— А потом?

— Создать новую бригаду. Из новых людей.

— Во главе с Багряновым?

— Бесспорно.

— Я знал, что вы именно это скажете,— с ехидством заключил Илья Ильич, на этот раз особенно судорожно подергав губами и ноздрями; несомненно, что он испытывал к Багрянову самые неприязненные чувства.— И вы серьезно надеетесь на своего протеже?

— Очень надеюсь! — ответил Зима.

— А вам не мешают воспоминания?

— Только помогают! — быстро ответил Зима.— Если бы я не встретил его на войне, я не знал бы его жизни, как теперь знаю. Как же не надеяться на таких людей, как Багрянов! На кого же тогда надеяться? Побольше бы ехало сюда таких, как он!..— Зима уставился на директора и угрюмо спросил: — Слушайте, Илья Ильич, а почему все же вы его невзлюбили?

— Разве ему мало вашего обожания? — в свою очередь спросил Краснюк.

— Невзлюбить такого парня! Мне это кажется нелепостью,— сказал Зима серьезно.

— Даже нелепостью?

— Несомненно.

— Ну, это уже бред...

Зима тут же на весь дом хлопнул дверью.

Уроженец Залесихи, Николай Семенович еще до войны получил агрономическое образование и успел поработать в родной МТС два года. После войны его замотали по разным районным и областным должностям, хотя он по складу своего характера любил только живое дело, болел за землю и труд людей на земле.

Осенью, когда партия бросила клич — всеми силами оказать деревне помощь, Зима с большой радостью вырвался из своего крохотного кабинета в Барнауле в любимую степь и появился в Залесихе.

Появился он здесь со своей давнишней мечтой. К этому времени в печати уже были опубликованы две обширные статьи Зимы, в которых рассматривалась проблема освоения целинных и залежных земель на Алтае, давно волновавшая весь край. Статьи нашли поддержку и одобрение в краевом комитете партии, где по этому вопросу уже шли оживленные разговоры и готовились соответствующие материалы для Москвы. Не прошло и трех месяцев со дня появления Зимы в Залесихе, а необычайно сложный вопрос, так волновавший его дни и ночи, был решен правительством в общегосударственном масштабе. Зима был потрясен тем, как решилось все поразительно быстро, и, главное, с таким совершенно неожиданным, грандиознейшим размахом, и сказал себе, что отныне он счастливейший человек в алтайской степи.

На радостях Зима долго по-дружески тряс за плечи нового директора Илью Ильича Краснюка, и его восторгам не было конца.

- Какое дело задумано! Како-ое дело!
- А справимся? — усомнился Краснюк.
- Справимся!
- Я ведь без опыта...
- Вот моя рука!

И действительно, Зима осторожно, тактично, с самыми добрыми чувствами стал помогать Краснюку в его повседневной работе. Однако вопреки всем ожиданиям Краснюк не очень-то любезно выслушивал и принимал его советы, а бывало, и раздражался от его доброй помощи. С еще большей неприветливостью и даже неприязнью Краснюк стал относиться и к тем молодым людям из новоселов, которые с особенным рвением брались за дело и горячо хлопотали об успехах станции. Особенно невзлюбил он Леонида Багрянова. «В чем дело? Почему такая нелюбовь ко всем, кто желает ему добра? — не однажды в последнее время спрашивал Зима. — Болезненное самолюбие? Но только ли это?» При всем желании Зима решительно не мог объяснить поведения Краснюка лишь его природной нетерпимостью и свое-

нравностью. Вскоре ему стало казаться, что здесь действуют какие-то другие причины. Но какие?

Именно с этой мыслью Зима и хлопнул дверью, уходя из кабинета Краснюка.

Это была их первая ссора.

Через день все целинные бригады, одна за другой, покинули Залесиху и отправились в степь. В селе, где больше месяца кипела бивачная, ярмарочно-пестрая, горластая жизнь, стало безлюдно и тихо, лишь изредка поднимали галдеж на тополях веселые, словно под хмельком, грачи.

Только после этого, вероятно потеряв надежду на раскаяние Дерябы, который в сопровождении Хаярова и Даньки с темной думой бродил по селу и обивал порог чайной, Илья Ильич Краснюк отдал приказ о назначении Леонида Багрянова бригадиром тракторной бригады.

IV

Ласковый солнечный свет внезапно тронул ресницы, и Леонид Багрянов, всем существом своим вспомнив что-то, быстро и озабоченно открыл глаза. По привычке, свойственной большинству здоровых и стремительно живущих людей, он тут же, не раздумывая, опустил на пол теплые ноги, взглянул в окно и всего за несколько секунд обдумал все, что нужно было обдумать в сегодняшние утренние часы. Это была необъяснимо молниеносная работа мысли: так думают люди только в напряженном бою. Через минуту он уже выбежал на крыльцо старого сибирского дома, чтобы взглянуть на степь...

Теплый и влажный южный ветер, налетавший из-за Иртыша, нес над Залесихой освежающий, молодящий запах сосновой хвои, талого снега и пресной воды. Но даже и при ветре, охваченная долгожданной теплыней, вся степь густо курилась. Она уходила от Залесихи в туманную даль, колышась едва приметно для глаза, по-океански широко и спокойно. Огромные стаи дичи то-ропко, шумно неслись на север, неслись высоко-высоко,

оглашая степь свистом тысяч крыльев и возбужденной позывной разноголосицей.

У Леонида отчего-то сами собой сжались кулаки, а лицо, обычно доброе, с мягкими чертами молодости, вдруг приняло отчаянное, весело-властное выражение... Но тут же, словно внезапно увидев себя в зеркале и устыдившись своего отражения, Леонид быстро откинул со лба волосы и, широко улыбаясь своим мыслям, сбежал с крыльца. Той же секундой серая сибирская лайка, терпеливо ожидавшая его взгляда и ласки, поднялась на дыбки. Не замечая, как Дружок царапает грязными лапами полы поношенной кожаной куртки, Леонид спросил:

— Ну как, дружище, весна?

Радуюсь ласке, но не понимая, о чем речь, Дружок быстренько на всякий случай стрельнул глазами по сторонам.

— Весна, земляк, весна! — заговорил Леонид. — В степь-то поедешь, веселая твоя морда? Тьфу ты, дьявол лохматый, да ты что со мной сделал?

Нелегко было Леониду Багрянову заново сколотить бригаду, когда в Залесихе почти никто из новоселов уже не оставался без дела. Помог Николай Семенович Зима. Он перехватил где-то на дороге двух трактористов, Холмогорова и Краюшку, родом из Великих Лук, которые разыскивали в районе своих земляков, и уговорил их остаться в Залесихе. Потом он привез из соседнего села демобилизованного танкиста Корнея Черных на должность помощника бригадира. Наконец, при его содействии в бригаду зачислили еще одного местного сибиряка, Ваньку Соболя, которого не хотели принимать на станции по той причине, что он два года назад сбежал отсюда... Кроме того, по просьбе Багрянова из мастерской, где уже закончился ремонт тракторов, были отпущены в бригаду два москвича — Костя Зарницын и Виталий Белорецкий. Несколько человек были срочно вытребованы из Барнаула. Учетчицей бригады была назначена Светлана, которая временно работала в конторе. Наконец нашлась и повариха — Феня Солнышко; она покинула сельскую чайную, заявив, что всю жизнь мечтала быть поварихой в степи... Несколько дней, создавая бригаду, Леонид не знал покоя и сна. Но теперь все хлопоты были позади, теперь скорее в степь, скорее за дело...

Подняв ребят и загрузив одни сани бригадным скарбом, Леонид отправился к Светлане; она жила теперь одна: все ее подружки разъехались по степи. Хозяйка дома, где жила Светлана, солдатская вдова, крупная, полная женщина средних лет, встретила Леонида таким взглядом, что он, замирая у порога, тревожно спросил:

— Марья Степановна, что у вас?

— Известно, девичье дело,— невесело ответила хозяйка.

— Да что случилось-то? Заболела она?

— Зайди узнай...

Светлана лежала грудью на столе, рассыпав по нему свои легчайшие волосы. Она была в лучшем своем вишневом шерстяном платье и модельных туфлях цвета бордо, отделанных золотистым шнурком; на ее оголенной шее матово поблескивала нитка жемчуга.

Рядом со Светланой, на стуле, стоял раскрытый чемодан, полный всевозможных вещей, очень необходимых в московской жизни, но пока что, несомненно, совершенно излишних в тракторной бригаде, которой суждено провести все лето в степи. А вокруг стола по крашеному полу горенки были разбросаны самые необходимые сейчас для Светланы вещи — кирзовые сапоги, смазанные барсучьим жиром, шерстяные носки, ватник, синий лыжный костюм, кожаные перчатки, шапка из цигейки...

Леонид растерянно остановился среди горенки, раза два осмотрел ее с горькой досадой, проступившей в каждой черточке его лица, полушепотом спросил:

— Светочка, да что с тобой?

Услышав Леонида, Светлана встрепенулась, как всегда при внезапном звуке его голоса, на секунду забыла все, хотела обернуться, вскочить, но в тот же миг с ужасом вспомнила, что у нее заплаканные глаза. Она только подняла голову и, устало опираясь локтями о стол, стыдясь своей слабости, горестно и беспомощно засмотрелась в окно.

Леонид присел на свободный уголок занятого деушкой табурета, присел близко-близко, осторожно поласкал правое плечо Светланы, потрогал нитку жемчуга на ее тонкой красивой шее, стал перебирать мелкие, переливающиеся от дыхания завитки волос.

— Что с тобой, маленькая? — спросил он, хотя уже и догадался, что произошло со Светланой в это утро.

— Сегодня выезжаем? — спросила Светлана шепотом.

— Да. Ты же знаешь...

Только убедившись, что она уже может владеть собой и своим голосом, Светлана ответила, продолжая смотреть в окно:

— Я не знаю, что со мной... Понимаешь, я ведь первый раз надевала сапоги. Проклятые сапоги! А потом... Нет, это неважно, совсем неважно!

— А потом ты вспомнила о Москве?

— Да.

Леонид промолчал, и Светлана, почувствовав в его молчании осуждение своему поступку, запротестовала, как могла, возвышая при этом свой негромкий голос:

— Да, да, вспомнила! Ну и что?

— Трудно тебе будет,— грустно сказал Леонид.

Светлана быстро поднялась и обернулась.

— С тобой мне никогда не будет трудно, никогда! — заговорила она, смотря прямо в глаза Леониду.— Слышишь? Никогда! Я тебе сказала это еще в Москве... Если придется все лето жить в палатке, буду жить! Если надо, буду жить у костра! Все вытерплю! Все снесу!

Светлана была точно в огне, говоря эти слова... Сильно румянело не только все ее одухотворенное, слегка загорелое лицо, но и вся шея и кисти рук, которыми она изредка, для подкрепления своих слов, делала энергичные жесты.

Всегда деятельный, горячий в деле, крутой в жизни, Леонид Багрянов недолюбливал тихость, застенчивость Светланы и потому очень обрадовался, увидев, какой решимостью горят сейчас ее глаза, как она делает короткие, рубящие жесты худенькой рукой...

— Обожди, ты чему улыбаешься? — вдруг обидчиво спросила Светлана.— Ты не веришь, да? Не веришь?

— Да верю, верю, что ты! — ответил Леонид.

— Но почему, если веришь, улыбаешься?

— Потому и улыбаюсь, что верю.

— Но разве можно серьезному улыбаться?

Леонид захохотал раскатисто, в полную грудь, потом схватил Светлану за плечи, легонько подтянул к себе и сказал с улыбкой:

— Всегда такой будь, слышишь?

— Обожди,— сказала Светлана и осторожно, чтобы не обидеть Леонида, высвободилась из его рук.— Я не все еще сказала... Я все вытерплю, все снесу... Но одного мне не вынести!

— А можно узнать, что именно?

— Ты спрашиваешь? Ты не знаешь?

В кухне хлопнула дверь, и послышался слегка певучий женский голос. Леонид и Светлана решили, что к хозяйке пришла какая-нибудь соседка. Но вот с кухни долетели отчетливые слова:

— Здесь? А мне его очень надо!

Леонид быстро отошел к окну, а Светлана, ахнув про себя, начала сбрасывать со стола в чемодан свои нарядные платья. Но неизвестная гостья, точно понимая, что происходит в горенке, не торопилась к ее двери.

— А я иду сейчас по станице... Ой, опять забыла! У вас ведь села,— говорила она весело, певуче, словно бы наслаждаясь звучанием своего голоса.— Иду я сейчас по селу, а высоко-высоко гуси да утки—стая за стайей! И вот я подумала: как же они, бедные, намучились нынче! Голод, холод...

— Да, отошала нынче птица,— подтвердила хозяйка.— В чугун класть неохота.

— А как летит!— воскликнула гостья.— Как торопится на гнездовье! Откуда сила берется!

— Кто это?— тревожным шепотом спросила Светлана, хотя уже знала, что на кухне Галина Хмелько, тоже недавно приехавшая по комсомольской путевке с Кубани и назначенная агрономом МТС в Лебяжье.— Это Хмелько? Да?

— Она,— ответил Леонид.

— Странно!— произнесла Светлана с недоумением, спеша прибрать с пола разбросанные вещи.— Никогда у нас не была, а разговорилась с Марьей Степановной, как со старой знакомой. Удивительно, как умеют люди... Обожди-ка, Леонид, но зачем она к тебе? Вы ведь вчера виделись?

— Вероятно, есть какое-то дело...

Все утро Светлана вспоминала, как вчера, на совещании в МТС, Галина Хмелько частенько поглядывала на Леонида, а когда около него освободился стул, бесцеремонно захватила его и, устроясь на новом месте, вся сияя, тихонько заговорила о чем-то с Леонидом. «Видишь, как вьется?— шепнул кто-то позади Светланы.—

Чисто хмель!» — «Да, ласковая! — ответил шепотком другой. — От таких синих глаз не уйти!» Светлана вскрикнула и с большим трудом дождалась конца совещания, все время дрожа от мысли, что стоявшие позади нее слесари вновь заговорят о Леониде и Хмелько.

— Нет, это странно! — упрямо повторила Светлана.

— Ну что же здесь странного?

В дверь горенки постучала Хмелько.

— Можно?

Это была белокурая, полненькая, слегка курносая девушка среднего роста, на удивление синеглазая, с веселой ямочкой на правой щеке. «Мне очень легко жить, — говорила каждая черточка на ее приятном, сияющем молодостью, оживленном, улыбчивом лице. — Я не умею грустить, мне всегда и везде хорошо». Красивые, золотистые волосы Галины Хмелько рассыпались по бурому воротнику распахнутой, крытой суконцем шубки из серой курчавой овчины. Как большинство девушек, приехавших этой весной на Алтай, она была в лыжном костюме и в маленьких черных чесанках с новыми галошами. Все на ней сидело ловко, казалось изящным, и только одно это умение быть приятной даже в простой одежде говорило за то, что Галина Хмелько не новичок в деревне.

Просто, с развеселой улыбочкой Хмелько поздоровалась с Леонидом за руку, как со старым знакомым, а затем со Светланой, хотя и не была с ней знакома, тут же объявила, что зашла на минутку, но мгновенно забыла о сказанном, обратив внимание на Светланино платье.

— Изумительно! — пропела она своим звучным голосом, обращаясь к Светлане. — В Москве шила, да? Ах, какая прелесть, какая прелесть! — Она бесцеремонно стала осматривать на Светлане платье со всех сторон. — Да, только в Москве, только в Москве можно сшить такое платье!

«Ну какой это агроном? — думал Багрянов, невесело поглядывая на Хмелько, поющую на все лады вокруг Светланы. — Вот-вот, потрепаться о нарядах — твое дело! Тут ты, видать, бо-ольшая мастерица! Чует мое сердце, как начнем вот так трепаться на целине!..»

«И как только может она без конца говорить о платье? Поразительно! — думала о Хмелько в свою очередь

рдеющая от смущения Светлана.— Надо же было ей оказаться в Лебяжье!»

Закончив осмотр платья, Хмелько вдруг, не ожидая приглашения, присела у стола и, подняв на Леонида ласковые синие глаза, сообщила беспечным тоном:

— А вообще-то я с нерадостной вестью.

Багрянов встрепенулся и шагнул от окна к Хмелько.

— Что же вы молчите?

— Ой, да приятно ли сообщать неприятное?

Помедлив секунду, Леонид спросил тревожно и быстро:

— Воды в степи много?

— Да.

— Звонили в Лебяжье?

— Мне оттуда звонили.

— Тьфу, будь ты проклят,— выкрикнул Леонид и замотался по горенке.— Додержал, подлец!

— Вы о директоре? — спросила Хмелько.

— А то о ком же!

— Оказывается, вам даже опасно сообщать нерадостные вести,— с веселым изумлением заметила Хмелько.— Сегодня-то выйдете в Лебяжье?

— Обязательно! — ответил Леонид.

— Теперь у меня к вам просьба,— продолжала Хмелько.— Получен фосфоробактерин. Это препарат для обработки семян пшеницы. Очень нужен для посева по целине. Он в ящиках...

— Где накладная?

— Вот она.

Галина Хмелько поднялась и, собираясь уходить, весело взглянула на озабоченного Багрянова.

— Значит, не прощаемся?

— Готовьте пельмени,— мрачно пошутил Леонид.

— Непременно! — заигрывающе воскликнула Хмелько и внезапно залилась озорным, заразительным смехом.— Ой, ну и какой же сегодня расчудесный денек! — сказала она на прощание и, помахав рукой, вышла за дверь.

— Я тоже иду,— сказал Леонид, обращаясь к Светлане.— Ты скоро соберешься? Собирайся, я подожду на крыльце.

Светлана быстро оторвалась от чемодана.

— Обожди, Леонид, что же я хотела сказать? — говорила она, безотчетно стараясь призадержать около

себя Леонида, но ей тут же стало стыдно за свой поступок.— Нет, нет, ты иди! Я быстро.

Светлана собралась было переодеться, но вдруг незнакомое ей прежде чувство опалило и стеснило грудь. Она бросилась к одному окну, затем к другому; нет, Хмелько не показывалась на улице. Значит, она задержалась с Леонидом на крыльце или во дворе...

После изящного платья лыжный костюм показался Светлане особенно грубым. Неуклюжие кирзовые сапоги с непомерно широкими голенищами уродовали ее стройные ноги. Новый еще ватник большого размера с подвернутыми рукавами топорщился на ее фигуре. «Чучело! Настоящее чучело!» — страдая всей душой, закричала про себя Светлана. Она вспомнила, как все самое простое кажется красивым на Галине Хмелько, и тут же, точно задыхаясь, бросилась из горенки.

Леонид стоял у ворот и смотрел, как Хмелько озорно шагала серединой улицы, расплескивая по дороге лужицы; надо быть очень счастливой, чтобы так идти по весенней земле...

Светлана внезапно побледнела и, придерживаясь за перильца, медленно, утомленно сошла с крыльца.

V

К полудню ветер затих, но зато солнце принялось вовсю гнать долой снега. Всюду струилась, стремясь в низины, журчала вода. Подмытые ручьями пласты снега оседали тяжело, со вздохом и хрустальным шорохом. Запах свежей снеговой воды покорял теперь все другие земные запахи.

На усадьбе МТС, как и все последние дни, было малоллюдно и нешумно. Изредка в кузнице ковали железо, а у ее настезь распахнутых широких дверей брызгал огонь электросварки. За приземистой мастерской, напоминавшей обычный сарай, два человека в замасленных телогрейках выручали из сугроба комбайн. Там, где было кладбище разного железного лома, сверкали на солнце ржавые, в радужных масляных разводах большие лужи, и около них безмолвно бродили галки.

Бригада Леонида Багрянова выстроилась перед конторой — на том самом месте, где недавно выстраивались

все бригады, уходившие на целинные земли. Пять новеньких красавцев «ДТ-54» блистали всеми частями, какими можно блеснуть в торжественный час. На правом фланге гордо стоял «С-80» — настоящий богатырь степей. Трактористы с тряпками в руках еще и еще раз осматривали свои машины, любуясь их молодостью, изяществом и опрятностью. У одного трактора на буксире стоял полевой вагончик для жилья, у трех тракторов — огромные сани, сделанные из сосновых бревен и закованные для крепости так и сяк в железо. На одних санях, позади «С-80», возвышался огромный голубой бак для горючего, остальные были загружены бочками, частями разобранных прицепных машин, ящиками, кроватями, матрасами, чемоданами, узлами — самым разнообразным имуществом бригады.

Вокруг саней и вагончика, разговаривая негромко, толпилась вся бригада. Всем хотелось скорее тронуться в путь, и потому разговор шел торопливый, сбивчивый, обрывочный: о Лебяжьем, о весне, о степи...

Стараясь уединиться, Светлана одной из первых забралась на крайние сани, хотя ей меньше всех сейчас хотелось ехать в Лебяжье, и без всякого интереса приготовилась ждать, когда начнется митинг. С той самой минуты, как она увидела уходящую вдаль Хмелько, с мальчишеским озорством расплескивающую лужицы на дороге, ее уже не могло интересовать ничто, кроме отношения к ней Леонида. «О чем они говорили, когда были одни? О чем? — без конца гадала и терзалась Светлана. — И почему она уходила такой счастливой?!» Не случилось пока ничего страшного, кроме ее внезапной тревоги, а Светлане уже стало невыносимо тошно. «Что же будет в Лебяжьем? — с дрожью в душе подумала Светлана. — Ведь она там! Ведь она ждет!» Ей вдруг захотелось соскочить с саней и, не говоря ни слова, скрыться невесть куда...

Позади раздался тоскующий девичий голос:

— Ох, и куда же нас несет? Куда несет?

Среди чемоданов и узлов, копошась, устраиалась в путь прицепщица Анька Ракитина — худошавая, остроносая, но грудастная девица лет двадцати пяти, игривая и разбитная, прослышавшая в Залесихе отчаянной гуленой. Не успев как следует усесться, она тут же принялась охорашиваться: сбросила шапку, поправила густые каштановые кудри, звонко щелкнула сумочкой и, загляды-

вая в зеркальце, любуясь собой, принялась густо красить и без того яркие губы.

— Несет-то, говорю, куда?

Светлана вздохнула и не ответила.

С высоты бригадного скарба Анька зовущим, блудливым взглядом красивых темно-карих глаз осмотрела особенно приятных ей парней, толпившихся у трактора, наслаждаясь сознанием, что многим нравится, и вновь заговорила со Светланой:

— А почему ты грустная? В чем дело?

— Грустно что-то,— нехотя ответила Светлана.

— Ну, тебе-то что грустить! Ты со своим едешь!

Светлана вспыхнула и, опасливо озираясь, прошептала:

— А ты? Разве одна?

— Одна. Мой-то сейчас не при деле.

Светлана видела Аньку в обществе разных парней и не знала, кому она отдает предпочтение, а слухам о ней старалась не верить и сейчас впервые смущенно поинтересовалась:

— Это... кто же он?

— Разве не знаешь? — удивилась Анька.— Сам Деряба.

Светлане стало неловко, и она отвела взгляд.

— Как же ты не знала? — продолжала Анька удивленно.— Ведь твой же горластый все сделал. Все из-за него!.. Красивый парень, ничего не скажешь, а характер просто невыносимый! Даже не знаю, как с ним можно жить, с таким задирой?

— Зачем же ты едешь одна? — спросила Светлана.

— Ой, не спрашивай! Сама не знаю!..

— Осталась бы с Дерябой!..

— Он собирается на курсы комбайнеров, а разве меня туда пошлют?

— Почему же не пошлют? Попросись!

— Ненадежная я,— вдруг с необычайной легкостью созналась Анька, но тут же решила поправить дело шуткой: — Усну еще на комбайне!

В другое время Светлана, вероятно, не проявила бы никакого интереса к сердечной жизни Аньки, но теперь, когда мысли Светланы были точно взвихрены ревностью, ее невольно тянуло поговорить о любви и разлуке. Она приблизилась к Аньке и заговорила шепотом:

— Дерябу любишь? Очень?

— Люблю,— помедлив, не совсем уверенно ответила Анька и, словно оправдываясь, добавила:— Я ужасно влюбчивая!

— Скучно тебе будет без него,— посочувствовала Светлана.

Анька вновь взглянула на парней и, притворно вздохнув, ответила смиренно, нараспев:

— Проживу как-нибудь!

Сразу же теряя интерес к Аньке и застыдившись, Светлана сделала вид, что ей неловко сидеть, и стала менять место. «Как все легко у нее! — невесело подумала Светлана.— Разлучили, а ей хоть бы что! Да неужели многие так легко любят?»

Анька надолго задержала свой взгляд на помощнике бригадира Корнее Черных. Это был среднего роста белокурый здоровяк в черненном полушубке и дымчатой шапке-ушанке, с достоинством, спокойным шагом носивший свое сильное тело по земле. Доброе русское лицо Черных с густым солдатским румянцем украшали очень живые серые глаза.

Вероятно почувствовав на себе взгляд Аньки, Корней Черных настороженно взглянул в ее сторону и тут же услышал ее капризный голос:

— Товарищ Черных, да скоро ли?

— Скоро, скоро! — сдержанно ответил Черных.

— Где же бригадир?

— Сейчас будет.

Из ворот усадьбы привычным широким шагом, с озабоченным, ищущим взглядом вышел Леонид Багрянов в охотничьих резиновых сапогах с подвернутыми голенищами и в распахнутой меховой кожаной куртке; в руках он нес связку металлических деталей: должно быть, выклянчил на прощание в материальном складе.

Черных встретил бригадира в сторонке от бригады.

— Никто не выходил? — негромко спросил Багрянов, кивнув на контору станции.

— Никто,— невесело ответил Черных.

— Где же директор?

— А кто его знает! Кому он докладывает!

Леонид вздохнул всей грудью, как лось на водопое, и тоскливо поглядел в небо; как раз над усадьбой, на время заглушив все звуки дня, вытянутой сверкающей лентой проносилась, бросая с голубой вышины на землю могучие трубные клики, большая стая красавцев лебедей.

— На Лебяжье пошли? — оживляясь, спросил Леонид.

— Туда, — ответил Черных.

— Неужели даже гнезятся здесь?

— Гнезятся...

— Величаяя птица! Смотри-ка, где живет!

Найдя глазами Светлану на саях, Леонид, широко улыбаясь, указал ей в небо и крикнул:

— Это лебедь-кликун! Голоса-то: на всю степь!

В ответ Светлана, сторожко следившая за каждым шагом Леонида, на минутку быстро приподнялась и, вся просияв, торопливо и счастливо замахала ему рукой: девушке очень понравилось, что Леонид при виде красивейшего зрелища в небесной выси немедленно вспомнил о ней. «Нет, он любит, любит меня! — споря с тем чувством, что с утра не давало покоя, воскликнула Светлана. — Разве он вспомнил бы сейчас обо мне?» Она из-под руки долго следила за удаляющейся лебединой стаей таким восторженным взглядом, словно эта стая, пронесясь над ней, одарила ее каким-то особенным, неземным счастьем.

В это время Леонид, взяв своего помощника под локоть, нагнулся к его уху и сказал, понизив голос:

— Вот что, Степаныч, я все-таки схожу в контору, разузнаю, где директор... Нельзя же так выходить! Нельзя!

Корней Черных слегка нахмурился.

— Да, первых, говорят, здорово провожали!

— А мы чем виноваты, что выходим последними? — сказал Багрянов и на несколько секунд даже стиснул челюсти. — По его же вине!.. Да ведь нам и не много надо: на всех — одно доброе слово. Только и всего! Схожу, Степаныч, схожу, не уговаривай. — Он сунул в руки Черных связку деталей. — На, держи!

— Вырвал? — спросил Черных.

— С мясом!

В это время на крыльце конторы появился Степан Деряба. Он был навеселе, но только в той мере, когда не каждый мог заметить, что он уже принял «свою» порцию спиртного. Не спеша осматривая бригаду с ехидной ухмылкой на одутловатом лице, он, видимо, обдумывал, с чего начать разговор. Взгляд его нагловатых светлых глаз с каждой секундой безумно веселел.

— Тьфу ты, чертова дылда! — тихонько проворчал

Корней Черных.— Вытаращил свои оловянные зенки и стоит ухмыляется, зараза! А чего, скажи, надо?

— Я иду, черт с ним! — сказал Багрянов.

— Не горячись! Видишь, зачем он вышел?

Уже несколько дней Степан Деряба околичивался в Залесихе без дела, будто бы собираясь на курсы комбайнеров, которые должны были открыться в районном центре. Все время он решительно избегал встреч со своей бывшей бригадой. Но теперь почему-то решил явиться на ее проводы в степь.

— Идет,— вдруг предупредил Черных.

Минуя отдельные ступеньки, Деряба сошел с крыльца, перешагнув лужу и не спеша приблизился к бригаде. В упор уставившись невидящим взглядом на ребят, он поднял в небо ладонь и воскликнул хриловатым голосом:

— Салют, младое племя!

Не рассчитывая на внимание бригады и ответное приветствие, он поспешил начать разговор:

— Желаете, я устрою митинг? По старой дружбе!.. Желаете? Что молчите?

— Слушай-ка, благодетель! — подходя к Дерябе, заговорил Багрянов.— Ты лучше поберег бы свой голос, а? И так хрипишь, до митинга ли тебе?

— Думаешь, слушать меня ребята не будут? — ухмыляясь, спросил Деряба.— Ха-ха! Ошибаешься, меня всегда слушали! А вот тебя слушать не будут. Психологии ты не понимаешь — вот твоя беда!

— Где нам за тобой угнаться,— сказал Багрянов,— у тебя сапоги-то сорок пятого размера!

— Смеешься, да? — сразу же не без видимого удовольствия придрался Деряба.— Только знай: я разных твоих насмешек не потерплю! Я не за тем сюда приехал!

— Знаю, знаю, зачем ты сюда приехал!

— А зачем? Скажешь?

— Подрасти еще больше на целине!

Все видели: расти Дерябе никак больше нельзя,— и потому над бригадой внезапно раздался взрыв визга и хохота. Мертвенная бледность мгновенно залила отечное лицо Дерябы. Еще секунда, и неизвестно, что могло бы произойти, но неожиданно опасный ход событий круто изменила Анька. Раскинув полы пальто, она в два счета слетела с саней, тут же заслонила собой, сколько могла,

Дерябу и, выпрямляясь, выставляя вперед под цветистой блузкой груди, закричала совершенно осатанело:

— Ржете, собачье отродье? Расхрабрились? А давно ли, как щенки, лебезили перед Дерябой? С каких же это шей у вас такая храбрость? А плакать потом не будете?

— Ну, ладно, ладно! — беря Аньку за плечо, растроганный ее защитой, охрипше проговорил Деряба. — Пошли, пройдемся на прощание!

При смущенном молчании всей бригады, Деряба и Анька, демонстративно взявшись за руки, с гордо поднятыми головами пошли прочь. Некоторое время они шли молча, прислушиваясь, но никто не бросил им вдогонку ни одного слова. Пройдя сотню шагов, Анька не выдержала и заговорила со слезной обидой в голосе:

— Всего тебя, Степан, осмеяли!

— Замолчи! — сжимая ей руку, прорычал Деряба.

— А теперь и мне житья не будет.

— Будет! У тебя вон какие зубы!

— Зачем в бригаде-то оставил? Скажи!

— Поживи... На всякий случай... — уклончиво ответил Деряба.

— Сам с дружками смоешься — и поминай как звали, а мне пыль глотать у трактора? — с сердцем заговорила Анька. — Молчишь? Может, уже не нужна? Все эти дни даже не хотел встречаться! Не стыдно, пьяные твои глаза?

— Тошно было, — сознался Деряба.

Нетяжко вздохнув, Анька вдруг приняла обычный, игривый вид и, слегка прищутив беспокойные темные глаза, смеющимся голосом спросила:

— Отпускаешь одну, а не боишься, что загуляю?

— Замолчи, язык вырву! — прохрипел Деряба, дергая Аньку за руку. — Не затем я тебя оставил в бригаде...

Анька остановилась, взглянула на Дерябу серьезно.

— Ты что задумал?

— Что надо, не твоего ума... — неопределенно и мрачно ответил Деряба. — Думаешь, Деряба простить может? Деряба еще даст сдачи!

— Но ты ведь едешь на курсы?

— Туда не скоро...

— Что ж мне в бригаде делать?

— Живи! Видно будет!

Тем временем Леонид Багрянов бесцельно бродил по разным комнатам конторы. Все начальство станции находилось в разъезде, а рядовые работники относились совершенно равнодушно к выходу его бригады в степь: всем уже изрядно наскучили горластые, как грачи, новоселы.

Леонид почему-то заглянул даже в комнатенку, где сидел зоотехник — худой, остроносый, взлохмаченный человек в синем костюме, засыпанном перхотью.

— Вы ко мне? — ворчливо спросил зоотехник, быстро, обеими руками роясь среди бумаг на столе. — Я сейчас не могу: у меня дела...

Заглянул Леонид в бухгалтерию. Пожилая бухгалтерша, напуганная бесконечными перерасчетами с новоселами, не обходившимися без скандалов, удивленно спросила:

— Багрянов? А в чем дело?

Только диспетчер Женя Звездина, молодая ленинградка, смугленькая черноглазая красавица в яркой зеленой шерстяной кофте с короткими рукавами, очень живая, смелая, увидев Багрянова, вскочила ему навстречу, быстро спросила:

— Вы уходите? Сейчас?

— Скоро.

— Я вам завидую, — сказала Женя со вздохом и, подойдя к перегородке, за которой работала, поставила на нее оголенные локотки. — Желаю вам большого-большого успеха! Каждый раз вы должны сообщать мне только приятные новости. Обещаете не огорчать меня?

— Обещаю, — улыбнувшись губами, ответил Леонид.

Женя Звездина искренне вздохнула.

— Как жаль, что меня не пустили в степь! А ведь я тоже ехала, чтобы работать на целине, именно на целине! Ах, как я завидую вам! Весна, степь, высокое небо, цветы...

Багрянову хотелось сказать, что, кроме тех красот, какие перечислила Женя, в степи бывают злой ветер, нестерпимый холод, черные бури... Но ему стало жалко девичьей мечты, он растерянно поблагодарил Женю за доброе слово в дорогу и, несколько развеселясь, пошутил:

— Хотите, я вам пришлю букет цветов с целины?

— Серьезно? — обрадовалась Женя. — Честное слово?

— Совершенно серьезно!..

— Ой, буду рада! А не забудете?

— Постараюсь не забыть.

— Я все же напомним по рации!..

— Отлично. Но где же директор?

— Он сейчас будет,— с улыбкой ответила Женя.— Вы его подождете? Заходите ко мне, присядьте!..

Но Леонид Багрянов, уже начиная испытывать неловкость от разговора с черноглазой красавицей, сказал, что он хочет встретить директора, попрощался и вышел из конторы.

С крыльца Леонид сразу же увидел на дороге, ведущей в село, новенький, прыгающий на выбоинах вездеход. Из толпы у саней крикнули:

— Директор едет!

Расплескав лужу, вездеход остановился у самого крыльца конторы. Илья Ильич Краснюк долго ворочался на сиденье, неловко высвобождая из машины ноги. Шофер раз-другой порывался было помочь ему, но сдержался, сообразив, что этим может нанести при всем честном народе немалый вред авторитету директора. Кое-как Краснюк выбрался из машины, недружелюбно взглянул на Багрянова, спросил:

— Вы все еще здесь?

— Ждем вас,— вспыхнув, ответил Леонид.

— А зачем меня ждать?

— Мы думали, что вы... проводите нас,— замялся Леонид.— Поговорите.

— Теперь не время для митингов, товарищ Багрянов!— заговорил Краснюк громко, с таким расчетом, чтобы его слышала вся бригада.— Дорог каждый час, каждая минута!— Размашистым жестом он указал на степь.— Видите, что делается? Потоп! А вы стоите и теряете время! Безобразие! Выходить немедленно!— И Краснюк тут же, повернувшись, поднялся на крыльцо.

Леонида до онемения потрясло то, что произошло. «Какой негодяй! Какой мерзавец!— кричал про себя Леонид, не в силах оторвать взгляда от окон конторы, за которыми мелькала фигура Краснюка, и тяжело, до удушья страдая от только что перенесенного унижения.— Ну, погоди, подлая твоя душа! Мы тебе припомним, как ты провожал нас в степь! Мы этого не забудем!» Когда его окликнули, он едва разжал пальцы, стиснутые на верхней жердине палисадника...

При полном безветрии солнце плавало снега. Начинаясь степное половодье. В степи, до жути просторной и безлюдной, всюду виднелись стаи пролетной птицы. По солонцам, где снег пропитался грязной желтизной, озабоченно, всполошенно гоготали гуси и неумолчно, без всякой нужды перекликались непоседливые, верткие чибисы. На покой воде, появившейся в низинках, царственно проплывали, блистая изумрудно-сизым брачным оперением, кряковые красавцы селезни и отдыхали табунки голубой чернети. словно бы разминаясь перед дальнейшим полетом, нырки поочередно приподымались над водой и, трепеща, играли на солнце белыми зеркальцами крыльев, а потом охорашивались, чистили и укладывали плотное перо. Не меньше, чем на земле, было пролетных стай в воздухе: торопясь, они шли на север одновременно в несколько ярусов, и от их неумолчной разногласицы стоном стонала степь...

Бригада Багрянова двигалась на Лебяжье «зимником», вдоль кромки соснового бора. Головной трактор вел Ванька Соболев — подбористый чернявый парень с длинным чубом. Он зорко поглядывал вперед, стараясь своевременно обходить опасные места; снежницы, где могли быть любые ямы, с виду небольшие, но глубокие ярки и особенно солонцы. Иногда он останавливал трактор, вылезал из кабины, оглядывался на колонну, осматривая степь, кое-где уже в серых плешинах, и, возвращаясь на свое место, задумчиво произносил:

— Да, припоздали!

Ванька Соболев был родом из Лебяжьего. Когда-то он уже работал трактористом в родной степи, но заработок в те годы был низкий, и своенравный парень, бросив трактор, подался в Кузнецк. В шахтах он зарабатывал хорошо, но никак не мог одолеть свою тоску по Лебяжьему да все чаще и чаще вспоминал навсегда врезавшиеся в память темные глазоньки Тони Родиной. Узнав о том, что трактористам наконец-то установили большой, верный заработок, Ванька Соболев зачислился в Лебяжье, где доживали свой век его родители. А тут вдруг представился случай не просто уехать, взяв билет на вокзале, а уехать с почетом, по комсомольской путевке, получив при этом немалые деньги.

Ванька Соболев не мог, конечно, упустить такой счастливый случай.

Но беглеца додго не хотели принимать в Залесихе. Взбунтовались многие старые трактористы: дескать, по какому такому праву он оказался новоселом, когда весь его род — сибирские старожилы? Немало пережил Ванька Соболев неприятностей, тревог, горьких минут и уже подумывал, что придется искать для работы другое место. Его выручил агроном Зима: он помог ему попасть во вновь создаваемую бригаду Багрянова. Ванька Соболев был назначен старшим трактористом и, чего совсем не ожидал, получил сполна все деньги, какие полагались новоселам. Теперь большая пачка банкнотов, аккуратно завернутая в газету, лежала во внутреннем, застегнутом на булавки кармане его пиджака и вызвала у него самые неожиданные радостные мысли.

Ванька Соболев, безмерно радуясь тому, что едет в Лебяжье чин чинном, да еще в бригаде по поднятию целины, да еще с деньгами, был очень возбужден и разговорчив. Он с увлечением рассказывал своему сменщику Феде Бражкину, молодому паренку из Белгорода, о красоте и богатстве родных мест, об охоте, которой увлекался с детства, и даже в минуту откровения признался, что в Лебяжьем у него есть девушка — любовь. Это признание больше всего заинтересовало Федю Бражкина, которому исполнилось только девятнадцать.

— Как звать-то ее? — спросил Федя.

— Тоня.

— Красивое имя! Кто ж она такая?

— Обыкновенно, колхозница! Не пришлось ей в город ехать учиться: мать на тот момент овдовела, да и дед здорово ослаб. А то бы ее сейчас рукой не достать!

— И красивая?

— В городе таких не видал...

— Вот здорово!

— Здорово, да не очень!

— Как так? Почему?

— Говорить тебе или нет? Не выдашь?

— Никогда! Отрежь тогда язык!

— Тут вот какое дело... — Соболев помедлил, раздумывая. — Теперь вот понаехало столько московских хлю-

стов, что все может случиться. Боюсь, как бы не закружили ей голову!..

У Феди горели щеки.

— А еще красивые девчонки есть в Лебяжьем?

— В том-то и дело, что нет. Все разлетелись в города...

За трактором, на санях, загруженных скарбом и облепленных молодежью, было шумно и весело. Тракторист-татарин Ибрай Хасанов, веселый, артельный парень, залихватски играл на гармонии, а все остальные громко, на всю степь пели, вернее, выкрикивали песню, сложенную в те дни, когда из Москвы на Алтай двинулись первые эшелоны энтузиастов покорения целины:

Едем мы, друзья,
В дальние края,
Станем новоселами
И ты и я!..

Ухабистый, леденистый «зимник» из Залесихи на Лебяжье казался очень высоким: всюду уже приметно осели снега. Он доживал последние дни. Его берегли для автомобильного и гужевого транспорта. Все тракторы, направлявшиеся в лебяженский край (а их было немало), проходили по обе стороны «зимника». Здесь весь снег был изрыт, иногда до земли, гусеницами и полозьями огромных, тяжело нагруженных саней. Всюду в широких колеях, то зубчатых, то гладких, в колдобинах и выбоинах стояла светлая, будто лазурь, вода.

Нелегким был этот путь для бригады Багрянова. Тракторы то и дело ревели натужно, забрасывая людей комьями снега и обливая водой. Иногда в низинках перед санями вырастали горы снежного месива, и надо было срочно браться за лопаты; иногда на возвышенностях сани приходилось волочить по голой, мерзлой земле. Попадались такие лощины, где под снегом уже стояли озера воды; проходили их с гамом, визгом, смехом.

Часа за три бригада одолела половину пути и оказалась перед Черной проточиной — нешироким перешейком, соединявшим степное и лесное озера. Только накануне здесь прошли тракторы из бригад, работавших на старопахотных землях; лед на проточине был, несомненно, еще крепок, но все же Ванька Соболев считал это место самым опасным на пути в Лебяжье. Он оста-

новил трактор перед спуском к проточине, встал на гусеницу у кабины, оглядел все следы на льду, лужицы воды, с которых только что снялась стайка шилохвосты, ближние камыши, до половины заваленные снегом, и крикнул в сторону саней:

— Обождем!

Вскоре к проточине подошла вся бригада.

Собираясь вслед за другими спуститься с саней на землю, Светлана вдруг увидела далеко позади «газик».

— Кто это? Видишь? — спросила она Леонида.

Устремив недобрый взгляд на подпрыгивающую и вихляющую по «зимнику» машину, мысленно видя перед собой нежно-розовое лицо Краснюка, Леонид подумал: «Догоняешь, хам? Стыдно стало?» Но через минуту, разглядев, что идет не новый, а старый «газик», он ответил:

— Это не он... Это Зима.

Бригаду приятно удивило и обрадовало появление агронома Зимы. Всем было ясно, что он уже знает о поступке Краснюка, осуждает его, и потому все с живостью и интересом, точно по команде, столпились вокруг его старенькой машины с самодельной кабиной, какие в те годы встречались на всех захолустных дорогах. Одна Феня Солнышко, белая, пышная девушка с округлым лицом и веселыми, сияющими глазками, словно бы опасаясь какого-то подвоха, не слезла с саней.

Николай Семенович Зима был очень встревожен тем, что бригаду Леонида Багрянова, с грехом пополам собранную в путь, плохо проводили из Залесихи, но не подавал виду и, как всегда, точно молодея в кругу молодых, держался шумно и, казалось, беззаботно. Встречая подходивших к нему новоселов, Зима сильно сжимал каждому руку, резко встряхивая ее, и, не выпуская некоторое время из своей могучей руки, непременно задавал два-три, чаще всего неожиданных, вопроса. Эту манеру Зимы молодые новоселы знали хорошо, но редко когда угадывали, с чего он начнет разговор.

Увидев Феню Солнышко на санях, он вдруг крикнул ей:

— Ну, а ты что буянишь?

— Это как буяню? — насторожилась Феня Солнышко.

— На все село, вот как!

— Это где же я буяню?

— В магазине.

— Ой, это с Гуськовым-то? — вскрикнула Феня Солнышко.— Да если хочешь знать, Николай Семенович, этого гуся еще не так надо потрошить! У нас чайника нет, а он не продает, под прилавком держит! Это хорошо?

Зима открыл дверцу машины и вытащил ярко блестящий на солнце медный чайник.

— Этот?

Бригада грянула разногласием и восхищенно, а Феню точно смахнуло ветром с саней. Обеими руками она схватилась за чайник.

— Отобрал?

— Купил.

Какое-то время вокруг Зимы стоял озорной ребячий гвалт, а чайник переходил из рук в руки. Заметив, что сияющая Феня Солнышко отсчитывает на ладони монеты, Зима остановил ее:

— Ты это оставь! Дарю бригаде.

— На новоселье, да?

— На новоселье! Без всякого смеха!

И опять с минуту весело шумела вся бригада.

— Чай в степи — великое дело! — сказал Зима.— И в холод и в жару — одно спасение. Это вы сами скоро узнаете. Газировкой в степи не торгуют, а вода у нас почти везде солоновата.

— Меня с вашей воды так и рвет! — заявил Костя Зарницын.— Пока пьешь холодную, еще ничего, вроде незаметно, терпеть можно. А как согрется в животе — одно мучение! Воротит, как на палубе! Так что я не очень-то о чае горюю. Как его пить, горячий да соленый?

— Киргизы, так те сами подсаживают чай, — вставил Ванька Соболев.— Стало быть, полезно! Да оно и верно: в жару очень на соленое тянет.

— Погоди, и он подсаживать будет! — сказал Зима.

— Нет уж, этому не бывать! — даже загорячился Костя Зарницын и неожиданно припомнил Зиме первую встречу с новоселами в Барнауле.— Вы вот тогда, в Барнауле-то, здорово хаяли свой район, а почему не сказали, что вода у вас соленая? Схитрили? Нет, схитрили! Если бы сказали правду, меня бы на аркане сюда

не затащили! От этой вашей солонины меня... Ик-ик! Граждане, дай дорогу! Дай дорогу!

— Стало быть, чересчур много в тебе, Костя, соли,— заметил Ванька Соболев.— Ты вроде бы усолел, как огурец, и организм больше не требует... На заводе станочек работал, а ты за ним поглядывал! А вот в степи как сойдет с тебя пот ручьями, так и потянет тебя на соленое!

— Отвяжись! — крикнул со стороны Костя.

— Ну что ж, друзья, посидим, покурим? — предложил Зима и полез на сани.— Как дорога? Как тащиться?

— Плыдем,— ответил Вагрянов.

— Ну, а как наша степь? — спросил Зима парней, вадымивших в это время папиросами.— Нравится?

Все промолчали и стали оглядывать степь.

— Пусто очень: земля да небо,— ответил Белорецкий.

— Не пусто, а просторно,— возразил Зима.

— Очень уж просторно!

— Очень! — вдруг согласился Зима.— Большое раздолье! Здесь всему вольная воля. В степи заря так заря: в полнеба; гроза так гроза: как ударит, полмира оглушит и ослепит; буря так буря: как надвинется черной тучей, сердце захладеет. Всему здесь простор, всему приволье!.. Но где просторно, там приятнее, легче и лучше работается!

— Намек? — подмигивая, спросил Костя Зарницын.

— Намек! — подтвердил Зима.— Не нравится?

— Да нет, ничего... Намек дельный.

— Там, где просторно, действительно работать хорошо,— согласился Леонид.— Но дадут ли нам возможность работать хорошо на этом степном просторе?

— Понимаю,— сказал Зима, и лицо его потемнело от прилившей крови.— Директор нехорошо поступил, нехорошо! Ему уже сказано... Но ведь он, друзья, тоже новосел, он тоже учится работать в деревне.

Его тут же заглушили голоса парней:

— Плохо учиться! На двойки!

— Почему он как цепной пес? Мы ему кто?

— Ему один Деряба хорош!

— Они одной масти: рыжие!..

— Ну, попадись мне это мурло!

— Хватит! Довольно! — осадил Леонид расшумев-

шихся ребят и обратился к Зиме: — Спасибо, Николай Семенович, что догнали, а то, признаться, всю дорогу тошно было...

Зима соскочил с саней.

— Трогай! До новой встречи!

— Приезжайте в степь! — пригласил Леонид.

— Чаем угощу! — пообещала Феня Солнышко.

Пока Зима разговаривал с ребятами, Ванька Соболев обследовал лед на Черной проточине. Увидев его в мокрых сапогах, Леонид спросил:

— Ну, как?

— Вчера держал и сегодня выдержит!

— А где же летняя дорога на Лебяжье?

— Степью. Вокруг озер.

— И много лишнего?

— Километров сорок...

— Ого!

В воздухе внезапно раздался свист и шум. Могучий сокол-сапсан, самый быстроходный из хищников, сложив крылья, со всей силой ударил с высоты, прицелившись на стайку тяжелых крякв, тянувшихся над Черной проточиной из бора в степь. Перепуганные утки с криком бросились в ближние камыши, но сокол все же сшиб крупного селезня и, взмахнув несколько раз крыльями, понес его в сторону, а в текучем воздухе над проточиной замельтешило, засверкало нарядное брачное перо...

— Сбил, стервец! — с досадой воскликнул Леонид.

— Ты пусти сначала тракторы без саней, — посоветовал Зима. — Для разведки.

— Так и сделаю...

Первым повел свой трактор Григорий Холмогоров, крутолобый парень с добрым, но серым лицом, отчего казался старше своих лет. Это был смелый, но сдержанный, осмотрительный деловой парень — со всеми главными качествами разведчика. Ответив бригадире на его приказ кивком головы, он спокойно спустился к проточине, вышел на лед и не спеша двинулся вперед. На противоположный берег проточины, за которой лежали уже лебяженские земли, он вышел под шумные хлопки в ладони и радостный гай всей бригады.

Вслед за Холмогоровым через проточину двинулся на своем тракторе Виталий Белорецкий. Бригада и его наградила аплодисментами и одобрительными возгласами, когда он заслужил это, но уже гораздо в мень-

шей мере: всем стало ясно, что ничего особенного на проточине не происходило. Ванька Соболев даже крикнул:

— За что тут хлопать-то? Дай дорогу!

Он быстро и лихо перетащил свои тяжело нагруженные сани по льду проточкины. Вся бригада, окончательно убедившись, что опасения были напрасны, шумной толпой побежала следом, расплескивая на льду лужицы, и, пока Соболев, минуя разведчиков, опять занимал первое место в колонне, высыпала на другой берег.

— Давай смелей! Не задерживай!

— Гони-и-и!.. — полетело с той стороны.

С посветлевшим взглядом, потрогав ладонью грудь, Леонид сказал Зиме:

— Ну, отлегло...

Уже без всякой тревоги он проводил Костю Зарницына с санями, Владимира Белоусова с вагончиком и, наконец, Репку с голубым баком для горючего... Распрощавшись с Зимой, он с улыбающимся лицом, радуясь удаче, пошел вслед за Репкой, который уже двигался по льду проточкины. И вдруг, пронзая сердце Леонида, впереди раздался оглушительный, знакомый с детства треск, и огромный бак, закрывавший от его взгляда трактор, полез куда-то среди запрыгавших вокруг льдин, а в разные стороны от него — до берегов и камышей — хлынула пенная вода...



**ГЛАВА
ТРЕТЬЯ**



У синеватого мыса соснового бора, от которого уходила вдаль чистая, беспредельная степь, показалось Лебяжье. Когда-то это было большое и красивое село; теперь оно стало, может быть, самым неприглядным и неприятным в степном Алтае.

В Лебяжьем не осталось ни одной целой улицы: нигде не видно было больше десяти домов в ряду, чаще всего они стояли в одиночку среди пустырей, над которыми возвышались покинутые хозяевами старые, полузасохшие тополя, отчего все село казалось разбитым на отдельные хутора и займки. В большинстве это были крестовые или пятистенные дома старинной рубки, покосившиеся или вросшие в землю, прочерневшие, должно быть, насквозь от времени и сырости, с высокими завалинками и нередко с прогнившими тесовыми крышами, покрытыми мшистой плесенью с северной стороны. Лишь у некоторых из них сохранились резные наличники — чудо мастеров топора и пилы — да вкривь и вкось висели филенчатые ставни с едва приметными следами красок: в былое время они сверкали всеми цветами радуги. Но среди этих черных домов, от которых веяло стариной, там и сям виднелось жильё недавней стройки. Это были избенки, сколоченные из старья и утепленные камышом, приземистые саманушки и даже плетенные из вербняка халупы, обмазанные глиной с коровяком; у всех у них были крохотные оконца и плоские крыши, над которыми торчали невысокие трубы. Поблизости от жилья, а то и рядом стояли крохотные сарайчики и клетушки, зачастую с голыми стропилами, а вокруг торчали из снега, да и то не везде, шаткие оградки из хвороста.

Село стояло на песках, как и бор, что был рядом, и потому снега в нем таяли особенно быстро. Здесь уже повсюду сильно осели грязные, запыленные золой и гарью сугробы, обнажились кучи навоза, бугры и надувы с высокими кустами волоснеца (песок не удержишь двинулся через село с запада на восток) и во все улицы разлились желтые лужи. Со всех крыш, особенно на

солнцепопеке, текли ручьи; все постройки пропитались влагой. И оттого, что в селе уже всю хозяйничала весна воды, издали оно казалось особенно мрачным среди степи, все еще сверкающей белизной.

Ванька Соболев, ведущий головной трактор бригады, счастливым взглядом, слегка подрагивая от волнения и частенько порываясь вперед, осматривал родное село. Оно было таким, каким он привык видеть его прежде, а потом и во сне, каким он любил его с детства, и потому оно не показалось ему убогим и сирым. Оно было его самой дорогой родиной и всегда, даже в самом плачевном виде, оставалось для него красивейшим в мире.

Выглянув из кабины, он радостно крикнул:

— Вот оно, Лебяжье!

Однако молодые новоселы смотрели на Лебяжье другим взглядом. Они повидали уже много сел на Алтае, хороших и плохих, богатых и бедных, но впервые увидели такое жалкое село. Они не любили его и не могли пока любить, и мысль о том, что отныне им придется здесь жить, до боли сжала их сердца. Все они вдруг примолкли, будто птицы перед непогодой, а у кого-то из девочек даже слезинка засверкала на щеке...

Из села навстречу колонне выскочила верхом на серой гривастой лошадке Галина Хмелько. Она уже знала о беде на Черной проточине: из Залесихи ей звонил час назад Зима; он вернулся туда с Репкой, который, спасая свой трактор, довольно долго работал в ледяной воде. Осадив перед трактором Ваньки Соболева своего маштака, Хмелько озабоченно крикнула:

— А где Багрянов? Там остался?

— Там,— ответил Соболев, вылезая из кабины.

Хмелько слегка нахмурилась и немного помолчала, закручивая поводья на луке седла.

— И здорово там трактор засел?

— Намертво.

— Своими тракторами так и не взяли?

— Ни с места! Слабы.

— Сейчас выйдут два дизеля и машина,— сказала Хмелько и, оглянувшись на Лебяжье, добавила:— Вон они, уже идут!

— Тросы взяли? — спросил Соболев.

— Все взяли.

Вновь нахмурясь, Хмелько спросила:

— Кто же теперь-то в воду полезет?

— А кто больше? Сам.

Сорвав поводьями маштака с места, Хмелько крикнула:

— Давай за мной!

Минуя Лебяжье, Хмелько провела колонну снежной целиной на его северную окраину, к небольшому хуторку из нескольких саманушек и халуп: отсюда начиналась дорога, по которой через день-два бригада должна была уйти в степь.

Под вечер Ванька Соболев в темно-синей бобриковой тужурке и начищенных хромовых сапогах, чисто выбритый, чем-то едва приметно встревоженный, с важностью проходил по родному селу, изредка бросая по сторонам зоркий, охотничий взгляд.

Ванька Соболев уже знал, что его возвращение в Лебяжье вызвало самые разноречивые толки, да и не мудрено: ведь он вернулся в село первым из тех сотен лебяженцев, что покинули его за четверть века. Одни рассуждали в том смысле, что Ванька — шальной, непутевый парень и его возвращение — очередная его причуда; другие уверяли, что хитрый парень приехал только потому, что позарился на деньги, а дай срок — вновь сбежит в город; третьи намекали, что Ваньку вернули в село лишь сердечные дела... И только очень и очень немногие верили, что Соболев возвратился с тем, чтобы всерьез работать в Лебяжьем, и возвращение его расценивали как знаменательное начало обратного движения лебяженцев на родные земли. Но ни заглазные толки и пересуды, ни ехидные вопросы встречных сельчан не смущали Ваньку Соболева: не из того он был десятка, чтобы терять самообладание по ничтожным причинам.

Ваньку Соболева тревожила лишь встреча с Тоней Родичевой и ее семьей, и он сердцем чуял: тревожила не напрасно. Здесь обстоятельства для Ваньки были так сложны, что могло помочь, пожалуй, только чудо.

...Открыв калитку во двор Родичевых, Ванька Соболев тут же, неожиданнее, чем предполагал, увидел Тоню; она вышла из сеней, словно бы нарочно навстречу ему, с пустыми ведрами в руках. Увидев Соболева, она

вдруг замерла на крыльце и быстро, со звоном опустила оцинкованные ведра... «Все пропало!» — обомлев в суевверном страхе, подумал Ванька. Но еще более оробел он, когда разглядел Тоню. Господи, и что только может сделать природа с семнадцатилетней худенькой, глазастой девчонкой за два года! Теперь это была крепкая, статная девушка с высокой грудью, с тяжелыми темно-русыми косами, сложенными кренделем; ее полненькое, мягко очерченное лицо, тронутое ранним загаром, на удивление, очень украшали, веселили и делали на редкость милым реденькие золотистые веснушки — без них она, вероятно, была бы обычной. И не остренькие, озорные глазоньки, какие виделись Ваньке во сне, а большие ясные очи освещали ее лицо. Все бледнее и бледнее, она стояла на крыльце, и Ванька Соболев, не в силах оторвать от нее восхищенно-растерянного взгляда, с трепещущим, обмирающим сердцем подумал: «Чистая царица! Прямо с картины!»

Немалых трудов стоило Ваньке Соболеву собраться с духом. Не один раз он в замешательстве переступил на месте, пока смог-таки наигранно-весело крикнуть:

— Собака-то у вас, хозяйка, дома?

— А что? — спросила Тоня насмешливым голосом, но без улыбки. — Или попроведать ее зашел?

— Вот выдумала! Боюсь, покусает!

— Не покусает, она с ребятами убежала...

Поняв, что ему не очень милостиво, но все же разрешено войти, Ванька Соболев еще более осмелел и направился к крыльцу, со звериной осторожностью трогая легкими сапогами землю; его чернявое лицо сильно потемнело от прилившей крови.

Наблюдая за Соболевым, Тоня про себя отметила, что он гораздо старше на вид, чем был до отъезда из Лебязьего: черты его суховатого лица стали резче, губы — тверже и суше, взгляд — острее и глубже. Все это сильно делало его чужим и далеким. Но вот он остановился у крыльца и поднял на нее вороненые до блеска глаза — и Тоня тут же, точно при вспышке молнии, увидела его прежним... Часто бывает так: откроет девушка сундук, начнет перебирать свои слежалые наряды, и вдруг пахнет от какой-нибудь кофты любовью или мятой, и тогда, с изумлением вдыхая чудом сохранившийся запах, она за короткие секунды до мельчайших подробностей вспомнит прошлое.

Он сказал протяжно, со вздохом:

— Здравствуй, Тоня! Не узнала?

— Здравствуй! — слегка потупясь, шепотом ответила Тоня, с каждой секундой все более узнавая прежнего Ваньку Соболя и второпях не в силах разобраться в своих чувствах от этой встречи.— Значит, явился? Набегался? — спросила она вдруг, давая волю своей давнишней девичьей обиде.— А совесть-то где потерял? Не скажешь?

— Зачем говоришь так? — сдержанно и негромко спросил Ванька Соболев.— Совесть как была при мне, так и осталась. Где я ни пропадал, а я ее не промотал!

— Не вижу я совести в твоих глазах,— сурово выговорила Тоня.

— Смотри спокойнее — увидишь!

— Зачем же ты пришел, если совесть при тебе? — уже гневно спросила Тоня.— Я за тебя не просватана! Увидят люди, что скажут?

— Дело у меня,— твердо ответил Соболев,

— Какое же у тебя может быть дело ко мне?

— Не к тебе, а к матери...

Волей-неволей, а пришлось пустить Соболя в дом. Мать Тони, Лукерья Власьевна, когда-то красивая, дородная женщина, состарившаяся до срока, была измучена и озлоблена тяжелой жизнью. Ее муж, искалеченный на войне, умер года через два после возвращения в село, оставив на руках несчастной жены своего немощного отца-старика и троих детей, одного из них грудного. Немало пришлось Лукерье Власьевне хлебнуть горя горького в тяжелые послевоенные годы, когда колхозное хозяйство пришло в упадок. Она не могла, как другие, бросить все и бежать со своей семьей в город. Вначале она завидовала тем, кто бежал, но со временем стала ненавидеть их: ведь их долю работы приходилось взваливать на свои натруженные плечи тем, кто оставался в селе. По этой причине так же, как всех беглецов, ненавидела она и Ваньку Соболя. К тому же от Лукерьи Власьевны не могло укрыться, что ее любимица Тоня на заре своего девичества крепко полюбила непутевого парня и, когда тот, зная об этом, все же сбежал в город, долго горевала. «От такого счастья, обормот, сбежал!» — бывало, кручинилась и негодовала Лукерья Власьевна, до глубины души оскорбленная за свою дочь. Узнав сегодня, что Соболев неожиданно вер-

нулся в село, она готовилась при первой же встрече без всякой пощады высказать ему все, что думалось о нем два года. И вдруг — вот он, на пороге, явился сам, расправляясь как надо!..

Пробурчав что-то невнятное в ответ на приветствие гостя, Лукерья Власьева пододвинула ногой в его сторону табурет, а когда Ванька Соболев, не ожидая особых приглашений, уселся на него близ двери, она спросила в песенной манере, предвкушая близость долгожданной расправы:

— С чем же хорошим припожаловал, добрый молодец, в наш дом? Кажись, и делов-то никаких у тебя тут нету?

— Без дела бы не зашел, Лукерья Власьева, — предельно мирно ответил Соболев, не торопясь, однако, выкладывать свое дело и всячески стараясь сохранить с трудом обретенное спокойствие.

Лукерья Власьева присела у стола.

— Только явился, и сразу оказалось дело до нас? — спросила она, заговорщицки поглядывая на Тоню, вставшую с высоко, оскорбленно поднятой головой у косяка двери. — Небось и срочное? — добавила она с кривой, невеселой улыбкой на сером, усталом лице, видимо уверенная в том, что уже приперла беглеца к стенке.

— Срочное, — не моргнув глазом, ответил Соболев.

— Может, и очень важное?

— Очень...

— Слыхала, Тоня? — Лукерья Власьева, не утерпев, даже коротенько засмеялась, наслаждаясь явным своим преимуществом в разговоре с гостем. — Какое же интересно знать, у тебя дело? Кажись, ничего и не оставлял у нас, когда ударился в бега за хорошей жизнью?

— Зря вы, Лукерья Власьева, корите меня за то, что я сбежал отсюда, — как и вначале, очень мирно ответил Ванька Соболев. — Сами знаете, до меня половина села сбежала! И даже, как мне помнится, кое-кто из ваших родных. Верно, да? А ведь я, если на то пошло, крепче многих держаясь и сбежал, можно сказать, самым последним... Опять же и вернулся самым первым! Выходит, я еще получше других!

— Хвались, хвались! Конечно, самый что ни на есть сознательный! — с издевкой воскликнула Лукерья Влась-

евна.— Бросил трактор в борозде и — давай бог ноги! А мы тут как окаянные за всех вас гни хребты! Через таких вот, как ты, все хозяйство рухнуло!

— Не мы здесь виноваты,— угрюмо возразил Соболев.

— А кто же?

— Поищите виновных в другом месте.

— Мне лучше видать тех, какие поближе! — сказала Лукерья Власьева.— Как ни говори, а не разбежались бы, побольше думали о колхозе, так и не дожили бы до этого...

— Что же мне делать было здесь? — спросил Соболев.— Два года чертоломил на тракторе день и ночь, глотал пыль до тошноты, а получал вот что! — Он сунул в сторону хозяйки шиш.— Укусишь его? Огородом заниматься да на базар бегать, как другим, мне некогда было... А старики мои, сами знаете, едва ходят... Вот и дожил, что ножки съежил! Подходит зима, а за все мои труды, за все мои бессонные ночи дают мешок высевок — посыпать курам! Да у кого же стерпит сердце?

— А как у нас терпело?

— Некуда было деваться — вот и терпело.

Намеренно пропуская мимо ушей это последнее замечание, потому что оно было горькой правдой, Лукерья Власьева воскликнула, возвращаясь к прежней сильной позиции:

— Ишь ты, расхвалился! Последним сбежал и вернулся самым первым! Сознательный! Чисто святой! — Она покосилась на дочь, усмехнулась ей и затем спросила:— А сколько ты, сознательный, хапнул за то, что взял комсомольскую путевочку и записался в новоселы?

— Я денег не просил,— твердо ответил Ванька Соболев,— а дали — взял: не часто нашему брату дают.

— Прямо скажи: содрал с государства!

— Оно само дало.

— А ты и взял без всякого стыда?

— Взял! Государство с меня тоже брало немало,— ответил Соболев и сумрачно опустил глаза.— Не мог я сейчас отказаться от денег! Они мне нужны. Если хотите знать, я и на самом деле теперь новосел: совсем заново жизнь здесь начинаю.— Он поднял голову и смело взглянул в лицо хозяйки.— Вот вы говорили, Лукерья Власьева, что вам трудно было... А бежать из родного села, думаете, легко? Бросаешь все: дом, родителей, которые

доживают век, скворечно над воротами, которую сделал сам, любимый тополь у окна!.. Все бросаешь! Может, даже свое счастье!.. Бежишь из родного села, а у самого все сердце в крови! А на чужой стороне, думаете, сладко? Я под землей работал, в шахтах. А душа моя то и знай на волю рвалась! Только, бывало, и думаешь о селе, о степи, о хлебах... Иной раз так захочется пройтись по пшенице, что даже слеза прошибет! Все бы отдал, дай только память в руках колосья да пожевать свежее зерно! Вот как, Лукерья Власьевна, жилось в городе! А теперь возвращаешься к разбитому корыту... Чем же я не новосел? Чем я богаче своего прадеда, который в старые годы первым селился на этом месте? Возвращаешься — и не знаешь, может, уже вся жизнь твоя навсегда поломана! — Он перевел взгляд на Тоню и добавил с грустью: — Всем нелегко было.

— Думаешь, теперь полегчает? — спросила Лукерья Власьевна, хорошо понимая, о чем говорил Соболев, обращаясь к Тоне, но делая вид, что разговор не касается дочери.

— Обязательно легче станет! — убежденно ответил Соболев. — Да оно ведь, пожалуй, уже и стало легче. Налогов-то вон сколько скостили. Дышать можно. А трактористам теперь, как и рабочим, верный заработок. Милое дело! Теперь-то я знаю: что заработаю, то и получу. Я могу планировать свою жизнь, как мне надо... Да разве бы я убежал из родного села, от любимого дела, если бы всегда так было? Вот погодите, теперь и в колхозах наведут порядок. Еще осенью я сразу учуял, что жизнь-то вот так, как баранку, крутанули и теперь она пойдет другой дорогой. Ну, меня тут же и потянуло домой. А теперь, я знаю, уже многих тянет!

— Где же ты видел тех, которых обратно в деревню потянуло? — недоверчиво спросила Лукерья Власьевна.

— В городе.

— А у нас их пока не видать.

— Скоро увидите, — ответил Соболев и неожиданно отчего-то повеселел. — У меня, Лукерья Власьевна, легкая рука для зачина! Вот просохнут дороги — и потянется народ обратно в колхозы! Так что и вам советую поджидать гостей.

— Каких еще гостей?

— А тех, какие раньше, чем я, сбежали, — победно

улыбаясь, ответил Соболев. — К примеру, свою родную племянницу Екатерину Тимофеевну с мужем и детьми...

— Катю? — вдруг крикнула Тоня, отрываясь от двери.

— Неужто видел ее? — опешила Лукерья Власьевна.

— Передавала самый низкий поклон и сердечный привет, — ответил Соболев. — А главное, наказывала сказать, что решили они всей семьей вернуться в Лебяжье. Приедут, как только подсохнет дорога.

— Да где же ты видел ее?

— А там, в Кузнецке... Случайно встретились.

— Что же ты, злодей, столько сидел и молчал?

— Лукерья Власьевна! — с улыбочкой взмолился Ванька Соболев. — Ведь я же как только переступил порог, так и сказал, что зашел по делу. Ну, а вы слова не дали мне вымолвить, давай сгоряча мылить шею!

— Господи, да неужто правда, что Катюша едет? — заговорила Лукерья Власьевна, в волнении поднимаясь с места. — Может, только так... поговорили? Ты не прибавляешь, Иван? — Она встретила взглядом с Тоней. — От нее ведь и письма давно не было!

— Давно, — отозвалась Тоня.

— Письмо есть, вот оно! — сказал Соболев.

— Ох, злодей! И сидит!

Тоня вырвала письмо из рук Соболева, пронзив его при этом уничтожающим взглядом, и немедленно прочитала его матери. Да, Ванька Соболев прав: надо было готовиться к встрече гостей.

После этого как-то незаметно Ванька Соболев был водворен в передний угол, на почетное место, и начались расспросы. Повстречался Соболев с Екатериной Тимофеевной в Кузнецке недавно, незадолго до отъезда, знал о жизни ее семьи немного, но расспросы тем более были настойчивы. Потом мать и дочь тут же, при Соболе, стали вслух думать и гадать, как встречать дорогих гостей и как помочь им начать новую жизнь в родном селе: ведь у них не сохранилось даже своего дома.

За полчаса, получив радостное известие, Лукерья Власьевна так подобрела к Ваньке Соболеву, что даже пожалела:

— Вот беда, а у меня-то, Ванюша, и угостить тебя нечем! А как бы отблагодарить-то надо!

— Я так и знал, Лукерья Власьевна, что вам захочется угостить меня за добрую весточку, — окончательно осмелев, бойко заговорил Соболь, — а угостить при такой жизни, конечно, не на что... Откуда у вас быть деньгам? Вот я на этот самый случай и прихватил поллитровочку беленькой...

— Ох, бес! — тихонько и даже внезапно ласково воскликнула Лукерья Власьевна, видя, как оборотистый гостенек достает из внутреннего кармана тужурки бутылку зеленоватого стекла.

Тоне не понравилось, что мать круто переменялась в разговоре с Ванькой Сободем, и она презрительно бросила:

— И верно, бес!

— Ничего, по маленькой выпьем! — сказала Лукерья Власьевна и кивнула на дверь горницы. — Подними деда, пусть тоже отпробует. Редко ему приходится... Да что ты стоишь? Накрывай на стол!

...Уходил Соболь от Родичевых на закате солнца. От порога, задерживая осторожно зовущий взгляд на Тоне, он попросил как должное:

— Проводи от собаки-то!..

— Проводи, милая, проводи! — подхватила раздобревшая к Соболю Лукерья Власьевна, которой, конечно, невдомек было, что собаки давно нет на дворе. — Недолго и до греха: собака есть собака!..

— Не покусает! — ответила Тоня.

— Ой, Тоня, да долго ли тебе выбежать?

На крыльце Ванька Соболь остановился, и опустив голову под укоризненным взглядом Тони, спросил высоким печальным голосом:

— Живешь-то как?

— Живу... — ответила Тоня уклончиво.

— Забыла?

— Все забывается!

Соболь долго стоял молча, с опущенной головой, а Тоня, просрочив время, когда удобно было уйти, смущенно и досадливо комкала в руках фартук... Не поднимая головы, Соболь сказал тихо, но достаточно твердо:

— Поговорить с тобой надо.

Тоня промолчала, и он добавил еще тверже:

— Сегодня же!

И снова в ответ молчание.

— Приходи в клуб, — попросил Соболь.

— Видно будет! — отозвалась Тоня, будто изда- лека.

— Приходи! — твердо и ласково повторил Собо- ль, будто не расслышав ее слов.— Я ждать буду! — добавил он и, не прощаясь, медленно сошел с крыльца.

...Бывает, встретишь в лесных дебрях ручей. Малень- кий, он едва прокладывает себе путь, он еще не может перепрыгнуть через поваленное дерево... Но присмот- ришься к нему — и видишь: есть в нем все же что-то за- дорное, сильное и многообещающее! И невольно мель- кает мысль: а куда он течет, этот ручей, каким он будет, когда пройдет сотни верст? Может быть, он станет могу- чей рекой, которая проложит себе путь по чудесным про- сторам? И тогда захочется встать и шагать, шагать за ручьем, чтобы узнать, какой он, многообещающий, в да- лекой дали!..

Так было и с Тоней.

Она знала многих парней и отчетливо видела, каки- ми они станут в будущем. Вот один: он будет жить раз- меренно, деловито, без дерзкой мечты, в годы возму- жалости завоюет почет в селе, полюбит ходить в баню и за один присест будет выпивать туесок домашнего ква- са... Вот другой: этот будет маленьким крикливым мужи- чонкой, какие любят мешать другим жить на белом све- те: в семье у него будет не больше счастья и несчастья, чем у других, но он, надоедливый, о каждой своей жи- тейской мелочи заставит говорить все село... Ой, каждо- го, каждого лебяженского парня Тоня видела стоящим где-то за много лет впереди!

А вот Ваньку Соболя не видела. Никак нельзя было узнать, каким он станет. Он очень легко, играючи на- учился работать на тракторе. А за какие дела он только не брался попутно! Охотничал, выкармливал на своем дворе лис-чернобурок, вязал сети, плотничал, объезжал колхозных коней... Он неутомимо, неугомонно раскраши- вал, как умел, в яркие цвета свою простую деревенскую жизнь. Озорной, он любил покуролесить, при случае по- хватываясь, затеять что-нибудь необычное, чтобы ахнуло все Лебяжье. А что все же из него могло получиться в будущем, никак не видно было...

Именно по этой странной причине Ванька Собо- ль свое время и полюбил Тоне, да так, как только бывает

впервые. И Тоня готова была, обо всем позабыв, шагать и шагать за Ванькой Сободем, чтобы узнать, станет ли где-то его жизнь могучей рекой...

Когда же горячий и своенравный парень бежал из Лебяжьего, бежал, не подумав о ней, не пощадив ее, Тоня со всем пылом и жестокостью молодости стала рвать из своей души буйно проросшую и цепкую, как трава-березка, свою любовь к Ваньке Соболю. Так продолжалось два года.

Но вот он вернулся, возмужавший, но такой же, как и прежде, загадочный и, кажется, с прежней любовью. Что же делать? Как быть?

Отцвело вечернее небо. Наивно обманывая и смиряя себя, Тоня с излишним усердием и дольше, чем обычно, подбирала мелкие домашние дела, так что Лукерья Власьевна не вытерпела и спросила:

— Что же ты все копаешься? В клуб-то пойдешь?

— Успею... — не сразу ответила Тоня.

— Неужто не звал?

— Ой, мама, ну и звал, так что же?

— А звал — брось свои обиды, иди и прости!

— Сердце не прощает! — с болью ответила Тоня.

Она ушла в горницу, опустилась на колени перед сундуком, подняла крышку и вновь увидела перед собой среди пестрых открыток небольшое заветное фото Ваньки Соболя; много раз, бывало, порывалась она сорвать и выбросить его, но так-таки и не поднялась рука! «Ждешь, мучитель? — с гневными слезами на глазах спросила Тоня, обращаясь к фото. — Жди, изверг, хоть всю ночь жди! Я белены не объелась, чтобы идти к тебе! Нет тебя на свете, нет! Сгинь!» Ей вновь захотелось сорвать фото Ваньки Соболя, но и на этот раз, как всегда, она не могла сдержать рыдания и упала грудью на край сундука...

Траву-березку нелегко выжить. Нападет она и всю власть заберет в поле: тянет из земли все соки, быстро ползет туда-сюда, все опутывает и заглушает. Попробуй выполоть ее — выбьешься из сил: жидкие ползучие стебли ее крепки, точно из сыромятной кожи. Но вот наконец-то трава-березка уничтожена... А так ли? Взгляни в поле: вон она, эта живучая трава, опять всюду властвует над землей...

Да неужели и любовь такая?!

У кабины трактора «С-80», затопленного в Черной проточине, вдруг всколыхнулась вода, и из нее разом вырвался по грудь Леонид Багрянов. Он торопливо, боясь захлебнуться, начал смахивать ладонями с лица рыжий озерный ил и откидывать с глаз мокрые волосы. С лебяженинского берега проточины, где стояли, сдержанно рокоча моторами, два степных богатыря, родные братья потерпевшего аварию, и толпились у машины и костра кучка людей, раздался возбужденный многоголосый выкрик:

— Готово, да?

— Один трос готов! — закричал в ответ Багрянов, не в силах отдышаться и прийти в себя после ныряния в ледяной воде. — Сейчас другой зацеплю!

Костя Зарницын, стоявший в болотных сапогах до колен в воде, рванулся было вперед, выкрикнул:

← погоди, я сменю! Пропадешь!

— Пропадать, так одному!

Даже ледяная вода не могла остудить точно налитую зноем душу Леонида и все его взвихренные чувства. С той самой минуты, когда случилось несчастье, он все время находился в состоянии неукротимой, ослепляющей и бессильной ярости, от которой, бывает, внезапно брызжут слезы...

— Ты вяжи прямо за раму, слышишь? — посоветовал Зарницын.

— Знаю, — сердито отозвался Леонид.

— Да скорее ты, ради бога!

Собираясь вновь нырять, Леонид вдруг взглянул с тоской на небо, словно прощаясь с ним, и затем медленно, скольльзящим взглядом огляделся вокруг. Красноватое солнце стояло совсем уже низко над степью. На опушке бора, вокруг лесного озера, в этот предвечерний час необычайно густой и яркой голубизной светился оживающий осинник; нигде, должно быть, не встретишь таких голубых осин, как на Алтае. Из волшебного голубого царства внезапно поднялась стая крикв; она быстро, не успев вовремя заметить на земле людей, пронеслась над Черной проточиной, направляясь в степь, и Леонид Багрянов, проводив ее взглядом, невольно вспомнил о том, как сегодня на этом воздушном пути погиб в когтях со-

кола-сапсана кряковый селезень, одетый в изумрудное брачное перо...

— Иду! — крикнул Багрянов и скрылся под водой.

Кто-то у костра, не выдержав, со стоном произнес:

— Бр-р-р! С ума сойти!

Леониду пришлось нырять несколько раз подряд, пока удалось закрепить второй трос. Костя Зарницын все время молча и тревожно наблюдал за бригадиром и без конца удивлялся тому, как он без колебаний отважился работать в ледяной воде, хотя и видел, что стало от этого с Репкой. Позади, у костра, трактористы сумрачно перекидывались отдельными фразами:

— Ну, и этому несдобровать!

— Убей меня или озолоти, я не полезу!

— Тебе что! Тебе хоть все на свете погибай!

— Фу-ты, опять ныряет! Да скоро ли?

— Стало быть, не может зацепить...

Наконец дело было сделано, и Леонид, вырвавшись из воды, кое-как протерев глаза, не в силах сдержать бурные приступы озноба, шатаясь, направился к берегу, разгоняя рукой льдины. Костя Зарницын схватил его под руку и вывел к костру. Здесь Леониду немедленно подали большую алюминиевую кружку, до краев наполненную слегка разведенным спиртом.

— Пей! — потребовал Костя.

— Да много же!.. — слабо запротестовал Леонид.

— Пей, тебе говорят, не то пропадешь!

Все, кто был у костра, заговорили наперебой и заставили-таки Леонида одним духом опорожнить кружку до дна. Потом ребята сорвали с него мокрую одежду и резиновые сапоги, полные жидкого ила, а самого, обильно обливая спиртом, в несколько рук растирали полотенцами. Голый Леонид, смущаясь, вертясь на охапке камыша, устало отбивался от наседавших ребят:

— Да отвяжитесь вы, ну вас к дьяволу! Ничего со мной не будет! Обойдется! Ой, не могу! Ой, щекотно! Стой, братцы, куда он лезет?

Под общий хохот на Леонида накинули тулуп. Он поймал глазами Костю Зарницына и погрозил ему пальцем:

— Я тебе дам, белобрысый черт, за такие шутки!

Через несколько минут, оказавшись в сухой запасной одежде, кутаясь в тулуп, быстро и заметно для других хмелея, Леонид остановил Виктора Громова, тоже брига-

дира целинной бригады, который только что пригнал два «С-80» из Лебяжьего, и прокричал, стараясь перекрыть рокот моторов:

— Виктор, выручай!

Виктор Громов, на вид неуклюжий, тяжеловатый парень с широким, курносым, очень добродушным лицом, отвел Леонида подальше от рокочущих тракторов и спросил:

— Илом-то здорово его забило?

— Вот и беда!

— Да, тяжесть большая, сам знаешь! — завздохал Громов. — Отцепить бы сани с этим баком...

— В том-то и дело! А как?

— Да и стоит он, дьявол, наискосок! Если бы только тянуть, а то его, видишь, разворачивать надо!

— Давай, Виктор, давай! — опять закричал Леонид. — Только, слушай, ровнее бери, спокойнее, без рывков!..

— Тросы хороши?

— Хороши!

Наступили решающие минуты! Два могучих трактора задним ходом двинулись в проточину, где уже почти весь лед был взломан и искрошен на куски, чтобы взять на буксир затонувшего собрата. Все волновались, а особенно сильно Леонид. За все время жизни на Алтае ничто так не ошеломляло его, как эта беда, подстерегшая бригаду на пути в степь. «По рукам ударила! — слезным криком кричал он про себя. — Без ножа зарезала!» Со спасением самого мощного в бригаде трактора в сознании Леонида связывалось теперь все, чем он жил последние дни и надеялся жить впредь, чем был счастлив, и потому он весь трепетал как в лихорадке...

Вскоре тракторы, приняв буксиры, по команде одновременно тронулись из проточины вперед, словно испугавшись высоко забурлившей вокруг воды. Осторожно натянув тросы, они натужно взревели, стараясь сорвать затопленный трактор с места.

— Разом! Разом! — охрипшим от волнения голосом командовал Багрянов, стоя перед тракторами на берегу и точно выманивая их руками из проточины на себя. — Бери ровно! Не дергай!

Трактористы охотно принимали все советы, но затопленный трактор не трогался с места, будто его приварили ко дну проточины. Волнение росло, и над проточиной не стихал галдеж. Неожиданно с треском лопнул один из

тросов. Его срастили, но он тут же оборвался второй раз, почти у самой рамы пострадавшего трактора. Сгоряча решено было тянуть двумя тракторами на одном тросе, но вскоре и он лопнул, блеснув, будто змея, над водой...

На берегу проточины смолкли голоса. Все ребята, опустив руки, угрюмо уставились на кабину затонувшего трактора, а Леонид Багрянов, сильно опьяневший к этому времени, не выдержав, беззвучно — одной душой — заплакал от обиды и ярости.

Стыдясь своей слабости, он вышел из толпы и стал собирать свою одежду, развешанную для просушки у костра. Но вскоре его окликнули:

— Багрянов, оторвись, сам директор едет!

Следом за вездеходом Краснюка к берегу Черной проточины подошла грузовая машина, на которой возвышался над кузовом Степан Деряба, а по бокам — его закадычные дружки. Они стащили с машины лодку-плоскодонку, протащили до края уцелевшего льда и спустили ее на воду.

Собираясь садиться в лодку, Илья Ильич помедлил в нерешительности, поглядел на трактористов, толпившихся на лебяженском берегу проточины, и неохотно крикнул:

— Ну, как дела?

Ему ответили тоже неохотно:

— Оборвали все тросы!

В знак того, что он и не ожидал ничего хорошего, Краснюк брезгливо взмахнул красноватой веснушчатой рукой. Через пять минут он в сопровождении Дерябы, который огребался веслом с кормы, был у торчавшей из воды кабины трактора. Смотреть здесь нечего было, но Краснюк все же довольно долго крутился вокруг кабины с самым серьезным видом, кратко отдавая приказания Дерябе.

Узнав о несчастье на Черной проточине, Степан Деряба тут же с озабоченным видом появился в кабинете Краснюка. Потоптавшись у порога, спросил:

— Может, помощь нужна? Я могу, имею опыт.

Краснюк не торопился отвечать.

— Вот услышал о беде — и пришел, раз это общее дело, — продолжал Деряба. — Почему не помочь? Опять же, мне приходилось вытаскивать тракторы.

— Приходилось? — переспросил Краснюк.

— А как же! Все бывало!..

— Хорошо, поедешь со мной!

Теперь Степан Деряба, управляя лодкой, втайне злорадствовал над бедой Багрянова...

Все это время Леонид, стоявший впереди всех на берегу в распахнутом тулупе, до ногтей распаленный спиртом, с нескрываемой ненавистью и горячностью наблюдал за Краснюком, которого считал единственным виновником беды: не тяни он с созданием бригады, помоги склотить ее — и она вышла бы в степь до половодья. «Так, значит, подлая твоя душа, невзлюбил меня — и давай издеваться над бригадой? — думал он, до ноющей боли стиснув челюсти.— А ну выходи, выходи, я поговорю с тобой, рыжая образина! И этого... бандюгу с собой привез? Без него жить не можешь? Давай и его сюда!»

Заметив, что Багрянов сжимает кулаки и воспаленно дышит, поглядывая на Краснюка, Костя Зарницын приблизился к нему и тронул сзади за локоть.

— Леонид, остынь!

— Куда мне больше остывать? — огрызнулся Леонид.— Я и так из ледяной воды!

Скрывшись с глаз толпы за баком, затопленным до половины, Краснюк призадержал на месте лодку и обратился к Дерябе с вопросом:

— Ну, как твое мнение?

— Вытащу! — твердо заявил Деряба.— Даю слово!

— Каким же образом? Они вон порвали все тросы!

— Дурьм тащить — разве вытащишь? — ответил на это Деряба и даже сплюнул в воду, догадываясь, что презрительное отношение к любым действиям Багрянова будет по душе директору станции.— Тут, товарищ директор, мудреное дело: не умешь — не лезь! Тут надо построить на берегу из бревен особое сооружение, вроде буровой вышки, и пустить трос через блок!

— Это для чего же?

— Чтобы приподнять трактор из ямы! — в видом редкостного знатока аварийного дела ответил Деряба.— Видите, как он сидит в яме? Поднимем, а на другом тросе потянем вперед! Тут и гадать нечего! Ну, так и так, а работы не меньше, чем на неделю. И работа рискованная: в ледяной воде. Но я берусь и сделаю! Через неделю трактор будет в борозде. А это, сами знаете, какое дело! Если вы не примете мер, не вытащите трактор и он присидит всю весну здесь, вас поглядят по головке?

Вывести из строя новый трактор — это не шутка! И тут, скажу я вам, товарищ директор, нечего скупиться на расходы...

— Что же надо тебе? — нахмурясь, спросил Краснюк.

— Машину для подвозки леса и водки.

— И много водки?

— Четверть на день, не меньше...

— Вы сопьетесь тут!

— Как хотите, рискованная работа!

Пока Краснюк разговаривал с Дерябой, Леонид еще более распалился: бригадира оскорбляло, и совершенно естественно, что о спасении трактора его бригады директор держит совет не с ним, а с Дерябой. «Значит, с ним советоваться, а с нами нет? — бурно негодовал он в душе. — Думает, тоже рыжий, так и все может?» К той минуте, когда Краснюк, приняв все же условия Дерябы, направился к лебяженскому берегу проточины, Леонид был уже совершенно пьян и в таком яростно-горячечном состоянии, что изменился до неузнаваемости: лицо побагровело и даже отекло, хмельные глаза налились кровью.

Выйдя из лодки на берег, Краснюк неожиданно разглядел, что казавшаяся издали незнакомой фигура в тулупе, стоявшая впереди толпы молодежи, это и есть Леонид Багрянов, и тревожно замер на месте. Леонид Багрянов тут же сбросил наземь тулуп, давно стеснявший его, и медленно, ступая на всю ногу, пошел навстречу директору, на ходу стиснув горячие руки за спиной.

— Леонид! — предостерегающе крикнули из толпы.

Этот зряшный выкрик не остановил Леонида, но очень испугал директора. Увидев вблизи лицо Багрянова, встретившись с его пьяным, звероватым взглядом, Краснюк внезапно с диким криком вскинул руки для защиты, хотя его никто не собирался бить, и вслед за тем ошалело бросился назад, к лодке...

Внезапный испуг Краснюка перед Багряновым немало удивил всех, кто был свидетелем печальной сцены на проточине, и озадачил да протрезвил самого Багрянова: к одной беде да другая беда. Отношения с Краснюком не предвещали теперь ничего хорошего. Об этом и думал Леонид, уезжая на колхозной автомашине в Лебяжье.

Но воистину нет худа без добра! В данном случае худо помогло Леониду как нельзя лучше разглядеть директора. В ту минуту, когда Краснюк спасался от его

взгляда, он перестал быть для Леонида загадочным человеком, каким был в Залесихе. Еще утром, не понимая Краснюка, Леонид испытывал к нему самое острое недружелюбие, но не испытывал отвращения; теперь же — только отвращение: Леонид с детства презирал трусливых людей. Поражаясь тому, что произошло, Леонид невольно натолкнулся на мысль: как же могло случиться, что этот ничтожный человек оказался в степи, да еще такой весной? Эта мысль очень насторожила Леонида.

Отвращение к трусости Краснюка (а трусость он считал самой большой человеческой слабостью) так взбудоражило Багрянова, что он нехорошо подумал и о себе: ведь то состояние, в котором он находился на проточине, тоже было слабостью. «Ну, довольно паники! Довольно! — крикнул он себе, как иной раз кричат себе люди в бою, быстро заряжаясь той привычной силой, что несколько ослабла на проточине, но всегда была его натурой и его судьбой. — Что стонать? Разве все потеряно?» — подумал он с привычной солдатской твердостью и жестокостью к себе.

Стоило Леониду взять себя в руки, как в душе вновь возникло и заструилось вешним ручейком, постепенно разливаясь, то необычайное вдохновение, какое он испытал сегодня утром, когда увидел пробуждающуюся степь. «Скоро за дело, — подумал он, как думал не однажды за день, и даже улыбка тронула губы. — Скоро пахать! Вот она какая, весна!» Машина прыгала, качалась и скрипела на ухабах «зимника», расплескивая лужи. Даже легким морозцем, впервые за весну, не веяло над степью. Вечерняя заря, ясная, высокая, обещала назавтра ведро. «Завтра начнется потоп! — подумал Леонид. — Наконец-то! Дождались!» Мысли о работе и раньше никогда не тяготили Леонида, хотя и нелегко иногда давалась ему работа, а теперь они были самой большой его радостью и надеждой: ему всегда почему-то казалось, что именно в степи он узнает что-то такое, без чего и жить-то нельзя на земле...

И бригада, притихшая, приунывшая от беды и опечаленная видом Лебяжьего, удивилась, увидев Багрянова. Он был измучен, бледен, но по-прежнему бодр и деятелен... Он ходил по тесным и душным халупам, где нашла приют бригада, и всех озабоченно расспрашивал:

— Ну, как вы тут, живы? — и, неожиданно меняясь в лице, восклицал: — А весна-то, братцы, а? Чудо!

Наскоро поужинав с ребятами, он отправился в правление колхоза: перед выходом в степь там надо было уладить еще немало дел. Вернулся он только после полуночи, когда уже спала вся бригада.

III

Второе утро над степью, затуманенной теплой марью, на быстролетных птичьих крыльях неслась запоздавшая весна. Когда на опушке бора близ Лебяжьего вдруг обьяло курчавые вершины сосен тихим пламенем, все кочующее пернатое царство, охваченное извечной весенней страстью, примолкшее было перед зарей, сговоренно пришло в движение и поднялось, чтобы многоголосо и ликующе встретить солнце. Поначалу с озера, что тускло мерцало у подножия пламенеющих сосен, раздались могучие трубные клики лебедей; они величаво и зыбко проплыли над степью, точно первые аккорды торжественной симфонии, и медленно-медленно замерли вдали. На минуту установилась затем необычайно чуткая тишина, казалось, сама природа онемела, очарованная свершившимся чудом. Потом с далеких степных озер вдруг донеслось возбужденное гоготанье несчетных гусиных табунов, а всю небесную высь пронзило свистом и наполнило гомоном утиных стай.

Леонид с трудом встретил эту зарю. Спал он плохо, одним боком втиснувшись в темноте между всхрапывающими на полу парнями и прикрывшись курткой. Проснулся, лишь едва забрезжило, и по всегдашней привычке попробовал было немедленно встать, но голова почему-то оказалась такой тяжелой, что он вновь улегся в привычное тепло и уже с открытыми глазами пролежал еще с полчаса. «От духоты, что ли, разморило меня?» — подумалось ему с удивлением. Не сразу Леонид одолел свою вялость и встал на ноги, но, когда вдохнул свежего воздуха, взглянул на зарю да послушал лебедей, вновь обрел прежние силы и с обычной энергией взялся за дела.

Подняв бригаду, Леонид ушел в село, а через час вернулся уже верхом на молодом игреневом жеребчике, вероятно недавно обьезженном в седле. Жеребчик, хотя

слегка и отошал от бескормицы, все равно то и дело приплясывал под седоком. Леониду очень нравились его горячность и порывистость. Сдерживая жеребчика, ласково, успокаивающе глядя его по жилистой шее, Леонид сиял от радости: для него не было ничего приятнее, чем чувствовать не только в себе, но и около себя такую силу, какой хочется кипеть, бушевать и рваться куда-то...

— Ишь ты, какой плясун! — с улыбкой воскликнула Светлана, любуясь конем, но в то же время пугливо сторонясь его. — И ты не боишься ездить? — спросила она Леонида.

— На таком ретивом? Да ты что? — счастливым голосом ответил Леонид, наслаждаясь неожиданными крутыми поворотами коня и тем особенным, ни с чем не сравнимым чувством, какое испытываешь только в седле. — На нем только и лететь! Ну, стой ты, милый, стой!

— Радешенек! Сошлись характерами! — проговорила Светлана.

— Сошлись! С первой минуты! — подтвердил Леонид. — Удалой конь! Обожди же, милый, обожди, не горячись, дай поговорить! Ты знаешь, Светочка, в колхозе одни клячи. С десятков разъездных коней только и кормят получше: без них — как без ног. А этого, оказывается, конюх баловал...

— Как же его зовут? — спросила Светлана.

— Соколик. Неплохо?

— Значит, теперь это будет твой конь?

— Персональный, — с дурашливой важностью ответил Леонид и сам над собой внезапно захохотал. Перепуганный жеребчик лихо проплясал мимо Светланы, обдав ее брызгами из небольшой лужицы.

— Невежа твой Соколик! — обтирая в стороне щеку платочком, сказала Светлана.

Леонид кое-как успокоил Соколика.

— Извиняй, Светочка, это я виноват.

— И скоро в степь? — спросила Светлана.

— Сейчас едем... — ответил Леонид. — А ты что тут с ключом?

— Пробую, — ответила Светлана, смущенно поглядывая на Леонида из-под густых ресниц, затеняющих спокойные карие глаза. — Учитывать мне пока что нечего. Плуг вон с Верой собираем... Ты что на меня так смот-

ришь? Не веришь, что я могу орудовать ключом? А хочешь, покажу, как я завинчиваю гайки? Хочешь?

И опять ее глаза, как и вчера, при утренней встрече с Леонидом, вдруг загорелись ровным, но сильным огоньком решимости, и опять она сделала энергичный, рубящий жест рукой, в которой держала разводной ключ, и все ее одухотворенное загорелое лицо густо зарумянилось.

— Покажи! — неожиданно воскликнул Леонид и соскочил с коня, немало надивив Светлану тем, что проявил такой живой интерес к ее попытке заняться непривычным делом.

Обернувшись к плугу, у которого Вера Клязьмина в одиночку возилась с тяжелым отвалом, Светлана крикнула:

— Верочка, обожди!

Девушки вдвоем поставили отвал на место, и затем Светлана, молча отстранив подругу, стала быстро завинчивать гайки. Она волновалась, точно на экзамене, в спешке частенько срывала ключ, но все же завинчивала гайки довольно быстро и, что особенно важно, достаточно крепко, хотя это и давалось ей нелегко. «Ты гляди-ка, вот орудует! Вот чудо! — искренне подивился Леонид. — И силенка небольшая, а, смотри, идет дело!»

От волнения и напряженной работы Светлана еще более покраснелась и как-то особенно, удивительно похорошела, как и хорошеют люди только от счастливого сознания, что в жизни ими познана особая, редкостная красота.

— На, держи! Пробуй! — произнесла она с торжеством и немножко обиженно посмотрела ему прямо в глаза. — Думаешь, слабо завинтила?

— Молодец! Ах, молодец! — шепотом проговорил Леонид, откровенно любуясь Светланой. — Люблю, когда ты вот такая! — Он поправил у нее выющиеся локоны, выбившиеся из-под шапки, и совершенно серьезно посоветовал: — Злись больше. Тебе это полезно.

Позади загремело железо и раздался голос Корнея Черных:

— Ох, и шарашкина контора! Не глядели бы глаза! Леонид обернулся, спросил

— Что там случилось, Степаныч?

— Говорить тошно, товарищ бригадир! — сумрачно

ответствовал Корней Черных. — И как я доверился, не посмотрел на месте? Сам не знаю! Тьфу, пропади ты все пропадом! Дисков не хватает для одной сеялки! — пояснил он горестно. — Видели, как второпях-то везли по степи машины? Теперь, как сойдет снег, там, на дороге, любых частей хоть пруд пруди. Там и наши диски...

— Как же быть? Звонить в МТС?

— Придется звонить, да есть ли там?

— Еще забота! — нахмурился Леонид. — А как с плугами?

— К вечеру будут готовы. Гляди, какой аврал!

Перед шеренгой тракторов, выстроенных на северной окраине Лебяжьего, одновременно в нескольких местах, группы молодых новоселов оживленно хлопотали, собирая плуги, лушительники и сеялки. Всюду раздавался горячий говор, шумок, хохот и звон железа. Вся бригада впервые трудилась как бригада, и Леониду вдруг стало так тоскливо, что он не сдержал вздоха и, растегнув внезапно стеснивший шею ворот кожаной куртки, произнес жалобно:

— Скорее бы в степь!

— Скорее бы! — вздохнул и Черных.

— Успеть бы на санях забросить все тяжелое... — озабоченно заговорил Леонид. — Сегодня же выберу место для стана.

— Гляди, чтобы вода близко, — напутствовал Черных.

— Это обязательно! Мне в правлении говорили, что у них есть там подходящее место: березовый лесок, а в нем большая яма — воды для тракторов хватит до лета.

— И земли близко?

— Рядом.

— Вот и давай туда!

Леонид быстро оглянулся на Лебяжье.

— Да где же этот... Северьянов? — воскликнул он с досадой. — Ага, наконец-то! Дви-ижется! Ох, знаешь ли, Степаныч, едва-то, едва упросил его поехать нынче в степь! Не едет, и только!

— Может, занят?

— Боюсь, другая здесь причина, — вздохнув, сказал Леонид. — Говорили тебе, как встретили здесь вчера бригаду? Облаяла одна собачонка — вот и весь почет! — с горечью воскликнул Леонид. — Видать, не очень-то радуются нам... Видишь, как он едет? Видишь, как сидит в

седле? Как на убой тащится, честное слово! Тьфу, смотреть противно!

Куприян Захарович Северьянов, крупный, краснолицый, усатый человек, в самом деле ехал в степь с невероятно унылым видом, сутулясь, устало свесив ноги в низко опущенных стременах и, вероятно, во всем положении на волю своего неторопливого приземистого гнедого маштака. Путь его лежал за две сотни метров от шумливо работавшей бригады. «Заедет или нет? — подумал Леонид. — Должен бы познакомиться со всеми...» Но Куприян Захарович даже бровью не повел в сторону бригады. Усталым, мрачноватым взглядом он смотрел вверх ушастой лошадиной головы на дорогу, извилисто уходящую в безбрежную степь, и думал какую-то свою думу.

— Может, он хворый? — сказал Черных.

— Черт его знает!

Следом за председателем колхоза из Лебяжьего выскочила на серой длинногривой лошадке киргизской породы Галина Хмелько. Некоторое время она смело рысила по рыхлой дороге, хотя ее лошадка часто оступалась, потом внезапно круто повернула к бригаде; остановившись поодаль, поднялась на стременах и, помахав Леониду рукой, со смеющимся лицом протяжно пропела:

— По ко-о-оням!

— Есть, догоняю! — живо откликнулся ей Леонид.

Хмелько одним разом, как это умеют делать лишь степняки, точно на поводьях, повернула коня к дороге и хлестнула его по боку плетью. Смотря ей вслед с веселой улыбочкой, любуясь ее ловкой посадкой в седле, Корней Черных тихонько проговорил:

— Дьявол с синими глазами!

Это замечание чем-то немного смутило Леонида. Он заторопился в путь и подтянул к себе Соколика. В эту минуту Леониду почему-то подумалось, что если он обернется сейчас к бригаде, то непременно встретится взглядом со Светланой, и она со свойственной ей прозорливостью заметит его смущение.

— Ну, ни пуха тебе, ни пера, — сказал Черных.

— К обеду ждите, — ответил Леонид, сдвигая брови и опуская глаза, борясь со своим смущением и все еще не решаясь обернуться назад.

Совсем рядом послышалось дыхание Светланы.

— Я провожу тебя,— сказала она, тихонько берясь за повод.

Они пошли по дороге рядом, ведя за собой Соколика, и некоторое время шагали по рыхлому, водянистому снегу молча. «Слышала или нет она про синие глаза? — подумал между тем Леонид. — Но почему же я, дурак, промолчал? Нехорошо как-то. Еще подумает...» Неожиданно ему вспомнилось, как совсем недавно они вот так же, рука об руку, испытывая трепетное чувство близости, шагали по Москве. Как и тогда, Леонид вдруг вновь испытал чувство виноватости перед Светланой за то, что задумал поехать на Алтай один, и вместе с тем чувство безмерной нежности к ней. Он отлично знал, что Светлана только ради него вот здесь, на краю глухой степи; ради него она надела ватник и обулась в сапоги, ради него ночевала сегодня на земляном полу в саманной хибарке, ради него училась орудовать ключом...

Несколько минут они шли молча и сосредоточенно. Молчание нарушила Светлана. Она спросила:

— Ты очень счастлив, что едешь осматривать степь?

— Очень! — серьезно и взволнованно ответил Леонид. — Мне снится она...

— Снится? Как же она снится тебе?

— Все вижу в ней какой-то огонь...

— Мама говорит, огонь — к шуму,— заметила Светлана.

— Шуму будет много! На всю степь! — оживленно заговорил Леонид. — Нет, не прогадали мы, что поехали сюда! Тысячу раз правда, что счастье — только в трудной, боевой жизни.

— И в любимой? — спросила Светлана.

— Конечно! Она должна быть любимой.

— Но как ее полюбить?

— Да, трудную жизнь не полюбишь с первого взгляда,— с некоторым смущением ответил Леонид. — Для этого нужно время.

— И только? — спросила Светлана.

— И желание полюбить ее.

Они вышли к дороге и остановились. Только здесь Светлана заметила, что Хмелько стоит совсем недалеко и бесцеремонно наблюдает за ними. В первое мгновение Светлана застыдилась, как всегда, когда кто-либо видел ее вместе с Леонидом, и готова была убежать, не про-

стившись с ним, но вдруг оглушающе шумное, гневное чувство к Хмелько остановило ее и прибавило сил. «Бесстыжие, бесстыжие глаза! — мысленно прокричала она Хмелько. — Ослепнуть тебе, бесстыжая!» Затем Светлана круто повернулась к Леониду и по всегдашней своей привычке посмотрела ему прямо в глаза, посмотрела с мольбой и надеждой. Ей было очень стыдно, и все же ей всем существом хотелось, чтобы Леонид понял ее и и на виду у Хмелько поцеловал. И Леонид, поняв ее взгляд, порывисто прижал ее к себе.

Никогда еще не было Леониду так тягостно расставаться со Светланой, как в этот раз. Ни о чем не думая, а только ужасаясь своему чувству, он сел в седло и дал Соколику полную волю. Тот как угорелый рванулся вперед, точно догадываясь, что хозяину при его состоянии надо лететь без памяти далеко-далеко, не видя ни земли, ни неба...

Его окликнула и остановила Хмелько.

— Куда же вы... во весь опор? — спросила она весело и лукаво, выравнивая своего маштака ухо в ухо с Соколиком. — А если яма? Не боитесь?

— Ничего! — отозвался Леонид.

— Ох-хо-хо! — притворно вздохнула Хмелько, искося улыбочиво взглянув на Леонида. — Завидки берут!

— А ведь подглядывать-то неприлично, — пробурчал Леонид.

— Что там подглядывать! На всю степь видно было!

— Да и что вас завидки-то берут? Вам можно жить без зависти.

— Серьезно? — встрепенулась в седле Хмелько. — Вы так думаете? Нет, ничего не выходит! Не везет мне в жизни!

— Не везет, а на вид — счастливее других.

— Ой, что вы, я только жду свое счастье!

— И давно ждете? — с иронией спросил Леонид.

— Давно.

— И всегда с таким видом?

— Всегда.

— Что же с вами будет, когда дождетесь?

Хмелько внезапно прыснула, едва не вывалившись при этом из седла, и залилась молодым, заразительным, беспечным смехом. Немного погодя она попыталась было

сдержаться, но видя, что Леонид остается серьезным, залилась еще неудержимее. «Какая ей целина! — с неудовольствием подумал в это время Леонид. — Ей только бы хаханьки!» Хмелько вдруг смолкла, сорвала с головы шапку, повесила ее вместе с поводом на луку седла и несколькими быстрыми движениями пухленьких пальцев перетряхнула и рассыпала, как надо, по воротнику шубки свои крупные золотистые кудри. Затем она платочком осторожно убрала слезинки из уголков глаз, точно боясь касаться их нежной синевы, и некоторое время, не надевая шапки, вероятно думая о чем-то, ехала молча. В эти минуты она попыталась было сделать строгим свое необычайно оживленное, сияющее молодостью, улыбочное лицо с лукавой и красивой ямочкой на правой щеке. Но такая попытка была, очевидно, напрасной, и Хмелько, расставаясь со своей мыслью, нетяжко вздохнула и спросила:

— Неужели у меня легкомысленный вид?

— Очень, — вполне серьезно ответил Леонид.

— Думаете, я обижусь на вас? — спросила Хмелько. — Нет. Мне это уже говорили. Что поделаешь! — вздохнула она. — Характер у меня такой: степной.

Невольно увлекаясь узнаванием беспечно веселой казачки, Леонид иронически улыбнулся и спросил:

— Что ж это вы, даже в родной степи не нашли свое счастье?

— Не нашла! — с озорной улыбкой ответила Хмелько. — Счастье, оно иной раз проносится, как подхваченное ветром облачко над степью. Кажется, совсем рядом, а глядь-поглядь — улетело и погасло...

— Значит, вы решили поискать его на Алтае?

— Нет, на Алтай я поехала совсем по другой причине, — ответила Хмелько. — Какая там жизнь, на моей родной Кубани? Каждый год одну и ту же землю знай паши да перепаживай, знай дискуй да борони! Надоело! А на целине все вновь. Ну, а я люблю все новое: и впечатления и дела. Живется во сто раз быстрее и интереснее! Вы не согласны?

— Да нет, что вы, с этим-то я вполне согласен, — сказал Леонид. — Когда же и набраться впечатлений, как не в молодости? Только у каждого в этом деле своя мера.

— Какая там мера! Это безмерно!

— Значит, когда здесь не будет целины, вы сбежите отсюда?

— Сбегу! — мгновенно подтвердила Хмелько. — Сбегу дальше, на восток, в самые дикие места...

— Но ведь целину-то здесь не только надо поднять, но и обжить. Здесь люди нужны.

— Пусть обживают ее те, кто придет следом за нами, — ответила Хмелько, взглянув вприщурку на Леонида, и от удовольствия, вызванного сознанием своей правоты, даже цокнула языком, как цокает белка. — Это люди осторожные, осмотрительные, у них во всем строгая мера. И характер у них сидячий...

— Какой? — переспросил Леонид.

— Сидячий! — ответила Хмелько, вся брезгливо передергиваясь в седле. — Они принимают все новое как горькое лекарство.

— Но как же быть со мной? — сказал Леонид. — Я приехал на Алтай немного позднее вас, и меня нельзя причислить к осторожным, осмотрительным людям. Но вот я приехал и хочу здесь поселиться... Надолго или навсегда! Какой же у меня характер?

— Очень странный! — решительно ответила Хмелько, смотря теперь на Леонида с удивлением и как бы даже легонько отстраняясь от него. — Очень опасный!

— Даже? — засмеялся Леонид. — Но чем же?

— От вас всего жди: вы опрометчивы.

— Вот как!

— Обиделись?

— Не имею права. Вы-то ведь стерпели!

— Ну вот и договорились, — заключила Хмелько. — Вы останетесь здесь, а я года через два сбегу на восток.

— Не бойтесь, что обвинят в дезертирстве?

— Меня? За что? — удивилась Хмелько. — Вот если я убегу обратно на Кубань — это будет дезертирство. А какое же дезертирство бежать дальше, на восток, где еще труднее и еще больше неосвоенных мест? Мой отец во время войны — кстати, он тоже был агроном — сбегал из запасного полка на фронт. Его хотели судить за дезертирство. Правильно это? В первом же бою он погиб...

С минуту она молчала, опустив глаза.

— Нет, я сбегу, — продолжала она затем прежним

тоном и даже с привычной лукавой улыбочкой, от которой особенно заметной и красивой становилась ямочка на ее щеке. — Не волнуйтесь, к тому времени подъедут более осторожные, и здесь будет много народа. И потом, жизнь есть жизнь. Вот вы женитесь, постройте домик, заведете ребят... — Она полуприкрыла смеющиеся глаза. — Вот и обживется целина.

Говоря это, она невольно вспомнила о Светлане и быстро оглянулась назад. Светлана все еще стояла на дороге и смотрела в степь...

— Да она стоит! — изумленно прошептала Хмелько.

С испуганным взглядом Леонид круто повернул Соколика назад и, приподнявшись на стременах, долго-долго махал Светлане рукой. При этом он готов был сорваться со стыда, что не сделал этого раньше.

— Ох-хо-хо! — вновь притворно завздыхала Хмелько, когда они двинулись дальше. — Вот оно, наше счастье! Ждешь его, ждешь, а придет — одна тревога, одна забота, одна боль! Может, не ждать? — заговорила она сама с собой, видя, что Леонид задумался и не слушает ее. — Да нет, пусть будет тревожно и больно! Пусть!

Оказалось, что Леонид все же слушал ее...

— Согласны на все?

— На все! — ответила она горячо.

Они вдруг быстро переглянулись и затем, словно взаимно недовольные взглядом друг друга, смутились и надолго замолчали...

IV

Путь был труден, но кони, постоянно теребя поводья, шагали ходко и сноровисто то дорогой, где держался крепкий ледок, то обочинами по рыхлому, водянистому мелкоснежью или обнаженной, скользкой непаши.

Вначале Багрянов и Хмелько вслед за Северьяновым пересекли просторный, выбритый скотом, обесплодевший кочковатый выгон, кружевно расшитый тысячью тропок и реденько заставленный высокими застарелыми кустами жесткой, точно из проволоки, никому не нужной тра-

вы — песчаного волоснеца. Здесь, на едва приметной возвышенности, вся земля уже пестрела проталинами, и хотя они были горестно неприглядны, изрыты сусликами, с одинокими крохотными дернинками типчака, сотни жаворонков с восторгом любовались ими е небесной выси и радостно воспевали их появление в степи.

За выгоном дорога пошла низиной. Справа виднелись солончаковые круговины, залитые свинцовой водой, слева тянулись пресные озера, полужаросшие таежно-непроходимой камышовой чащей. Здесь не было проталин; потемневший, ноздреватый снег, припекаемый солнцем, осыпался, шуршал и вызванивал по всей низине хрустальную мелодию. И наконец, когда солонцы и озера отошли в стороны, началась пашня. Совершенно прямая дорога пересекала большой, сплошной массив зяби; параллельно дороге, наперерез господствующим ветрам, на всем массиве, изрытом снегонахами, лежали подтаявшие, приосевшие валы...

У границы пашни Галина Хмелько, вероятно, решила, что наступил подходящий момент для начала нового разговора. Вновь приблизясь к Багрянову, которого до этого сторонила, она весело сообщила:

— Вот и пашня! Как на ладони. Залюбуешься!

— И много тут пахоты? — поинтересовался Леонид.

— Здесь три тысячи гектаров, — ответила Хмелько. — Две бригады. Видите, во-он один стан! — Она указала плеткой вправо от дороги на чернеющие вдали избушки.

— Вон те лачуги?

— Ну да, лачуги, конечно... Сейчас их приводят в порядок. А вот в этой стороне другой... Видите?

— Где кустики?

— Точно.

Леонид провел по воздуху впереди себя рукой.

— Это и все, что колхоз пашет?

— Что вы! У двух бригад — пашни на запад от села, вдоль бора. Там тоже три тысячи...

— Сколько же всей земли у колхоза?

— Земли? Пахотнопригодной? — с оживлением переспросила Хмелько, вероятно радуясь тому, что разговор возобновился непринужденно. — Исключая солончаки, солонцы и озера, около двадцати тысяч...

Пораженный размерами колхозных угодий, Леонид ударил ладонью по виску и, зажмурясь, покачал головой.

— Вот проедем пашню,— продолжала Хмелько,— и там начнутся залежи, а потом пойдет и целина.

— Что же там, пастбища были?

— Луга и пастбища.

В обе стороны от дороги далеко-далеко расстился снежно-бурунистый простор, кое-где с обнаженной, тускло поблескивающей на солнце сырой пахотой. Вид вспаханной земли вдруг тревожно взволновал Леонида. Точно почуяв волнение хозяина, заволновался и Соколик. Он рванулся вперед, и, пока Леонид вырывал у него неожиданно закушенные удила, он целую сотню метров пронес его вприпляс, высоко подняв влажные, полыхающие горячим воздухом ноздри.

— Ну и полюшко-поле! — сказал Леонид, дождавшись Хмелько. — Мы пересекаем его поперек?

— Поперек, — ответила Хмелько.

— И сколько же до той границы будет?

— Три километра.

— А в длину сколько?

— Километров десять...

— Ох, черт возьми! Ничего себе!

Но вдруг точно чем-то ослепило Леонида.

— Обождите, товарищ агроном, но ведь наша бригада за весну и лето должна поднять тоже три тысячи? — закричал он, часто моргая, точно впервые узнав про свой рабочий план. — Значит, вот такой массив?

— Точно, — подтвердила Хмелько.

— Ох, черт возьми! — совсем другим, несколько озадаченным тоном и раздумчиво произнес Леонид. — Оказывается, как много...

— Испугались? Оторопь берет?

В центре массива пашни, где от дороги отходили свертки к полевым бригадным станам, Куприян Захарович Северьянов впервые остановился и, видимо, решил дождаться молодых людей. Но через несколько минут он вдруг опять тронул коня.

— Что же он такой унылый? — спросил о нем Леонид.

— Думает, — ответила Хмелько.

— Уж не мы ли испортили ему настроение?

- Вполне возможно.
- Может, ему не хочется расставаться с целиной?
- Ему не до целины...
- Странно! А в чем дело?
- Не торопитесь, все узнаете,— пообещала Хмелько.

Леонид долго молчал, делая вид, что занят исключительно сдерживанием Соколика. Проваливаясь в снег, жеребчик частенько пугался и пробовал стремглав проскакивать опасные места. Но Куприян Захарович, видимо, занимал Леонида крепко; обиженный его равнодушием к бригаде и ее предстоящей работе, он вновь заговорил:

- А вообще-то он как председатель... какой он?..
- Умный хозяин! Голова! — ответила Хмелько.
- Хозяин умный, а колхоз у него едва дышит?
- Да не он ведь тут виной...
- Голова, а о целине не хочет думать?
- Да обождите вы! Вот задира!

Куприян Захарович дождался молодых людей у северной границы взрыхленного лемехами массива. Медленно отведя взволнованно-печальный взгляд от степи, он повернул к Леониду усатое кирпично-задубелое лицо и проговорил усталым голосом:

- Вот и степь...

С песней в душе ждал Леонид этой минуты: от нее должен начаться особый счет в его жизни. И хотя разговор с Хмелько о Северьянове на время несколько озадачил и смутно встревожил его, он все же оставался в состоянии того высокого и вдохновенного порыва, которым теперь наполнилась его летящая в степь душа.

— Какое раздолье! — воскликнул он, сияющими серыми глазами пробегая по безбрежной равнине.

И верно, для открывшихся глазу сказочных просторов, казалось, не хватало небосвода. Во всей степи снег уже превратился в жидкое месиво, всюду в низинках блестела вода, над большими проталинами, обогретыми солнцем, бесконечно струилось марево, вдали сверкал голый березовый лесок... От всего, что вставало здесь перед глазами, почему-то тревожно и радостно замирало сердце. Удивительные чувства, о каких и подозревать нельзя в себе, открывала степь в человеке, который впервые вступал в ее вольное и загадочное царство.

— Чудесное раздолье! — благоговейным шепотом повторил Леонид.

Куприян Захарович вздохнул и невесело промолвил:

— А я вот слезы лью, глядя на это раздолье.

— Почему же? — обиженный за свои чувства, с внезапной неприязнью спросил Леонид.

— Что такое целина, тебе известно, — сказал Куприян Захарович. — А вот что такое залежь, ты знаешь?

— Ну, брошенные земли, — несколько смутился Леонид.

— А почему они брошены? Догадываешься? — спросил Куприян Захарович и, не дождавшись ответа, продолжал: — Двадцать пять лет назад у нас совсем мало было залежей, все здесь пахалось вон до той гривки! А теперь залежи — вот они, кругом, готовы задушить село! Вот до чего мы дожили! Вот отчего и слезы я лью.

Леонид настороженно потупил взгляд.

— Я был в твоих годах, когда начались колхозы, — с грустью продолжал Куприян Захарович, вытащив из кармана пулушубка кисет и собираясь вертеть сигарку из махорки. — Жил и мечтал, как орел вон в небесах летал! Да и как не мечтать было? И если бы все шло как следует, жить бы нам теперь в бо-ольшой силе! Но жизнь нашу понесло вроде перекасти-поля в бурю. Поначалу здорово навредили перегибщики. Ну, наши и давай сниматься с места... Как раз в те самые времена началось строительство Турксиба. До него отсюда рукой подать. Народ толпой туда. А тут, как назло, понаехали вербовщики, стали зазывать в другие места, на другие стройки. Куда угодно бросались! Хоть на край света! Оно конечно, и на стройках нужны были люди... Откуда же, как не из деревни, взяться рабочему классу? Но наше Лебяжье опустело тогда больше, намного больше, чем другие села. Спыхватились мы, да поздно: у половины домов уже заколочены ставни. Что делать? Давай держать народ! А как его удержишь? Работают люди, работают, потом обливаются, надеждой себя тешат, а подойдет время распределять доходы — нет тебе ни шиша! Как хочешь, так и живи! И так один год, другой, третий... Небось знаете, почему так было? Как же мог терпеть народ? Его удержишь, а он все одно бежит! По-

шли ребята в армию — никого не жди обратно. Поехали учиться — и след простыл. На любые хитрости пускались, чтобы вырваться из родного села. Вот как! А началась война, и совсем заглохло наше Лебяжье. Многие из тех, кто ушел на фронт, — а ведь у нас большинство пехотинцы, — в боях полегли. Остались в селе одни вдовы, дети, калеки да старики. Все брошенные дома растащили на дрова. А что уцелело, пошло вкривь и вкось, погнило, вросло в землю... Ну, и напоследок доконала засуха. Три года подряд жгла! Все выжгла: и землю до дна, и души! Вот и осталось одно красивое название от нашего села...

Воспоминания еще более опечалили взгляд Куприяна Захаровича и его грубое, обветренное, но доброе, с тенью застарелой боли в каждой морщинке, крестьянское лицо. Он курил и смотрел в степь, точно пытался рассмотреть, куда ушла его жизнь...

— Куприян Захарович! — хриловатым от волнения голосом произнес Леонид. — Теперь поправится дело. Неужели не верите?

— Если бы не верил, не жил бы, — ответил Куприян Захарович и поощрительно похлопал по хожке своего Гнедка, который в этот момент потянулся губами к сухой траве. — Как ни трудно было, а народ наш не потерял веры! Все у нас верят... И потом в колхозе теперь самый отборный, самый стойкий народ. Да если бы не такой народ, разве мы удержались бы на этом рубеже? — Он имел в виду границу возделываемой земли. — Видите, как прут на нас залежи? Психическая атака! А за ними крадется сама целина. Но мы несколько лет уже как окопались вот здесь — и ни шагу назад!

Леонид видел, с какой болью говорил Куприян Захарович об атаке одичалой земли на Лебяжье, и ему показалось не только странным, но и совершенно непонятным, почему он все же не радуется предстоящему покорению целины.

— Куприян Захарович, — заговорил Леонид, — неужели вы не мечтали, когда наступит вот этот день? День, когда вы от обороны перейдете к наступлению?

— Мечтал! — ответил Северьянов со вздохом. — Много лет мечтал!

— Но почему же, почему вас не радует этот день?

— Стало быть, не все еще понятно,— с сожалением произнес Куприян Захарович и, покачав головой, продолжал: — Ну что ж, объясню! Стоять-то мы стоим в обороне, дорогой товарищ бригадир, но, если говорить правду, держимся из последних сил. Помню, стояли мы в обороне под Ржевом. Участок наш по уставу — на батальон, а нас всего один взвод. И что же мы делали? Носились ночью по траншее туда-сюда, от пулемета к пулемету, и давали по несколько очередей то в одном, то в другом месте... Дескать, вон нас сколько, берегись! Вот так и у нас, грешных... Держаться-то держимся, а ведь на каждого — сто метров обороны!

— Кем вы были на войне? — вдруг спросил Леонид.

— Снайпером, — неохотно ответил Куприян Захарович и тут же поспешил вернуться к прежней теме, которая его, несомненно, глубоко волновала. — Так вот, рассказать, как мы хозяйствуем? Вспахать и посеять не мудрено, на это у нас и машин хватает и людей. Но как подходит уборка — горим! У нас на Алтае с уборкой особенно спешить надо. Как только пшеница достигла восковой спелости, тут, брат, не зевай, вали ее с корня! Вали и вали! Как раньше сибиряки делали? Подойдет время — пускаем в дело жатки, косилки, косы... Свалим пшеничку, и она спокойненько дозревает себе в снопах или валках, а тем временем начинаем скирдование и обмолот. Зерно — литое золото! Какая мука получалась из того зерна! Караван как пуховики! А что теперь? Достигла пшеница восковой спелости, ее самый раз срезать, а комбайн не идет: сыровато, забивает, подождать надо... По этой причине мы только портим себе нервы, ломаем машины да упускаем самое дорогое время. Ну, а когда созреет пшеница, комбайны, конечно, идут хорошо, но сколько их надо, чтобы враз охватить наши массивы! Хватишься, а зерно уже так и течет на землю! Какие потери! Можно бы планировать ранними и поздними сортами пшеницы, чтобы растянуть период созревания, но где достать эти сорта? С этим делом у нас полная неразбериха. Сеешь, что получишь по ссуде или есть в амбаре. И вот, стало быть, ходят комбайны, собирают наполовину уже пустой колос, да и тот, глядишь, собрать не удастся: начинаются дожди. Теперь вот заговорили о раздельной уборке. Прямо скажу, в этом наше спасение: на неделю раньше будет начинать-

ся страда и намного сократятся потери. Но пока что тошно говорить о нашей страде! На помощь нам подбрасывают комбайны с Кубани, но их все одно мало. А как у нас с очисткой зерна, сушкой, погрузкой? Где механизация? Все живой силой делаем, рукой да лопатой! А ведь это такие трудоемкие работы! Сколько на них людей надо! Точно знаю, что у нас, в Сибири, разной подсобной механизации в полеводстве в два, а то и в четыре раза меньше, чем на Кубани, где людей больше. Верно говорю, Галина Петровна?

— Верно,— подтвердила со стороны Хмелько. Она вымолачивала на ладони колоски какой-то травы, сорванной на залежи.

— Правильно это?

— Неправильно!

— Планируют! — проворчал Куприян Захарович в сторону, точно огрызаясь на кого-то, и даже сплюнул от негодования.— Они планируют, а у нас хребты трещат! Начинается страда, а ты мечешься по пашням как бешеный и не знаешь, за что ухватиться. Не видишь света белого! И вот тогда везут к нам городской люд. Шуму, колготни на всю степь, а пользы, скажу честно, мало. Во что же, думаешь, обходится государству наш хлебушко? Ведь каждый городской на зарплате! Вот так-то у нас, дорогой товарищ, в полеводстве: точно как под Ржевом в нашей обороне. А в животноводстве и того хуже. Стыдно говорить, а ведь в некоторых местах у нас коровы бродят иногда по степи, как дикие, и никто их даже не доит!

— Но как же так? — не веря своим ушам, воскликнул Леонид.

— А кому их доить? Доярок не хватает!

— Но как же... без дойки?

— Телята подсасывают... Да и какое там у них молоко! За день одна кринка!

— И только? Какие же это коровы?

— Фуражные,— ответил Куприян Захарович.— Переводят фураж.

— Черт знает что! Но для чего ж их держать?

— Для плана,— грустно пояснил Куприян Захарович.

Слушая Куприяна Захаровича, Леонид с каждой минутой все более и более мрачнел, все чаще опускал вдруг

отяжелевший и потемневший взгляд. Его душа, охваченная внезапной тревогой, медленнó сжималась, точно стальная пружина. Он уже смотрел на степь совсем не так, как полчаса назад, и степь казалась ему теперь не загадочным царством, а обыкновенной, неприглядной, даже горестной землей, по которой бродят одичалые коровы.

Он спросил тяжело и глухо:

— Да неужто так обезлюдело село?

— Обезлюдело, — ответил Куприян Захарович сурово и в волнении передернул темно-русые, с подпалинкой усами. — Сейчас мы на каждого трудоспособного колхозника засеваем больше двадцати гектаров, держим трех коров и полсотни овец. Где вы видели такую нагрузку на человека? Скажи в России — не поверят!

Гнедко изредка переступал, выбирая губами в бурьяне какие-то съедобные былинки, и Куприян Захарович, не желая тревожить его, вновь взялся за кисет.

— Побывал я во многих передовых алтайских колхозах, — продолжал он не спеша. — Ничего не скажешь, дела у них идут хорошо, хозяйство растет. А сколько, думаю, у них земельных угодий на одного трудоспособного? Хватился за цифры: восемь — десять гектаров на рабочие руки! В одних селах всегда земли было мало, в других каким-то чудом призадержался народ в те годы. Словом, хватает у них сил, чтобы совладать с землей и вести передовое животноводство. Почему не жить и не поднимать хозяйство? Вот слышал я, что ученые в Омске, в сельскохозяйственном институте, давным-давно изучили опыт этих самых передовых зерновых колхозов и произвели разные расчеты. И какую же, по-вашему, примерную нагрузку на рабочие руки они рекомендуют? От шестнадцати до двадцати одного гектара угодий, считая все: и пашню, и сенокосы, и пастбища, и сады... А у нас, я уже сказал тебе, только посева приходится больше двадцати гектаров, а всех угодий — около шестидесяти! Есть разница? Теперь прикинь, что же будет, если две ваши новосельские бригады поднимут еще шесть тысяч гектаров, как намечено? Ведь тогда на одни руки будет сорок гектаров посева! Соображаешь? Как нам управляться со страдой? А как со скотом быть? То он бродил и бродил по степи, как дикий, сам кормился... А как быть, когда распахнем почти все пастбища и останутся одни солонцы? Выход один: ставь скот в стойло!

Надо заводить зеленый конвейер, косить и возить травы с поля на фермы, ухаживать за кукурузой, закладывать силос... Что там говорить, все это хорошо, выгодно, но где взять людей? И где взять механизацию? Да, надоело, здорово надоело, прямо-таки осточертело сидеть в обороне! Я люблю наступать. Привычное дело. Но где силы? Вы знаете одно: наступать! За тем и ехали. А я знаю другое: чтобы наступать всерьез, нам нужно хорошее, надежное подкрепление!

На лбу Леонида вдруг выступил пот.

— Чем же ненадежны мы? — спросил он угрюмо и обидчиво.

— А всем вообще.

— Как это всем вообще?

— Во-первых, крестьянского опыта нет.

— Наживем! Во-вторых?

— Во-вторых, непривычны к нашей жизни.

— Привыкнем!

— Сомневаюсь, здорово сомневаюсь! — сказал Куприян Захарович. — Кто родился и вырос в городе, тот не жилец в деревне. Деревня есть деревня, и жизнь здесь особого сорта, тут во всем нужна особая привычка. У нас вон пока даже электричества нет! Удивляюсь, и зачем только посылают к нам городскую молодежь? Ребята учились, получили специальности, работали на заводах, накопили кое-какой опыт... Разве это дешево стоит государству? Зачем же таким ребятам менять квалификацию и через силу приучаться к деревенской жизни? Таким ехать в Сибирь надо, обязательно надо, да только на стройки, на новые заводы! Вот где их место! А нам нужен народ из деревни. Разве мало деревенской молодежи в западных областях, которая за милую душу поедет в наши места? Ручаюсь, сколько угодно! Конечно, я понимаю, впопыхах все делалось, а только зря многих городских взбулгачили!

— Может, и в-третьих есть? — спросил Леонид.

— А в-третьих, даже и ненадежных-то вас очень мало, — без тени смущения ответил Куприян Захарович. — В бригаду Громова я должен дать четырех человек, в твою — того больше... А где мне взять людей?

— Куприян Захарович, — заговорила Хмелько, все время молча и серьезно слушавшая рассказ председате-

ля колхоза,— вчера мне в Залесихе сказали, что к уборке в Лебяжье придут переселенцы.

— Кто это сказал? — недоверчиво переспросил Северьянов.

— Сам Краснюк.

— И сколько же семей?

— Говорят, семей двадцать.

— Ну, вот это другое дело! — оживленно сказал Куприян Захарович. — Это надежно! Давно бы! Только ведь улита едет, когда-то будет, а людей сейчас надо: через неделю пахота.

— Выходит, что наступать никак нельзя? — совсем мрачно, поглядывая исподлобья, спросил Леонид. — Колхозников мало, мы ненадежны, переселенцы еще не прибыли... Значит, вы против наступления?

— Зря ты кипишь! Остынь! — без обиды посоветовал Куприян Захарович. — Я же сказал, что всей душой за наступление. Осточертело мне смотреть на это вот раздолье. В глазах у меня мерещатся бурьяны. Никакой красоты я не вижу в седом ковыле! Есть у нас такой ковыль — тырса... У него очень острая и опасная зерновка. Вонзится в кожу овцы и давай зарываться, как в землю! Так и лезет! Зароется в легкое — и конец овце! Вот они какие, ковыли! Другое дело — море пшеницы. Но рады бы в рай, да грехи не пускают.

От тех удивительных чувств, которые пробудила степь в душе Леонида, как только он окинул ее первым взглядом, теперь осталось нечто вроде горького дымка над померкшей грудкой кизячной золы. После минуты тягостного молчания он медленно поднял на Куприяна Захаровича далекий, затуманенный взгляд и, вздохнув, с трудом разжал зубы:

— Открыли вы мне глаза...

— Да оно ведь и лучше — ехать в эту степь с открытыми глазами, — сказал Куприян Захарович. — Ну что, трогаем?

V

Кони шли бурьянистым перелогом. Несмотря на засуху, здесь, на пашне, брошенной года три назад, крепко ужились ядреные сорные травы. Над осевшим и почерневшим снегом, замусоренным листвяной и цветочной трухой, всюду торчали грубые, растопыренно-ветвистые

стебли гулявника с колючими стручками, бородавчатой свербиги, осота и будяка, которые все еще не успели засеять обильный урожай своих хохлатых семян. А потом пошли большие круговины сурепки, густые, но помятые, потрепанные заросли дикой конопли и сизовой полыни. Эти сорные травы в самом деле наступали на земли, где сеется пшеничное зерно, точно несметные вражеские полчища.

— Обсохнет — выжечь надо, — сказала Хмелько.

— Да, только огнем, — согласился Куприян Захарович.

И коням и людям стало легче, когда выбрались на мягкие залежи, где за дико атакующими полчищами бурьяна двигались более низкие, кормовые травы — белый донник, острец, эспарцет — и густо полз, пронизывая и покоряя весь плодородный пласт, необычайно жадный до жизни и властолюбивый пырей. Эти места большей частью были выкошены и вытоптаны скотом, и над неглубоким, коню по щетку, рыхлым снежным покровом лишь местами висели на тонких, поникших былинках высушенные колоски, метелки и кисти...

— Ну и запыреено! — проговорила Хмелько.

— Крепко, — подтвердил Куприян Захарович.

— Тут нелегкая борьба!

— Работы до самой осени!

Постепенно степь становилась все ровнее и однообразнее. На пути совсем исчезли всякие приметы старой пашни: смутно обозначенные борозды, межи, где держатся особенно дюжие травы, всякие хозяйские знаки на границах полей, — пошла твердая залежь, не знавшая плуга четверть века, а затем и девственная целина. Здесь из-под снега реденько торчали, точно барсучьи кисти, дернинки типчака и пучки легчайших шелковых остей ковыля.

— Вот она! — остановив коня, негромко промолвил Куприян Захарович и, махнув ладонью на запад, доскал: — Поднимай сплошь, до самого Иртыша!

— Хороша! — сказала Хмелько. — Только все же есть солончаковые пятна.

— Где ты видишь?

— А вон низинка! — Хмелько указала плетью вдаль, где в низинке, над водой, виднелись кусты ка-

кой-то травы.— Это же кермек! Значит, там солончато...

— Глазастая ты..

Пробиравшийся стороной Леонид только краем уха услышал этот разговор и с удивлением подумал, что Хмелько, судя по всему, разговаривает с Куприяном Захаровичем со знанием дела. «Это верно, глазастая,— неожиданно для себя, даже с некоторым удовольствием согласился он с замечанием Северьянова.— Дьявол с синими глазами...» Но тут же, не придавая никакого значения тому обстоятельству, что ему впервые подумалось о Хмелько с удовольствием, он поспешно вернулся к своим мыслям и некоторое время, захваченный ими, ехал со стиснутыми зубами и отчаянно-властным выражением лица. «Ничего! Ничего! — твердил он себе в эти минуты, изредка прониженным и дерзким взглядом осматривая степь.— Выдержим!» Он вдруг почему-то совершенно отчетливо вспомнил, с каким чувством бежал от матери с танкистами на фронт, в огневое пекло, кипевшее высоко в небе, на запад от взгорья, где была стерта с лица земли его родная деревня. Странно, но ему показалось, что он вновь полон того невыразимого, полузабытого чувства, каким когда-то внезапно, как светом молнии, озарилось его детство.

— А вот и он! — раздался голос Куприяна Захаровича.— Сам хозяин.

Леонид обернулся на его голос и вдруг увидел вдали волка. Он стоял вполоборота на ковыльной проталине и, высоко подняв лобастую голову, настороженно смотрел на людей, неожиданно появившихся в его степи.

— Один бродит,— сказал Куприян Захарович.— У волчицы теперь шенята...

VI

Над степной далью уже высоко поднялся Заячий колок, где предполагалось осмотреть место для стана бригады Леонида Багрянова, когда километра за два в правой стороне, на большой проталине, показалась отара овец, а поодаль, на снежном фоне,— журавель колодца и приземистые, с раскрытыми крышами кошары. Среди овец передвигались, иногда зачем-то нагибаясь, две женские фигуры и высился всадник на пегой лошади.

← Заедем? — предложил Куприян Захарович.

— Это ваша отара?

— Наша. Надо побывать.

Вскоре они были у отары. Их встретил на коне чабан Бейсен, уже много лет назад поселившийся в лебяженской степи, по соседству со своим другом Иманбаем, который пас табун коней севернее Заячьего колка. Бейсен был стар, но еще очень ловко сидел в седле. На его маленькой ястребиной голове возвышался островерхий малахай, отделанный полуоблезлой лисицей-огневкой. Изпод меха, прикрывавшего лоб и даже брови, казалось, совершенно безразлично смотрели на мир красноватые, мутные, слезящиеся глаза. Все лицо Бейсена, сухое, прочерневшее, изрытое глубокими морщинами, имело равнодушно-покорное выражение, лишь слегка освещенное слабенькой, виноватой улыбкой. Бейсен был в грязном, замызганном и покоробленном шубняке, засаленных ватных штанах и в стареньких, надетых поверх войлочных чулок сапогах из яловой кожи. Он восседал на пегом, точно в заплатах, унылом мерине с отвислой старческой губой. Казалось чудом, что мерин не только держится на ногах, но еще и держит на себе всадника. У него сильно выгнулась под седлом спина, с кожи ключьями сползала шерсть, под ней, как обручи, торчали ребра и шишковатые мослы, левая холка, вытертая догола и иссеченная в кровь, была залита березовым дегтем.

— Здравься,— первым учтиво сказал Бейсен, узнав Куприяна Захаровича, и опустил поводья на луку седла.— Куда пошел, товарищ председатель? Селина показать?

Соглашаясь, Куприян Захарович кивнул головой.

— Слышал наша, слышал! — невесело сказал Бейсен.

— Ты чего же это, старина, залез на эту клячу? — вдруг недружелюбно спросил Куприян Захарович.

— Какой кляч? Моя кляч?

— Мерин-то едва стоит! Того и гляди упадет.

— Худой лошадка,— охотно подтвердил Бейсен.— Совсем худой. Кожа, кости. Овес нет, соломка нет... Дохнет скоро лошадка!

— Слезь, пусть отдохнет,— предложил Куприян Захарович.

— Можно, можно,— быстро согласился Бейсен, слез с лошади и, оставив поводья на луке седла, подошел к

председателю колхоза и подал ему свою сухую, заскорузлую ладонь.— Здравь.

Куприян Захарович тоже слез с коня.

— Когда отару-то начал выгонять?

— Вчерась выгонял,— ответил Бейсен и, взглянув на отару, вздохнул.— Пропадал барашка!

— Много?

— Ой, много пропадал! Сам гляди!

Нынешней зимой в степных алтайских колхозах особенно рано вышли скудные корма и начался падеж скота. На спасение его были брошены все силы. Колхозники повсюду раскрывали соломенные крыши, обшаривали эстожья и тока, разыскивая под снегом забытые копешки соломы и сена, везли из боров на фермы мелкий осинник и сосновые ветки, вырубали на болотах травянистые кочки... Сотни тракторов развозили с железнодорожных станций по колхозам хлопковые жмыхи, полученные из Туркмении, которыми на фермах приправляли сечку из соломы и пойло. Сотни тракторов таскали по степи огромные снегопахи, разгребая ими снег до земли. Тоший, обессиленный скот брел следом, еле переставляя ноги, и подбирал одинокие сухие былинки... Точно назло, на редкость запоздала весна, и скот пришлось лишний месяц держать на фермах. Но как только появились проталины, на них повсюду выгнали большие стада костлявых, медлительных коров и отары слабеньких, падающих на каждом шагу овец с малыми ягнятами. Но какой подножный корм мог найти скот в степи, которую выжгло нещадное солнце?

Отара Бейсена когда-то славилась своей выносливостью, плодовитостью, прибыльностью. Но теперь и на нее нельзя было смотреть без горечи. Алтайские мериносы с густой, грязной, свалывшейся шерстью передвигались редко, а чаще стояли, опустив головы, обнюхивая, но не трогая сухие, жесткие стебли степных трав, не помятые снегом, или едва-едва шевелили непослушными губами, подбирая былинки с земли. Очень часто овцы вдруг падали на колени и так стояли подолгу, точно молясь. Многие спокойно в разных позах лежали на талой, холодной целинной дернине. Дочь и сноха Бейсена только тем и занимались, что ходили по отаре и, хватая лежавших овец за шерсть, поднимали их на ноги и заставляли стоять. Но разве заставишь стоять того, кто не может сам стоять на земле?

— Ягнят много? — спросил Куприян Захарович.

— Много, много! Все пропадал!

Слез с коня и Багрянов. Молча отдав повод Хмелько, он подошел к чабану и, кивнув ему, подал руку.

— Здрась,— поспешил сказать Бейсен.— Москва пришел? Ай-яй, далеко ходил!

Леонид взглянул на отару и вздохнул. Как и все новоселы, он с первого дня приезда на Алтай знал, в каком тяжелом положении оказался здесь нынче скот. Он побывал однажды на фермах в Залесихе и видел, что наделала бескормица, но только теперь ему стало ясно, какое бедствие постигло колхозы.

— Смотреть горько,— проговорил он сокрушенно.

Невдалеке лежала на боку, судорожно вытянув ноги, крупная матка, а перед ней стоял, подрагивая, худенький курчавенький ягненок. Крестьянская душа Леонида дрогнула от боли. Он подошел к матке и, быстро взглянув на ее холодные, стеклянные глаза, присел на корточки около ягненка, бережно потрогал его мокрую шерстку, а потом вдруг взял его, как покорного малыша, на руки.

— Что же с ним будет? — спросил он чабана.

Галину Хмелько многое поразило в эту минуту: и то, что Леонид, не брезгая, ласково держал на руках грязного, мокрого ягненка, и его голос, и его взгляд...

— Пропадал барашка! — слезно морщась, ответил Бейсен.

— Неужели ничего нельзя сделать?

— Чего сделать? Ничего не сделать!

Леонид осторожно опустил ягненка на землю.

— Любишь барашка? — вдруг спросил Бейсен.

— Люблю,— ответил Леонид.

— Любишь — скажи: барашка как жить будет?

— Я что-то не понимаю...

— Три года плохой трава родился наше место,— заговорил Бейсен и провел рукой по степи.— Сам гляди — голый земля. Барашка кушать надо, чего кушать? Новосел везде пошел, селинка пахать будет, барашка гулять куда пойдет? Совсем пропадай барашка?

Леонид как-то невольно оглянулся на Хмелько.

— Ничего, ничего, папаша! — тотчас же заговорила Хмелько, обращаясь к чабану.— Здесь степи вон какие,

глазом не окинешь! И пшеницы наедем, и для скота места хватит...

— Какой место? — слегка загорячился Бейсен. — Везде селинка пахать будешь, какой тебе место? Ай, агроном, агроном! Будет одна соленый земля! Какой трава растет соленый земля, знаешь? Барашка сладкий трава надо. Типчак. Барашка гулять надо. Много гулять. Куда пойдет гулять барашка?

— Хватит ахать, старина! — сказал подошедший Куприян Захарович. Несколько минут он бродил среди отары. — Веди домой.

Окинув Хмелько и Леонида тревожным взглядом, Бейсен посвистал коню и направился к кошарам. Конь двинулся за ним, неловко переставляя лохматые, шишкастые ноги.

В низенькой, полутемной саманушке Бейсена топились железная печурка. Больная жена Бейсена лежала, прикрытая тряпьем, на нарах и изредка стонала. Под нарами, у порога, среди избушки на полу, притрушенном гнилой, заплесневелой соломой, валялись, иные бездыханно, мокрые, с окровавленными пуповинами ягнята. В избушке скопились и застоялись тяжелые, одуряющие запахи гнили, пота, овечьей шерсти и смазанной дегтем сыромятной кожи.

Когда Леонид переступил порог избушки, его едва не сбило с ног духотой и вонью. Он опустил тут же, у порога, на низенькую скамеечку и, сняв шапку, начал обтирать мгновенно покрывшееся потом лицо. Во всем теле он вдруг почувствовал ту странную вялость, какую едва одолел на утренней заре.

Опять начался разговор о пастбищах.

— Ты будешь пасти здесь отару весь май, — сказал Куприян Захарович старику чабану. — Твои пастбища будут пахаться только летом, когда соберем сено.

— А летом куда пойдём? — спросил Бейсен.

— К озеру Бакланье.

— Плохой там трава! Плохой!

— А вот твоему дружку Иманбаю хоть сейчас уходи, — продолжал Куприян Захарович. — Все его пастбища — под плуг!

— Иманбай-та куда пойдет?

— Тоже на Бакланье.

— Где там найдешь всем место?

— Ничего, как-нибудь...

— Пропадал барашка! — убежденно заключил окончательно расстроившийся Бейсен. — Как жить? Как жить?

— Еще лучше заживете, чем с целиной! — ответила Хмелько.

— Эх ты, агроном, агроном!

— Вот у вас сейчас много целины, а скотдохнет, — продолжала Хмелько. — Дело не только в засухе. Вы и раньше часто сидели без сена. Что вы получаете с этой своей целины? С гектара два воза, не больше, а? Ну вот... А я сейчас хлопочу, достаю семена. Вот то будут травы! Как засею сотни гектаров могоаром да суданкой, а то африканским просом да горчицей — и соберу сена больше, чем вы собираете с трех тысяч гектаров целины! Вот вы и перестанете вздыхать о своей целине! Летом у нас для подкормки будут зеленая рожь, кормовые арбузы и тыквы, на зиму — силос из подсолнуха. Только нынче, когда запашем целину, и вздохнет ваш скот! Хватит, пощелкал зубами по степи!

— Про людей забыла, — напомнил Куприян Захарович.

— Будут люди!

— И про механизацию.

— Все будет!

Старик Бейсен вспомнил, что для гостей надо заварить чай, и направился было к печке, но, увидев Багрянова, воскликнул:

— Ты чего, бригадир? Хворал маненько?

Леонид Багрянов сидел, привалившись плечом к стене, опустив голову, держась дрожащей рукой за удила висящей рядом узды...

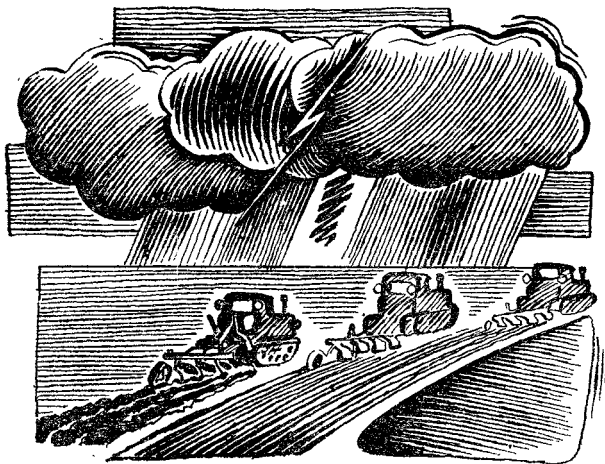
Вечером серая длинногривая лошадка Хмелько тащила из степи сани-розвальни, в которых на заплесневелой соломе, пахнувшей мышами, лежал Леонид Багрянов, прикрытый старенькой чабанской кошмой. Следом на поводе шел его Соколик с пустым седлом.

Рядом с санями, держа в руках вожжи, шагала Галина Хмелько. Ей нелегко и холодно было брести в сапогах по снегу, пропитанному водой; иногда она, желая сберечь силы, хваталась за передок саней, оза-

боченно оглядывалась на Багрянова и говорила ему строго:

— Лежи, лежи...

Степное половодье, до сих пор скрывавшееся под рыхлым снегом, за день вышло во все низины и озерки. К сумеркам немного посвежело, но не подморозило, и чувствовалось, что не подморозит за ночь: весна брала полную власть над землей. Темнело быстро. Как и днем, в пасмурной небесной вышине не стихал шумный переселенческий птичий поток. Со всех сторон из темноты доносилось звучное, зовущее кряканье уток и плеск воды. Над дорогой как очумелые носились с криками чибисы.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ



На восток от Иртыша, над всей Кулундинской степью, после нескольких солнечных дней вновь установилась холодная, хмурая погода. Но ничто уже не могло сдержать победного шествия весны. Снега так и сползали со всех возвышенных мест — степь час от часу все более пестрела. Степное половодье было очень бурным, однако, всем на удивление, необычайно быстро шло на убыль. Боясь новой засухи, земля с жадностью запасалась влагой: где вчера сияло плёсо, просторное для многих походных утиных стай, там сегодня сверкало лишь небольшое озерцо с проглянувшей повсюду рыжей колючкой; где было озерцо, там осталась только лужица, которую пересекали вброд тонконогие кулики. Но зато на больших степных водоемах поверх льда скапливалось на редкость много свежо синеющей внешней воды; старожилы радовались, что нынче водоемы поднимутся, как в старину, и заживут обновленной жизнью.

В эти холодные, ветреные дни сотни бригад, созданных из молодых новоселов Алтая, вышли на просторы Кулунды. Рокочущим гулом тысяч тракторов огласились пустующие земли. Бригадные станы появились и на опушках березовых колков, и у пресных озер, над которыми кружились птичьи стаи, и по берегам извилистых речушек, доживающих здесь лишь до середины лета, а чаще всего в открытой безбрежной степи, где даже птице негде спрятать голову от солнца. Со всех станов потянулись над землей волнисто стелющиеся по ветру, несказанно манящие к себе светленькие дымки...

Простояв сутки в Лебяжьем и оставив здесь больного Леонида Багрянова, его бригада тоже вышла в степь. Тракторы тащили вагончик и тяжело нагруженные сани, где по снегу, а где уже и по обнаженной целине. Стан разбили на восточной опушке Заячьего колка. Лучшее становье, вероятно, нелегко найти во всей степной округе: колок — хорошая защита от ветров и песчаных бурь, налетающих из-за Иртыша, а в глубокой естественной ямине полно снеговой воды.

Горячий и уросливый Соколик, совсем неравно объезженный в упряжке, нервно, порывисто тащил рыдван¹

¹ Рыдван — особый вид телеги.

едва приметной на целине, извилистой, неизвестно кем и когда проложенной тропой, каким несть числа в степи. Тоня Родичева, только что назначенная помощницей поварихи, везла в Заячий колок мешок хлеба и продукты для бригады Багрянова. Был полдень, но солнце пригревало скупое. Влажную землю обдувал колючий ветерок. Но хотя и холодновато и неуютно было в мире, пробудившиеся от зимней спячки суслики, вытягиваясь, как солдаты, на бугорках у своих нор, наслаждались светом, вольной волей и с необычайным любопытством осматривали степь.

У небольшого ложка Соколик вдруг прижал уши и пошел боком, боком, заноса рыдван в кусты таволожки. Тоня вскинула голову, натянула вожжи, и внезапный сухой румянец опалил ей лицо. В ложке, в десяти шагах от тропы, поднялся с земли Ванька Соболев. Подбирая ноги, чтобы не ободрать их о колючие ветки таволожки, Тоня повернула коня к тропе и смущенно крикнула:

— Леший болотный! Напугал-то как! Тр-р-р!..

Устало неся двустволку, Ванька Соболев молча вышел к тропе. Он был в защитной телогрейке и при полном охотничьем снаряжении. Вокруг его пояса висели на ремешках, сверкая нарядным пером, селезени и утки... Смугловатое лицо Ваньки Соболева выражало беспредельную усталость. Из-под старенького треуха, отделанного белкой-телеуткой, выбивались на потный лоб черные пряди. Приблизясь к рыдвану, Соболев смахнул их рукой со лба, передохнул, сумрачно спросил:

— Подвезешь, что ли?

Тоня тоже вздохнула невесело, но тут же лукаво засмеялись ее большие ясные очи.

— Ой, и не знаю!

— Кто ж знает? — спросил Ванька Соболев. — У жеребчика, что ли, спросить?

— А что ж, спроси: ему везти!

— Тьфу, не язык, а заноза!

Соболев положил в рыдван ружье. Незаметно передвигаясь ближе к передку рыдвана, чтобы освободить Ваньке место рядом с собой, озорно покусывая губы, Тоня сказала:

— Садишься, а чем платить будешь?

— Ох, какая же ты стала! Ну и репей!

Соколик резко взял вожжи. Устало горбясь, стараясь оправдать свою озлобленность, Соболь сообщил примирительным тоном:

— Ходил далеко. На Горьком был.

— Носило тебя! Рядом же Лебединое...— подивилась Тоня.

— На Горьком лодка есть...

— Ну, не бил бы много!

— Не понимаешь азарта, да?

Некоторое время ехали молча.

За несколько дней жизни в Лебяжьем Ванька Соболь впервые оказался наедине с Тоней. Своенравный парень был очень обижен тем, что Тоня не пришла в воскресенье в клуб и постоянно избегала встречаться с ним, но ему волей-неволей оставалось лишь смирять свое бунтующее сердце и терпеливо добиваться прощения. Теперь выдался на редкость подходящий случай, чтобы поговорить с Тоней откровенно и рассеять ее обиду. Но как трудно, ох, как трудно говорить с ней наедине!

— Выросла ты за эти годы,— заговорил он наконец не без смущения.

— Выросла и поумнела,— с ехидцей подхватила Тоня.

Ванька Соболь взглянул на нее быстро и тревожно. Сдерживая коня, Тоня старалась смотреть не на Ваньку, а в степь, на стаю серебристых, с чернетью журавлей, бродивших вдали по обсохшей гривке, ветерок шевелил у ее виска и на шее короткие, выбившиеся из-под платка темно-русые волосы, почему-то пахнущие, как показалось Соболю, сосновой хвоей; ноздри ее прямого, чуть вздернутого носа раздувались, точно от жары; полненькая загорелая щека в реденьких милых веснушках влажно румянела.

— Увидал тебя сейчас,— продолжал Соболь очень серьезно,— увидал, и всю душу мне вот так сжало!

Удивляясь тону его голоса, Тоня на миг обернулась и спросила:

— А теперь? Отошло?

— Смеешься? — с болью прошептал Соболь.

— Нет, говори, говори...

— Не могу я сказать, что надо,— грустно ответил Соболь.

Но Тоня на этот раз оказалась необычайно жестокой.

— Не можешь? — переспросила она.— Такой говорун? Ты гляди, хорошо ли с тобой? Не захворал?

— Издеваешься? — вдруг крикнул Соболев.

Тоня изумленно примолкла, а Соболев, проклиная себя за несдержанность, стараясь как-то оправдаться, сказал с надсадой в голосе:

— Все ты солнце мне заслонила!

Минуту он тягостно и безуспешно ждал ответа. Потом, чувствуя, как все в нем обрывается от горя, воскликнул:

— Знаю, с этим... с Зарницыным гуляешь!

— Ничего ты не знаешь! — отрезала Тоня.

— Сам видел вас вместе... Уже опутал городской хлюст?

Тоня в ответ только хлестнула коня вожжами.

Нервничая, Ванька Соболев вытащил из кармана телогрейки измятую пачку папирос и спички, но тут же охнул и схватил Тоню за локоть.

— Стой, спички обронил!

— У-у, косорукий! — крикнула Тоня.— Беги!

Соболев прыгнул с рыдвана и, пока Тоне удалось сдержать разгоряченного Соколика, оказался шагов на сотню позади. Подняв спички, он смерил глазами расстояние до рыдвана и сокрушенно потряс чубом.

— Стой! Обожди!

Собрав силы, Соболев сделал с десятков резких прыжков, но, поняв, что не добежать, снял треух и, размахивая им, пошел к рыдвану тяжелой, разбитой походкой.

Круто обернувшись, Тоня смотрела на Соболева, и в карих озорных ее глазах ярко засветились золотинки. Какой же он, ее мучитель, был теперь усталый и смешной! Тоне даже жалко его стало.

— Шагай! — крикнула она, озорую.

— Тоня, погоди! — во весь голос взмолился Соболев.

У рыдвана он остановился, вытер треухом вспотевший лоб и виновато улыбнулся, блеснув зубами.

— Все ноги сбил.

Но только он хотел сесть в рыдван, как Тоня, гикнув, дернула вожжи. От неожиданности Соболев отшатнулся назад и вскинул руки.

— Тонька, стой! — закричал он.— Не дури!

— ...гоняй! — донеслось до него вместе с грохотом рыдвана.

— Ошалела девка!

Тоня думала, что сможет быстро осадить Соколика, но он, дикий и уросливый, неожиданно закусил мертвой хваткой удила и, горячася, понееся по степи. Пролетев метров пятьсот, он неожиданно резко осадил, захрапел, и по его золотистой бархатной спине волнами пошла дрожь. Путаясь в вожжах, Тоня успела заметить, как недалеко от тропы, по левую сторону, тяжело хлопая крыльями и не успев еще убрать когти, поднимался темно-рыжий, с проседью беркут... В тот же миг, весь дрожа, Соколик стремглав кинулся вперед, и грива его, поднятая ветром, забила под дугой.

«Разнес! — поняла Тоня. — Разнес!»

Намотав вожжи на руки, Тоня со всей силой уперлась ногами в передок рыдвана и откинулась назад, но конь, словно и не почувяв этого, летел во весь мах, широко раскрыв глаза, брызгая пеной. На поворотах закидывало то правое, то левое заднее колесо рыдвана; вскоре из него выбросило Ванькино ружье. Лицо Тони горело темным румянцем, она кусала губы и, едва сдерживая стон, все рвала и рвала вожжи, но с каждой секундой степь все стремительней летела ей в глаза...

Попалась ложбинка, залитая водой. Тоню обдало, как из пожарного шланга. Через секунду конь выхватил рыдван на сухое и понес дальше, уже без тропы. Тоню бросало туда и сюда; она вскрикивала, боясь вылететь из рыдвана, и с ужасом перехватывала вожжи; ее лицо и волосы были забрызганы грязью...

И вдруг, точно поняв что-то, Тоня схватилась левой рукой за передок рыдвана и начала остервенело хлестать Соколика вожжами. Конь понес еще с большей яростью, закидывая задние ноги чуть не до самых гужей; с боков его слетали хлопья пены; он весь был в огне, им владела бешеная чужая сила, но, почувяв, что вожжи ослаблены, он безотчетно разжал ноющие зубы и выпустил удила. Тут же воспользовавшись его оплошностью, Тоня опять рванула вожжи, да так, что у коня потемнело в глазах. Он в бешенстве начал делать судорожные прыжки, уже не видя ничего впереди, а Тоня рвала и рвала ему удилами губы...

Добравшись до бригадного стана, Ванька Соболев повесил на сук березы, близ кухни, ружье и связку дичи, обтер горячее лицо и, замирая от стоявшей вокруг тишины, осторожно приблизился к палатке, разбитой невдалеке от пруда. В палатке толпилась почти вся бригада. Никем не замеченный, Соболев, придерживая дыхание, остановился у входа. Из глубины палатки он тут же, не веря своим ушам, услышал голос Кости Зарницына и внезапный смех Тони. Если бы Соболев застал Тоню при смерти, у него не могло бы сердце похолодеть сильнее, чем в эти секунды...

Опасливо, виновато, словно подглядывая что-то запретное, Ванька Соболев отделился от палатки, как тень, и медленно побрел в колок, едва волоча ноги по шуршащей прошлогодней листве. На пути попались кусты желтой акации. Не видя, что их легко обойти, Соболев полез в гущу корявых, колючих зарослей. Потом на небольшой полянке попала лужа почти до колен — он пересек ее напрямик...

За ужином бригада всячески восхваляла охотничьи доблести Ваньки Соболева. Но Соболев, не слушая болтовню ребят, безмолвно сидел у костра. После чая бригада сумерничала; хотя и было холодно, никто не уходил в палатку, все расположились вокруг огня; всем уже полюбились степные вечера с негромкими разговорами, приглушенными взвизгиваниями и смехом девушек в полутьме, мелодиями гармонии и песнями...

Костя Зарницын, как всегда, затейничал, зазывал к себе девушек:

— Ласточки залетные, сюда! Ближе ко мне!

Ванька Соболев всячески избегал смотреть в ту сторону, где была Тоня. Покусывая черную пряжу чуба, он со скрытой думой все смотрел и смотрел в огонь...

Сквозь белоствольный колок слабо струился свет неяркого, бескрылого заката. Ветерок затих, но, вероятно, лишь затем, чтобы ночь могла спокойно опуститься на землю. По всей степной округе — а видно было на десятках километров — дружно зажглись бригадные огни. В быстро сгущающихся сумерках они, казалось, плыли и качались, будто на зыбких волнах моря...

Некоторое время вокруг костра веселье не ладилось, вероятно, потому, что многие с недоумением наблюдали

за Ванькой Сободем. Девушки бродили туда-сюда и молча доделывали какие-то свои дела, а среди ребят шел недружный деловой разговор о дефектах в одном из тракторов, о запасных частях, о холодной весне... А потом, как это уже не раз случалось у костра, то один, то другой вдруг давай вспоминать о покинутых родных местах: знать, не легко было справиться со своей тоской-кручинушкой... Убитый своим горем, Ванька Соболев время от времени прислушивался к этим разговорам, да и то лишь краем уха.

— Да, братцы, здорово здесь припоздала весна!..— проговорил со вздохом Григорий Холмогоров, любивший рассуждать с мужицкой деловитостью и обстоятельностью.— У нас под Великими Луками на что северное место, а уже работают...

— Да, у нас уже работают! — в тон ему подхватил Николай Краюшка.

— Какая там работа в ваших местах! — вдруг возразил Ибрай Хасанов; он держал на коленях гармонь и с нетерпением ждал команды, чтобы пустить пальцы по клавишам.— У вас там одни болота!

— Ерунду городишь,— сразу же обиделся за родной край Николай Краюшка, хотя отлично помнил, что сам недавно жаловался ребятам на великолукские болота.— У нас, если хочешь знать, самые красивые места! Где такие чистые озера и сосновые леса, как за Невелем? Где такая речка, как Ловать?

— Вот на этой самой речке,— сказал Ибрай Хасанов,— и есть самые гиблые болота и темные леса... Сколько там людей легло за войну! Мой брат — он вместе с Матросовым пошел воевать — как раз там и погиб, у вашей Ловати!

— Везде гибли...— защищаясь, возразил Краюшка.

— Вот у нас на Каме,— продолжал Ибрай Хасанов,— вот где на самом деле красивые места! Наше село совсем недалеко от Камы, на высокой стороне... Никаких тебе болот! И поля хороши, а уж липовые леса — чудо! Зацветут — ходишь как на свадьбе!

— А вот яблочко-то у вас и нет! — неожиданно подсек его со стороны белгородец Федя Бражкин.

— Есть! — воскликнул Хасанов.— Немного, но есть.

— Немного — это что-о! — совсем по-ребячьи протянул Федя Бражкин и вдруг загорелся: — А у нас — вот где яблок! Взглянешь на сад, а он осыпан, как небо сейчас осыпано... Заберешься под яблоню, какая всех милей, и наслаждайся вволю!

— Только жуй, да? — с подвохом спросил Костя Зарницын.

— Конечно! — простодушно ответил Федя Бражкин.

— Еще жева-ать-то, — дурашливо мямля губами, протянул Костя Зарницын, к месту напомнив известный анекдот о лентяе, и этим вызвал всеобщий хохот. — В общем, везде хорошо, — заключил он, когда подзатихло вокруг костра. — А в Москве у нас, если на то пошло, совсем расчудесно! Река у нас получше всякой вашей Ловати. Ну и липы, так они цветут у нас на улицах и бульварах... А в магазинах — и яблоки, и виноград, и бананы... Одним словом, не жизнь — сказка!

Всегда оставаясь верным своей озорной привычке преувеличивать, Костя Зарницын тут же сменил розовые краски на черные.

— Удивляюсь, — сказал он, обводя лукавым взглядом девушек. — И зачем только понесло меня от такой расчудесной жизни к чертям на кулички! А теперь вот сиди в степи у костра и вой с тоски по-волчьи...

Все отлично понимали, что Костя Зарницын говорит это ради озорства и подначки, но Ванька Соболев, всем на удивление, вдруг серьезно и придирчиво переспросил:

— А все ж таки зачем же понесло тебя сюда?

— Я же сказал: сам не знаю, — ответил Костя Зарницын, не понимая настроения Соболева и его тона. — Стало быть, только сдуру потянуло от хорошей жизни к плохой — поближе к волкам...

— Потянуло, а теперь и воешь на всю степь?

Костя на несколько секунд задержал удивленный взгляд на Соболе, но все же ответил шуткой:

— Завоеешь: здесь нет бананов!

— А тогда взял бы ты ноги в руки — да и был таков! Долго ли тебе? — со смешком сказал Соболев и, втайне стараясь воспользоваться удобным случаем очернить Костю, добавил: — Москвичи — народ такой; только и смотрят, где бы слизнуть пенки! Уши не развешивай! Слизнул — и дальше!

— Погоди-ка, ты в своем уме? — вытаращив округ-

лые голубые глаза, спросил Костя Зарницын.— Где я слизнул пенки?

— Не слизнул, так уже примеряешься!

— Как примеряюсь? Где? Что ты болтаешь?

Слово за слово — и между Сободем и Костей началась, всем на огорчение, внезапная и глупая перепалка. Пришлось разнимать их самому Корнею Черных.

— Дичью обожрались вы, что ли? — спросил он хмуро, поднявшись у костра.— Ишь сцепились! Даже глаза налились кровью! А ну, прекратите! Чтобы не слышать было!

Бригада пошумела, пожурила Соболя за дурной тон и задирство, а Костю за неосторожные шутки, но так и не поняла, отчего произошла эта первая в бригаде ссора.

— Ты сплясал бы лучше,— мирно посоветовал за тем Соболю Корней Черных.

— Я сегодня и так наплясался! — медленно остывая, ответил Соболю.

— Ну тогда спой! Все лучше...

— Что ж, спеть можно...— вдруг снисходительно согласился Соболю, чего, казалось бы, никак нельзя было ожидать от него в эти минуты.— Ну, Ибрай, играй! — крикнул он, свалясь на локоть лицом к гармонисту, и, выждав мелодию, запел во всю грудь с необъяснимым злым весельем:

Мне измену д'назначают —
Что это за новости?
У таких ли у девчонок —
Ни стыда ни совести!

И все парни, чего тоже нельзя было ожидать от них сразу же после горячей перепалки, внезапно задвигались на своих местах вокруг костра, будто задетые одним крюком за большое, и сговоренно согласились с Ванькой Сободем:

У таких ли у девчонок —
Ни стыда ни совести!

Соболю дал время голосам свободно, далеко прокатиться по вечерней степи, а когда они замерли в отдалении, продолжал:

Измененную девчонку
Ты узнаешь по глазам.
Измененная девчонка
Все глядит по сторонам!

И парни с жаром подхватили:

Измененная девчонка
Все глядит по сторонам!

Девушки не решались перебивать, хотя их так и подмывало чем-нибудь подковырнуть парней, А Ванька Соболь, все веселея от каких-то непонятных злобных мыслей, откидывая чуб, ведал степи:

Не любила — разлюбила,
Не сказала и «прости»...
А я, парень, не горюю —
Мне трава да не расти!

Последнее особенно понравилось парням. Так и надо! И под чей-то заливчатский свист они дружно согласились с запевалой!

А я, парень, не горюю —
Мне трава да не расти!

В степи большой простор для песни, и Ванька Соболь, зная это, не жалел голоса и душевного огня. Но все же иногда казалось, что Соболь, распаленный злым весельем, вдруг перестанет складывать песни, вскочит на ноги да так гикнет, что вся степь, со всеми полевыми станами и огнями, повинувшись ему, тронется и поплывет в неведомые дали...

II

В воскресенье 25 апреля Леонид Багрянов с чувством необычайного нетерпения ехал на полевой стан своей бригады. За неделю болезни он сильно исхудал и ослаб. Тряска в легком ходке да пьянящий степной воздух так изнуряли его, что он едва успевал обтирать потеющий лоб. Как всем сильным от природы людям, Леониду несносно было чувствовать свою слабость и сознавать, что он не может быть самим собой — подвижным, голосистым, шумным. Страдание, вызываемое сознанием слабости, делало его чем-то неуловимо некрасивым. За неделю он заметно возмужал, что для молодых людей почти неизбежно в дни болезни. Поубавилось мягких черт в его лице, строже обозначилась морщинка у переносицы, тверже стали губы, расширились да сделались еще горячее и пронзительней серые глаза. По-настоящему Леониду еще нельзя было выезжать в степь, но выше его сил было сми-

риться с мыслью, что бригада без него начнет заветное дело.

Разговаривал Леонид в пути мало и неохотно, все время быстрым, ищущим взглядом всматривался в степь, которая кажется тем необозримей и волнительней, чем глубже забираешься в ее просторы. Только в одном месте, тронув рукой Светлану — она увлеченно выполняла обязанности возницы, — Леонид вдруг заговорил оживленнее:

— Видишь вот тот пригорок? Вон, где густой ковыль? Вот здесь мы и встретили в то утро волка!

Светлана, уже побывавшая на полевом стане, знала, что могучего одинокого волка видели многие из бригады, и с иронией спросила:

— Тебе, кажется, нравится, что они здесь бродят? Романтичнее с волками, да?

— Если хочешь — да.

— Лучше бы без этой романтики! — отмахнулась Светлана. — Страшновато, только и всего.

— А без них будет скучно...

— Думаешь, когда воют волки, то очень весело?

— Все-таки...

Юркий суслик внезапно перебежал дорогу Соколику у самых его ног. Вовремя сдержав и успокоив жеребчика, Светлана спросила Леонида:

— Значит, ты боишься, что кое-кто быстро заскучает на целине?

— Не боюсь, а побаиваюсь, — уточнил Леонид. — Есть ведь у нас такие, которые поехали только затем, чтобы полюбоваться собою на целине. А как же полюбишься, если даже волков здесь не будет?

— А если будут, тогда затоскуют другие, неромантики!

— Не затоскуют! У них есть кое-что посильнее тоски! Помедлив, Светлана спросила:

— А есть ли что сильнее ее?

— Есть! — ответил Леонид убежденно.

Нетерпение Леонида росло с каждой минутой. Увидев наконец-то у березовой опушки темно-зеленую палатку, вагончик, тракторы и баки, он заволновался пуще прежнего, вырвал у Светланы вожжи и погнал Соколика крупной рысью, хотя тому и нелегко было тащить ходок по влажной целине

Встречать Багрянова сбежалась вся бригада. Молодежь шумно толпилась вокруг ходка, пока Корней Черных не напомнил, что пора возвращаться к брошенным делам. Молодежь неохотно стала расходиться, а Черных, видя, что Багрянов с трудом спускается на землю, озабоченно спросил:

— А ты... не рано ли встал?

— Разве его удержишь! — воскликнула Светлана.

— Ничего, здесь я скорее поправлюсь, — ответил Леонид, лаская прыгающего вокруг него Дружка. — Вы думаете, там легче мне? — Он слабо и криво усмехнулся. — Сам валяешься в Лебяжьем, а душа — в Заячьем колке...

— Боялся небось, что без тебя начнем? — спросил Черных.

— Боялся, — откровенно сознался Леонид. — Сколько думал об этом дне, так ждал его, и вдруг!.. Как я мог терпеть? Только, кажется, еще рановато, а? В степи-то везде сыро!

— Да нет, пожалуй, и не рано... — раздумчиво произнес Черных, раскрывая перед Леонидом ради встречи мельхиоровый портсигарчик. — Местами сыровато, конечно, но это не беда: трактор всегда пойдет по целине. Мы уже и загонки разбили, вешки расставили.

— Стало быть, уже пробовать надо? — загорелся Леонид.

— Надо пробовать.

— Вовремя я выбрался! Чуяло сердце!

Светлана взяла Соколика под уздцы и повела к ближним березкам распрягать. Леонид забеспокоился и крикнул ребятам, проходившим мимо:

— Ребята, вы помогите Светлане-то!

— Есть! Сделаем! — отозвались голоса.

Но Светлана, обернувшись, крикнула:

— Я сама, я сама!

— А сумеешь ли? — усомнился Леонид.

— Сумею!

— Пусть учится, привыкает, — сказал Черных.

— Всю дорогу правила! Рада, как ребенок!

— И не боялась, что разнесет, как Тоню?

— Не боялась.

Заметив, как Багрянов нетерпеливо осматривается,

Черных спросил, обводя рукой стан!

— Ну, как мы выбрали место? Обойдем, поглядим?

Они неторопливо обошли весь стан. Везде шла какая-нибудь работа: городские пареньки, никогда не державшие в руках плотничьего топора и рубанка, настилали в палатке пол из досок, делали крышу над амбарушкой, перевезенной из села для кухни; девушки наводили особый девичий уют и порядок в вагончике, отданном в их владение, стирали белье на берегу пруда и помогали Фене Солнышко мыть посуду; час назад отшумел бригадный обед. Только около тракторов и машин, ярко начищенных, стоявших рядами поодаль от стана, на чистом месте, не было никого: здесь все уже было готово к выходу в борозды. Но когда Багрянов и Черных направились сюда, за ними, не выдержав, потянулись со стана трактористы. Казалось, на машинной базе все в порядке, но как раз именно здесь у Леонида нехорошо заняло сердце. Он остановился перед тракторами и некоторое время рассеянно обводил их сумрачным взглядом.

Корней Черных осторожно вздохнул позади.

— Да, осиротели! Остались без «отца»!¹ Как там, все еще пробуют вытащить? Не слыхал?

Не ожидая ответа бригадира, трактористы заговорили с разных сторон:

— Да кто там вытащит его? Деряба?

— Он только водку хлещет!

— Теперь наверняка и кабину залило!

— Нет, воды не так уж много...

Леонид обернулся к трактористам, сказал:

— Сейчас никто не вытащит. Надо ждать, когда сойдет вода. Не скоро мы увидим своего «отца». Что ж, друзья, не думали, как теперь быть? Может, сегодня по советуемся?

— Завтра начнем? — догадался Костя Зарницын.

— Вероятно.

Оставив шумно заговоривших между собой трактористов, Багрянов и Черных зашагали в степь. Дорогой Черных начал оживленно рассказывать о жите-бытье бригады.

— Тут кругом народ! Завечерееет — вся степь в ог-

¹ «Отцом» называли в бригаде трактор «С-80».

нях! Правее нас — павловские и залеихинские новосельские бригады, прямо на север — курьинские... А сюда вот, левее, — бригада Громова, за ней — Казахстан, там сплошной грохот!

— У Громова бывали? — спросил Леонид.

— Бывали!

— Побьют они, видно, нас, — вздохнув, сказал Леонид.

— Да, бригада крепкая, как боевой взвод, — зависливо отозвался Черных. — Все из одного места, подобраны масть в масть, дело хорошо знают. А ведь у нас — пестрота...

Вскоре их нагнал и остановил парнишка лет тринадцати, в ватнике и старенькой солдатской шапчонке, необычайно беловолосый, густо, точно просом, засеянный веснушками, с настороженным, зверушечьим взглядом. Раза два передохнув, не в силах сдержать раскатистое «р», он доложил:

— Повар-р-риха зовет! Тетер-р-рка готова!

— Придется вернуться, — сказал Черных.

— Не вовремя, осмотреть бы надо.

— До вечера поглядим.

Повернули обратно.

— Тетеревов-то... Соболь добывает? — спросил Леонид.

— Соболь, — ответил Черных. — А без него мы сидели бы на одной пшенке! Плохо нас снабжают...

— А парнишка чей? — спросил Леонид, кивнув на шагавшего поодаль и рдеющего от волнения паренька.

— Здешний, — невесело пояснил Черных.

Леонид обернулся к мальчугану, спросил кратко:

— Как звать?

— Петр-р-рован! — ответил тот раскатисто.

— Петька, — пояснил Черных. — И вот ведь какой чудной парень: как начнет волноваться, так и не может сдерживать свое «р», все гонит его в раскат... Ну, чего ты нервничаешь, скажи на милость?

— Сами знаете, — шмыгнув носом, ответил Петька.

— Видишь ли, все ждал тебя, — сообщил Черных. — Просится в прицепщики.

— В прицепщики? — удивился Леонид. — Да ведь мал еще!

— Вот и я говорю: заснешь на зорьке — да под плуг, а мы отвечаем.

— Я не засну! — твердо проговорил Петька. — Я к этому привычный... А вот вашим городским девчонкам — тем быть под плугами!

— Обожди, а как же у него со школой?

— Со школой плохо, — ответил Черных, поймав умоляющий взгляд шагавшего рядом Петьки. — Отец его помер, а у матери четверо детей. Он самый старший. Сам знаешь, живется несладко. И вот узнал он, что прицепщики нынче здорово заработают на целине, — да и дал тягу из школы.

— Есть ведь закон, надо учиться, — заметил Леонид.

— Нарушил закон! Сам Северьянов вызывал, грозился засудить — не помогло! Ну, что ты с ним будешь делать? Гонишь отсюда — в слезы. Забьется в кусты — и рвет. Ходит вон, душит сусликов!

— Пушнину небось заготовляет?

— Ну да, жить-то надо чем-то! Беда с этим заготовителем! Хочешь взглянуть на его добычу?

Они были уже на стане и сразу же направились к амбарушке-кухне. Вся южная глухая стена ее, как оказалось, была разукрашена вывернутыми наизнанку и растянутыми на маленьких гвоздочках подсохшими на солнце сусличьими шкурками.

— Первый сорт! — с гордостью и легко выговорил Петрован.

Леонид вдруг вспомнил, как он во время войны, стараясь прокормить семью, ловил на рыболовные крючки, наживленные рыбьими пузырями, жадных и доверчивых уток. На одно мгновение он увидел себя подростком, таким, как Петрован, в рваном пиджачишке, в сапогах, собственноручно смастеренных из кусков автомобильных камер, с пестерькой, набитой сизоперой дичью, и у него внезапно и мучительно перехватило горло.

— Сдаешь? — спросил он Петрована хриплым голосом.

— А как же?

— Может, на табак?

— Ну, что вы! — даже слегка обиделся Петрован. — Все до копейки отдаю матери.

На минутку словно тенью тучки покрыло лицо Леонида. Он постоял еще немного, сдвинул брови, перед раз-

рисованной шкурками стенной, вероятно с трудом борясь с болью в своей душе, потом круто обернулся и бесцельно зашагал к берегу пруда.

— У нас ведь водовоза нет,— заговорил Черных, выждав, когда Леонид вдоволь насмотрится в зеркальную заводь.— За питьевой водой ездить далеко — в старые бригады... Одному деду Ионычу тяжело: он сторожит ночами горючее, машины...

— Водовоз есть,— ответил Леонид.

— Значит, берем Петрована?

— Берем.

— У нас не хватает еще двух прицепщиков,— продолжал Черных.— Что там, в колхозе, говорят? Пришлют людей?

— Нет, не пришлют...

— А как же завтра пахать?

— Председатель колхоза давал людей, да я отказался взять их,— сообщил Леонид и, обернувшись к Черных, склонил перед ним голову.— Вот теперь секи ее, Степаныч! Не мог взять! Знаю: не хватает у него людей! Снимал с какой-то работы...

— Товарищ бригадир, да что ж ты наделал! — с беспредельным огорчением воскликнул Черных.— Как же нам быть?

— Пока будем обходиться сами...— ответил Леонид.— То я поработаю на прицепе, то ты, то кто-нибудь из ребят отсидит две смены... Как-нибудь! А там видно будет. Есть у меня, Степаныч, тайная мыслишка, переманить к нам дружков Дерябы. Неделю они провольнили на Черной проточине, попьанствовали вволю — пора за дело...

— Они от Дерябы никуда! — возразил Черных.

— Чепуха! Собутыльники не родня!

— Но как переманишь?

— Подумаю...

Феня Солнышко позвала обедать. Наскоро отведав дичи, Леонид тут же ушел со стана. Некоторое время он молча бродил по влажной целине, печатая на ней резиновыми подошвами сапог узорчатые следы, задумчиво останавливался у крохотных «блюдец» с чистенькой, усеянной пузырьками водой, выворачивал лопатой и рассматривал в руках куски мертвой дернины, с удивлением ловя чуть внятный запах, исходивший от едва приметных, точно ряска, день-другой появившихся на свет малиновых листочков богородицыной травы...

— Кое-где еще мерзлая,— с сожалением сказал он о земле.

— Ничего, дисковать можно! — отозвался Черных.

В иртышской стороне незаметно и необычайно быстро потемнела кромка неба. Возвращаясь на стан, Леонид много раз поглядывал на запад и, видя, как чернотой заливает небосвод, сам темнел лицом, досадовал и негодовал в душе.

Бригада только и ждала сигнала — в два счета собралась у палатки, вокруг обеденного стола, сбитого из сосновых досок. Как раз к этому времени огромная черная туча встала над Заячьим колком. Степь вокруг потемнела, березы, только что нежно полоскавшие свои висячие ветви в текучем воздухе, тревожно, выжидаяще замерли, два ошалелых чирка, точно выпущенные из пращей, низко над землей пронеслись мимо стана.

— Вот и тучи пошли над нашей бригадой,— знакомым всем мрачно-шутливым тоном изрек Костя Зарницын.— Я же говорил: того и гляди, соберется гроза.

— А дождя надо бы,— рассудительно заметил Григорий Холмогоров.— За всю весну ни одного. Обмоет землю, сгонит с нее плесень — вот тогда она быстро зазеленеет.

— Работать надо, а тут дожди!

Пока собиралась бригада, Леонид переводил изучающий взгляд с одного лица на другое, стараясь уловить, с каким настроением люди готовятся взяться за дело. «Понимают ли они, какая беда стряслась с бригадой? — вместе с тем думал он, затаивая свои вздохи.— Остаться без такого трактора! Думают ли они, как быть?» Почти на всех лицах лежала тень озабоченности или даже тревоги, особенно приметная при сумеречном свете, царившем в степи, а собирались все на бригадное собрание с той хорошей, едва сдерживаемой возбужденностью, которая есть начало всех начал. У Леонида немного отлегло от сердца.

Когда бригада была уже в сборе, Багрянов заметил, что из-за угла кухни высунулось свисающее, как у сеттера, серое ухо старенькой солдатской шапки и блеснул зеленоватый глаз.

— Эй, Петрован! — вдруг крикнул Леонид.— Ты чего же там прячешься? Иди сюда, слушай!

Все поняли, что Багрянов берет паренька в бригаду, и обрадованно, разногласно принялись зазывать его в

свой круг, Петрован был даже несколько напуган таким внезапным счастьем и поместился среди ребят, на удивление, не сразу, а опасливо озираясь; его веснушчатое лицо с красноватым загаром некоторое время излучало не столько радость, сколько то затаенное страдание, с каким добывалась эта радость.

— Ничего, Петрован, ничего! — поняв состояние парнишки, ободрил его Леонид. — Вот таким же и я прибил к нашим танкистам и стал сыном танковой бригады. Ничего! Видишь, какой дядя вырос? Так вот, Петрован, — продолжал он вдруг несколько торжественно, — а ты, если хочешь, станешь теперь сыном тракторной бригады. Согласен?

— Сыном? — не сразу сообразил Петрован. — Я согласен, — добавил он тут же шепотом, растерянно опуская глаза.

— Думаю, не возражаете? — спросил Леонид, обращаясь к бригаде. — Берем парня?

— Берем! — в лад ответили разные голоса.

В бригаде все были детьми войны, и неожиданный случай с Петрованом вдруг оживил в их памяти детские годы, воскресил забытые чувства. Никакие слова не могли бы сделать того, что сделало предложение Багрянова назвать Петрована сыном тракторной бригады, — лица у всех внезапно стали суровыми и темными, будто от тучи, проходящей над Заячьим колком, повеяло пороховой гарью.

— Ну что ж, друзья, начнем? — спросил Леонид, вполне успокоенный настроением своей бригады. — Последнее наше собрание было накануне выхода в Лебяжье, тогда мы только мечтали о такой вот жизни в степи, — напомнил он и обвел рукой стан. — Сколько же это прошло? Десять дней?

— А воды утекло много, — сказал кто-то из круга.

— Весна, половодье, — с улыбкой пошутил Леонид и продолжал: — Все вы, друзья, помните, как на последнем собрании мы взяли обязательство вспахать и засеять весной тысячу двести гектаров целины, а потом поднять еще тысячу восемьсот — под пар. Обязательство большое, особенно для весны...

— Все помним, — сказал Костя Зарницын.

— Теперь мы остались без самого мощного трактора, — продолжал Леонид. — Когда его вытащат — неизвестно. Вряд ли скоро... Как же нам теперь быть? Как

нам выполнить свое обязательство? Оно ведь даже в газете опубликовано...

Немалых усилий стоило Леониду выговорить все это ровным, сдержанным голосом: воспоминания о затопленном тракторе всегда вызывали у него приступы бессильной ярости. Но, закончив свое слово и вроде бы истратив все силы на то, чтобы сдержаться, Леонид внезапно побледнел и, не желая того, опустился на скамью. Несколько секунд он торопливо и, казалось, испуганно обтирал платком лоб...

В это время из тучи, закрывшей весь небосвод над Заячьим колком, упало на стол несколько крупных капель дождя.

— Устанавливает норму высева,— пошутил Соболев при общем молчании.

— Вот сейчас как даст узкорядным! — тут же припугнул Костя Зарницын.— Кратковременно, до вечера!

— Дождя не будет,— возразил Черных.

— Товарищ бригадир, можно? — спросил Григорий Холмогоров, приподымаясь, и на его добром, но невеселом сером лице на секунду сузились холодноватые глаза.— О беде все мы тут думали... Как не думать! И нас, признаться, вот так же прошибало потом. А что тут придумать можно? У нас пять тракторов... Будем давать на каждый сверх нормы по два гектара — вот и выйдет, что наш «отец» вроде и не сидит в Черной проточине, а вместе со всеми в борозде! Вот и все мое слово!

— Не испытали броду, а полезли в воду,— неожиданно пробурчал себе под нос всегда задумчивый и скрытный Виталий Белорецкий, удивив бригаду не тем, что сказал, а тем, что заговорил о деле.

— О чем это ты? — медленно обернувшись, спросил его Холмогоров.

— Погнались за модой!

— Совсем непонятно!

— Я говорю, еще не пробовали, как работать на целине, а уже дали обязательство,— нервно и, к удивлению всех, не очень вежливо заговорил Белорецкий.— У нас везде такая мода: непременно дай слово, что перекроешь нормы! Если работаешь и знаешь дело — пожалуйста, давай! А тут совсем другой случай. Дали обязательство, когда еще и в глаза-то целины не видели! Нечего ска-

зять, отчудили! Нормы не берутся с потолка, а устанавливаются знающими людьми на основе опыта. А мы вон что: без всякой пробы, а уже взяли перекрыть нормы! Разве это серьезно? Ну ладно, мы по глупости взяли обязательство, а зачем же писать о нас в газете? Зачем поощрять глупых? Вот начнем пахать, тогда видно будет, может, и норму не вытянешь! Здесь ведь все-таки целина!

Случай был и впрямь необычный, а потому кто-то из ребят тут же поддержал Белорецкого:

— Все может быть! Норма тоже немалая.

— Уж лучше, конечно, без хвастовства.

— Лежать и так не будем! Только начать!

Внутренне не соглашаясь с Белорецким, Костя Зарницын между тем ради озорства немедленно не только поддержал его, но и постарался сгустить краски.

— Погодите, еще хватим здесь горя! — сказал он, весело подмигивая. — Эту целину сроду здесь не пахали! Вот здесь, около колка, она еще не очень крепкая, а пойди-ка подальше — на ней куртины этого... карагайника... Там засадишь плуг — наплачешься!

— Что ж ты ехал сюда, такой слезливый? — стреляя в Костю вороненым глазом, с издевкой спросил Ванька Соболев. — Сидел бы на печке в Москве!

— Во, опять! — не очень обидясь, воскликнул Костя Зарницын. — На, грызи меня, хищный зверь! И запомни: я наплачусь в борозде, а трактор, как ты, не брошу, будь покоен!

— Может, и не бросишь, а какой от тебя будет толк, если распустишь нюни в борозде? — продолжая издевательски усмехаться, проговорил Соболев. — Задел лемехом за куст карагайника — и в слезы, да?

— Смотрите на него! — пожав плечами, обратился Костя к бригаде; при этом его ресницы затрепетали, как на ветру, и голубые девичьи глаза расширились от удивления.

— На меня чего глядеть! — невозмутимо отозвался Ванька Соболев. — Я не собираюсь рыдать в борозде...

— Тьфу, смола! Что ты ко мне все липнешь?

— А ты хуже смолы ко всем липнешь!

— Это к кому же я липну? — закричал окончательно разобиженный Костя.

— Не кричи — кровь пойдет носом!

— У тебя скорее брызнет!

— А ну, попробуй, московская тля!

Не успел растерявшийся на минуту Багрянов схватиться, как перепалка была уже в разгаре. Пришлось прикрикнуть, чтобы положить конец ссоре.

— Да вы что, в самом деле? — заговорил он затем сердито и укоризненно, поднявшись у стола. — Очумели? Это еще что за грызня? Не стыдно?

— Третий день грызутся, — сказал Корней Черных.

— Что они тут не поделили?

— Черт их знает! Видно, такое, что не делится.

Леонид осторожно, будто невзначай, провел глазами по группе девушек и увидел, что одна из незнакомых ему сибирячек, появившихся в бригаде во время его болезни, с приятным лицом в редких, милых веснушках, освещенным тревожным светом темных очей, рдеет в кругу подруг, точно маков цвет. «Понятно, — сказал про себя Леонид и согласился: — Да, это не делится...» Потом Леонид около минуты держал под уничтожающим взглядом то Соболя, то Коэтью, невольно гадая, кому из этих двух парней отдает свое сердце сибирская красавица. В этот момент при тягостном молчании всей бригады на стол упало еще несколько отборных, тяжелых капель дождя.

— Все равно! — жестко выговорил Леонид, слегка опуская взгляд. — Чтобы в последний раз! Если пойдет зуб за зуб — не жди хорошего. А у нас впереди такие дела... Кто еще хочет говорить? Товарищ Краюшка, кажется, ты хотел?

— Удивляюсь я, и когда это Белорецкий поумнел? — начал Краюшка высоким тенорком. — Он говорит, что мы по глупости взяли обязательство, а о нас написали в газете... Выходит, он с тех пор поумнел и разобрался, что бригада зря дала слово, а мы так и остались недоумками? Ничего подобного, мы в своем были уме, когда давали слово! Зна-а-ем мы разные нормы! Где их ни устанавливают — им один конец! Долго не держатся. А нормы на целине, думаешь, заколдованы? Не молись на них — и дело пойдет! Вот почему трактористы, у которых есть опыт, взяли тогда повышенное обязательство, а остальные поддержали их — тоже не побоялись целины. А совсем, братец, не по глупости! Ты лучше разберись-ка, Виталий, может, тебе нормы показались большими только вот здесь уже, в степи?

— Не я один сказал, что и норму-то, может, не вытянешь,— возразил Белорецкий.— Тут многие говорили.

— Стой, дружище, меня не впутывай! — на сей раз очень серьезно заговорил Костя Зарницын.— И ты не понимаешь шуток? Это чепуха, конечно, никто не будет плакать в борозде!

— Ну и на план молиться нечего! — неожиданно разгорячась, закричал Белорецкий и сорвался со своего места; его худощавое лицо нервно передергивалось, а ноздри раздувались, точно от жары.— Кто-то дал план засеять тысячу двести гектаров, даже не зная, какая у нас бригада, какие в ней люди, и это уже закон, да? И что ни случись — не смей его трогать, да?

— Ну, а что же ты предлагаешь? — медленно спросил его Багрянов.

— Взять реальный план, только и всего!

— На сколько же гектаров меньше?

— Раз у нас утонул один трактор, надо просить, чтобы его долю исключили из плана,— ответил Белорецкий.— Разве это не справедливо? Если же останется старый план — нас заклюют, попомните мое слово! Мы всегда будем в самом конце сводки! А думаете, это легко? Разные бюрократы разбираться не будут: стоишь в конце сводки — значит, отстающий и, будь вежлив, подставляй шею!

— Это может случиться,— согласился Багрянов.

— Вот то-то же! А зачем нам такое удовольствие?

На минуту примолкла и задумалась вся бригада.

Медленно в безветрии проплывающая туча вновь принялась брызгать над станом, но очень скупно, точно отсчитывая капли. Они падали отвесно и били о брезент, будто дробины. На застывшей темной глади пруда замелькали пузыри. Все живое в степи замерло в тревожном ожидании дождя. Но уже чувствовалось, что туча скоро уйдет, так и не обмыв землю.

Леонид быстро поглядывал на сидевших и молчавших перед ним молодых людей. За те минуты, пока он слушал Белорецкого, с ним свершилось чудо: он будто незаметно встряхнулся и поборол слабость, делавшую его страдающим и некрасивым, и неожиданно снова стал самим собой; его усталое, бледное лицо заметно посвежело и помолодело.

— Значит, будем просить, чтобы нам урезали план? — спросил он негромко, но отчетливо, с ненавистью нажи-

мая на слово «урезали» и еще более молодея от своей ненависти.

— А что ж, законно,— быстро ответил Белорецкий, или не поняв бригадира, или отваживаясь до конца защищать свою точку зрения.

— Вообще-то, конечно, законно,— с едва сдерживаемым негодованием согласился Леонид.— Ну, а другие что думают?

Сидевший рядом с ним Корней Черных выложил на стол свои тяжелые, натруженные руки и сказал негромко:

— План нельзя трогать.

— Нельзя,— подтвердил Зарницын.

Очень быстро это слово обошло всех вокруг стола.

— Нельзя...

— Нельзя...

— Нельзя...

Даже Петька, поймав случайный взгляд бригадира, серdito надулся и помотал белой головой:

— Нельзя!

— Что-то я не вижу сторонников законности! — наслаждаясь своей иронией, спросил Леонид и расстегнул ворот кожаной куртки.— Признаться, и мне не хочется, очень не хочется начинать работу на целине именно с просьбы урезать план,— продолжал он затем, постепенно и лишь слегка возвышая голос.— Хороши комсомольцы! Только приехали — и давай искать законы! Там, конечно, все учтут и дадут нам, как говорит Белорецкий, реальный план. Мы выполним его в срок, а то и досрочно... Все будет тихо и благородно. Но, если сказать честно, никогда я не прощу себе, что, только выйдя в степь, я тут же трусливо попросил урезать план бригаде! Никогда я не найду потом покоя на целине! Не знаю, как другим, а мне стыдно будет за то, что я поступил «законно». Как хочешь, Белорецкий, а моей душе сейчас милее повышенный план! Все планы — только мечта. Но если мечта не дерзкая — грош ей цена! Пусть я не выполню план, но я останусь верным тем чувствам, с какими поехал из Москвы!

— Глубокая философия на мелком месте! Форс! — фыркнул Белорецкий.— Только и всего!

— Это настоящая бойцовская философия, скажу я тебе, дорогой дружище Белорецкий! — весело ответил Багрянов, похоже, радуясь тому, что Белорецкий уколол

его и тем самым позволил ему пустить в дело какое-то новое оружие.— И выдумана она, эта философия, конечно, не мною! Познакомился я с ней, если хочешь знать, еще на фронте. Не хотелось бы, да придется рассказать тебе один боевой случай... Однажды нашей танковой роты был дан приказ: с хода атаковать и занять деревню Утица — есть такая на Смоленщине, хорошо ее помню. И вот двинулась туда рота ночью, а перед той самой Утицей гиблые места. Наш «КВ», самый большой танк, по недосмотру как врезался в болото — и сразу до башни! Что делать? Такая надежда была на этот танк! Так ты думаешь, командир нашей роты, гвардии капитан Игонин, стал просить командование, чтобы ему урезали боевое задание, разрешили взять не всю Утицу, а три четверти ее? Нет, товарищ Белорецкий, никто в роте — ни гвардии капитан Игонин, ни его бойцы — даже не заикнулся о помощи или отмене приказа. Тяжелый был тот бой, очень тяжелый, а все же на рассвете Утица была освобождена полностью! Вот так-то было дело... А потом из той самой Утицы я увозил на повозке в санбат нашего капитана. Он совсем умирал, а все-таки говорил со мной. «Ленька,— говорил он,— хочешь жить человеком — не скули, как щенок, дай волю своей душе, дерзай, верь в свои силы!»

Голос Леонида Багрянова звучал уже по-прежнему, когда он говорил эти слова, и весь он, хотя у него и подрагивали ослабевшие руки, был уже самим собой — парнем отменно напористого и крутого нрава.

III

К вечеру где-то далеко, в иртышской стороне, разразилась первая, преждевременная, степная гроза. В крошечной мгле, окутавшей западный край земли, испуганно металась белая молния. Грома не было слышно, но легко было догадаться, как он сотрясает далекие целинные просторы. И хотя гроза, по всем приметам, не собиралась двигаться на восток, что-то все же тревожило Кулундинскую степь. Птицы здесь словно вымерли, и только белоснежные чайки, будто дразня и зазывая грозу в алтайские пределы, мятежно носились над степным раздольем.

Видение далекой грозы напомнило Леониду родную деревню и детство. С непередаваемым душевным трепетом он вдруг почувствовал себя крестьянином, со всем

тем, что живет в его душе ранней весенней порой: с радостным ощущением пробуждающейся земли, с нежнейшей любовью к ней, извечной кормилице, с тревогами о пахоте и севе, с раздумьем о сказочной земной силе и красоте...

До вечера Леонид успел испробовать разные дела, втайне наслаждаясь любой, казалось бы, самой простой работой: и обстругиванием досок, и забиванием кольев, и рытьем земли. Он радовался усталости во всем своем теле, помня, что именно такую усталость испытывал когда-то в деревне, он радовался мысли, что делает очень нужные дела, и с каждой минутой росла его гордая вера в то, что он со своими сильными руками совершенно необходим для этой безбрежной и диковатой степи.

Именно нетерпеливое стремление переделать как можно больше дел и заставило Леонида заговорить с Анькой Ракитиной, которую он случайно встретил у пруда. Оглянувшись по сторонам, Леонид не без смущения сказал:

— Слушай, Анька, можно тебя на минутку?

У Аньки испуганно округлились темно-карие, беспокойно зовущие глаза, но она тут же справилась с собой и, поведя плечом, с многозначительной улыбочкой пропела:

— Това-арищ бригадир, пожа-алуйста! Хоть на весь вечер! С нашим удовольствием!

Леонид поторопился сбить игривость гулены:

— Дело у меня.

— Все дела и дела? Даже ночью? — удивляясь и откровенно заигрывая, заговорила Анька. — Да ты инфаркт схватишь на этой целине! — И она, захохотав, прикрыла ладошкой ярко раскрашенный рот.

— Пройдемся? — кивнув головой, хмуро предложил Леонид.

Это вконец ошарашило Аньку.

— В степь? — спросила она тихонько.

— Можно и в степь... Недалече...

— Леня, золотце, да хоть на край света!

— Незачем так далеко, — пробурчал Леонид.

Ему не по себе было идти вслед за Анькой в сторону от стана, в густые вечерние сумерки, плывущие над степью. Он долго шел молча, боясь оглянуться и готовый провалиться сквозь землю. К своей беде, он не знал, как начать разговор: такие, как Анька, во всем неожиданны.

Тем временем Анька, по природному легкомыслию, совсем осмелела и дала полную волю своей беспокойной, грешной натуре. Она шла особой игривой походкой, то изнеженно выгибая стройный стан и точно напоказ выставляя высокую грудь под цветистым шелком, то внезапно повертываясь на одном месте, то приплясывая и проводя косыночкой над сухими травами: она была беспредельно уверена в неотразимости своей ветреной красоты. Леонид готов был схватить и убить Аньку за то, что она нарочно на виду у всей бригады разыгрывает перед ним любовь, но в то же время он не мог, к своему изумлению, не любоваться ее игрой, движениями ее ловкой и гибкой фигуры. «Ну и сатана в юбке!» — думал Леонид, безуспешно стараясь настроиться на сердитый лад.

Некоторое время Анька шла вдоль опушки Заячьего колка, а затем вдруг повернула в степь и здесь, немного утихомирясь, заговорила, не оборачиваясь назад:

— Да, никак не ожидала! Хотя зачем я вру? Ожидала. Давно ожидала. Люблю таких парней, как ты... — И она тихонечко пропела: — «Я девчонка неплоха, выбираю жениха...»

— Погоди, довольно! — грубовато потребовал Леонид.

— «Ах, довольно: сердцу больно...» — погромче пропела Анька и, вновь приплясывая, оторвалась еще дальше от Леонида; она явно наслаждалась сознанием своей неотразимости и, веря в то, что способна увлечь за собой и дьявола, не шла, а скорее порхала в вечерних сумерках.

— Уймись! — закричал ей Леонид.

— «Ты уйми — обойми...» — опять пропела Анька и захохотала своей поскладушке.

— Впрямь осатанела! — проворчал Леонид. — Стой! — крикнул он Аньке. — Отрезвись!

Дождавшись Леонида, Анька сказала:

— Чистоплюй ты и трус!

— Замолчи, дура, не ори на всю степь!

В угоду оскорбленному самолюбию Анька решила позидеваться над Леонидом.

— Ты ведь на войне был, так, может, инвалид? — неожиданно спросила она натурально-жалостливо.

— Да подавись же ты, окаянная, чем-нибудь!

Анька внезапно примолкла, повязала косыночку на шею, зачем-то отряхнула платье и двинулась было

мимо Леонида, но тот, поймав ее за руку, рванул назад:

— Стой, у меня же к тебе дело!

— Катись ты со своими делами ко всем чертям! — проговорила Анька усталым голосом, не особенно энергично отстраняя Леонида.

— Не могу, пока с тобой не поговорю...

— На собрании не наговорился? Да и какой может быть разговор между нами? О чем? О целине?

— Зачем о целине? Хотел спросить: тоскуешь ли о Дерябе? — не совсем уверенно начал Леонид, все еще сжимая руку Аньки: — Тоскуешь?

Анька удивленно захохотала и воскликнула:

— Ах, какой ты заботливый! А если тоскую?

— Тоскуешь — сходи к нему, разрешаю!

— Смеешься?

— Без всякого смеха!

— Вот чудо! Ушам своим не верю! — негромко проговорила Анька. — Да отпусти ты руку-то, она уж почернела... Ну и чудо-юдо, честное слово! Ничего не понимаю!

— Когда пойдешь? Завтра?

— Завтра не пойду, — ответила Анька. — Мне, может, хочется посмотреть, как целину начнем поднимать. Если и впрямь разрешаешь — пойду послезавтра. Значит, только за этим и звал? Чудно...

— Тут еще одно дело...

Леонид ласково схватил Аньку за плечи и, всматриваясь в ее лицо, приглушенным голосом попросил:

— Помоги! От тебя зависит...

— Ладно, говори, — сказала Анька.

— Будешь у Дерябы — смани его дружков в бригаду. Слышишь? Людей у нас не хватает...

— Как же их сманишь? Ты что? — ответила Анька.

— Околдуй!

— Ты что? За кого меня считаешь? — с силой оттолкнув Багрянова, Анька спросила: — Может, теперь и не пустишь?

— Почему же, раз сказано, — ответил Леонид, с трудом сохраняя самообладание и делая вид, что не придаст никакого значения вспышке Аньки. — У меня твердое слово. А насчет колдовства зря сболтнул, извини. Помоги так, от чистого сердца!

Анька презрительно свистнула и сорвалась с места.

..Встреча с Анькой, не принеся никакой очевидной пользы для дела, между тем придала возбуждению Леонида, не оставлявшему его весь первый вечер на стане, особый, мрачноватый оттенок. Он стал молчалив и необщителен. Впрочем, это никого не удивило: в бригаде почти все почему-то примолкли и построжили в этот вечер, овеянный дыханием далекой грозы.

И только от тихих, но зорких глаз Светланы не могла ускользнуть странная перемена в Леониде. Иногда Светлане казалось, что он чем-то сильно смущен и озадачен, чего-то опасается, что-то прячет в себе. Но разгадать, что происходит с ним, она не могла: ей никогда еще не приходилось видеть его таким странным.

Поздно вечером, когда бригада укладывалась на ночлег, Светлана, отправляясь в вагончик, осторожным взглядом поманила за собой Леонида.

Ночь была так темна, что даже белые березы, обступавшие стан, точно сгнули во мраке, и почему-то думалось — навсегда...

Дождавшись недалеко от палатки Леонида, Светлана прижалась к нему и вздрогнула.

— Жуть, какая ночь!

Они остановились близ вагончика. Оборвав разговор на полуслове, Леонид вдруг принялся без конца целовать ее лицо и шею.

— Погоди же... — сказала она негромко. — Что с тобой? Чудной ты сегодня...

Светлана тут же с удивлением почувствовала, как у Леонида мелко-мелко задрожали руки, которыми он держал теперь ее за талию и притягивал к себе.

— Ты пугаешь меня.

— Когда же, скажи, наша свадьба? Когда? — заговорил он возбужденным шепотом, склоняясь над Светланой и, видимо, стараясь разглядеть в темноте ее глаза.

Невольно отметив, что Леонид спросил об этом совсем не так, как уже спрашивал не однажды — не только с нетерпением, но и с какой-то странной горячностью, — Светлана успокаивающе погладила его грудь:

— Только приехали — и свадьба? Да еще в степи?

— Но когда же?

— Да ведь скоро, скоро...

— Когда же скоро?

— Вот у нас будет свой дом...

— Какой дом?

— Хотя бы палаточка, где мы одни...

— Наш дом — степь! — выпалил Леонид и вдруг разом оторвал Светлану от земли. — Хочешь, унесу в степь?

— Не надо, отпусти! — крикнула Светлана.

Всю ее била дрожь. Трясущимися руками она хваталась за борта распахнутой куртки Леонида...

IV

На редкость невеселым выдалось это долгожданное и — в мечтах бригады — заветное утро. Над всей степью, заслоняя солнце, очень низко несло грязную облачную рвань. Иногда землю осыпало мелким, холодным, колючим дождем. В озерах и солончаковых низинках вода плескалась, как мучное пойло; на волне держалась только чернеть, привычная к непогоде, а все другие утки забились в камыши и лабзы. Временами порывистый, пронизывающий до костей ветер так крепчал, что птицам почти невозможно было лететь; они упорно хлопали крыльями против ветра, снижаясь к земле, едва не касаясь травы...

Леонид проснулся в это утро точно от выстрела — он прозвучал где-то в глубине его существа. Судя по всему, его нисколько не огорчило, что природа припасла на сегодня непогожее утро, более того, со стороны могло показаться, что ему даже нравится такое утро. Взгляд его серых глаз был необычным — быстрым, пронзительным, и казалось, что он живет в каком-то особом вдохновении, способном в любую минуту бросить его в огонь.

— Не горячись, — попросила его Светлана.

Леонид едва приметно улыбался ей губами.

— Есть...

Ровно в семь Петрован начал из всех сил лупить какой-то железякой по старенькому отвалу, подвешенному на суке березы у пруда, и вся бригада шумно повалила из палатки, где завтракала по случаю ненастной погоды, к стоянке тракторов и машин. Над толпой, движущейся вокруг Багрянова, взлетел тенорок:

— Товарищ бригадир, жребий бросай!

— Жребий! Жребий! — подхватила бригада.

В нагрудном кармане Багрянова лежала особая памятка по агротехнике; в ней писалось: прежде чем пахать целину, ее необходимо дисковать — для облегчения работы тракторов при пахоте и лучшего сохранения в

ней влаги. «Стало быть, крепка же она, черт ее задери, если ее сначала изрубить велят!» — досадливо думал Багрянов, крупно шагая среди ребят. На машинной стоянке он остановился перед сцелами легких луцильников, вздохнул, сожалеюще произнес:

— Широкозахватный бы надо!

— Жребий!

Бросили жребий. Холмогоров и Соболев должны были начать дискование целины, остальные, позднее, — пахоту на подготовленных ими загонках. И тут же, не успев Багрянов надеть шапку, закипела работа...

Один за другим взревели моторы всех тракторов, и вскоре единый, в меру напряженный, приятный для слуха мощный рокот, приглушая шум ветра, расплескался по степи. Земля вокруг тракторов, разогревающих свои моторы, задрожала мелкой, но хорошо ощутимой ногами дрожью, и всем показалось, что она, будто сказочный корабль, тронулась в плавание. Бригада на минуту замерла, точно опасаясь чего-то, а когда наконец-то один из тракторов дернулся с места и ловко, как танцор, пускающийся в пляс, развернулся на гусеницах перед толпой, она очарованно ахнула и разразилась приветственной разноголосицей. Толпясь со всех сторон, ребята быстро прицепили к тракторам плуги и сцелы луцильников, и тракторы, гремя и лязгая железом, тронулись в один след в сторону от Заячьего колка. Следом за колонной около тридцати юношей и девушек в телогрейках и кирзовых сапогах, в полушубках и чесанках, с возбужденными лицами, почти все время бегом, обгоняя друг друга, смеясь и балагуря, двинулись в степь...

Распахнув на груди куртку, Леонид крупно шагал позади бригады, быстро поглядывая то вперед, то по сторонам; той некрасивости, что портила его вчера, точно и не бывало в его лице; он походил на бойца, захваченного яростным вдохновением атаки. Рядом с ним, шаркая по дернине старыми валенками в калошах и встряхивая отвислыми ушами шапки, вприпрыжку бежал разгоряченный Петрован; на бегу он поминутно старался взглянуть преданным взглядом в лицо бригадира, которого считал теперь другом до гроба, и все порывался о чем-то заговорить, да каждый раз захлебывался от ветра.

Шагая вслед за бригадой, Леонид вдруг, на удивление самому себе, совершенно отчетливо почувствовал, что сегодняшнее утро — это повторение уже чего-то ви^д

денного и пережитого. Что за неважение? Не столько памятью, сколько именно чувствами он отлично помнил, что точно так же, как сегодня, уже разливался когда-то над землей могучий гул, летели рваные облака, хлестал холодный ветер и временами мельчайшей ледяной крошкой било по левой щеке. Еще больше, чем внешними приметам, это утро было знакомо ему тем, как оно обжигало чем-то его существо. Никаких чудес быть не могло — не такова жизнь, чтобы повторять пройденное. И все же Леонид никак не мог отделаться от впечатления, что такое утро, как сегодня, уже отжило однажды в его душе и его крови. «Но когда же это было со мной? Где? — подумал он, немного обескураженный таким странным ощущением. — Да нет же, быть не может! Чепуха! Мираж!» Но той же минутой сбоку долетели до него какие-то Петькины слова; он оглянулся, увидел солдатскую шапку на Петьке и обомлел: да, было, было такое утро! Он, сын танковой бригады, Ленка Багрянов, вот так же, как Петрован, в солдатской шапке и шинелишке бежал по заросшему травой полю с санитарной сумкой и что-то кричал, захлебываясь от ветра; рядом с ним бежал незнакомый командир с автоматом в руках, а впереди них — метров за двести — двигались наши танки и пехота...

— Товарищ бригадир, а зачем ее дисковать? — закричал Петрован, видимо, не в первый раз. — Ее же и так пахать можно.

Нет, такое утро все же было первым в его жизни!

— Шагай, шагай! Так приказано! — ответил Леонид.

— А кем? — выравниваясь, крикнул Петрован.

— Начальством!

— А почему оно приказало?

— Как почему? Надо!

— А вот и не надо. Ее так пашут!

— Где же ее пашут? — сдерживая шаг, спросил Леонид.

— В Березовке пахали! — ответил Петрован, тяжело передыхая возле бригадира. — Я к тетке в гости прошлым летом ездил, своими глазами видел...

— И сразу пахали?

— Сразу! Только трещит!

— Сочиняешь ты, Петрован!

Тракторы остановились в полутора километрах восточнее Заячьего колка, под высокой вешкой с болтаю-

нимся на ветру пучком ковыля. Отсюда точно на север, где вдали едва приметно маячила другая вешка, должна была пролечь первая борозда на здешней целине.

Здесь было особенно ветрено и холодно. Степь лежала, как грязный войлок из верблюжьей шерсти, унылая, тоскливая, и лишь изредка то тут, то там вспыхивали на ней светлые трепетные пятна: несмотря ни на что, солнце кое-где на мгновение пробивалось к земле. В степных далях виднелись какие-то черные группы, вероятно тоже тракторные бригады.

Вокруг тракторов шумно.

— Погодка-то не радуется!

— Заверну-ула! В комок сводит!

— То-то бы в цехе сейчас!

Подходя к бригаде, Леонид крикнул Корнею Черных:

— Отсюда начнем?

— Отсюда...

— Из колхоза так никто и не едет?

В ответ Корней Черных только махнул рукой.

— Что ж, будем начинать без хозяев? — спросил Леонид и обвел рукой степь. — Поглядите-ка, что делается вокруг. Зашевелилась целина!

Он был нетерпелив и горяч.

— Может, чего-нибудь скажешь для начала? — вполголоса спросил его Корней Черных.

— Все уж сказано, чего там! Сегодня пусть другие митингуют по степи, а мы давайте так: молчком, мертвой хваткой — за дело! Верно, ребята?

Солнце вдруг осветило как раз тот кусок земли, где толпилась у тракторов бригада, и Леонид увидел, как мгновенно просияли все лица и загорелись ярким светом молодые глаза.

— Солнышко-то! — воскликнул он. — Поздравляет!

С первой же минуты начались неудачи.

Около двух часов тракторы таскали лушильники туда-сюда по загонке, но пользы от этого не было никакой: целина не поддавалась дискованию. На сухих, но чаще всего неровных местах легкие лушильники, подпрыгивая, разрезали, да и то не везде, кочковатые дернины ковыля и типчака, почти не трогая пахотный слой, а на сырых местах, которых было еще довольно много, диски так замазывало грязью и забивало травой, что секции батарей очень быстро превращались в гладкие катки. Через каж-

дые десять минут приходилось останавливаться и чем попало, зачастую голыми руками, очищать батареи. После такой горемычной работы верхний слой целины оказывался не искрошенным, как должно быть, а всего лишь местами исцарапанным — похоже, звериными лапами. Пробовали так и сяк менять угол атаки дисков — не помогло; добавляли груз в ящики — не помогло. Никто не мог придумать, как быть, и все только измучились за эти два часа.

Вгорячах Леонид Багрянов, еще недостаточно окрепший после болезни, больше всех намотался по степи, Мрачный, взопревший, он присел на раму луцильника, пучком ковыля обтер грязные руки и с минуту жадно курил, глядя себе под ноги. Он знал, что неудачи неизбежны во всяком новом деле, но почему-то не допускал мысли, что они атакуют его именно с первой же минуты работы на целине. Эта первая минута казалась ему священной, и ничто, по его убеждению, не должно было омрачать ее...

От Заячьего колка вдруг донесло стукоток мотоцикла. — Хмелько, — оглядываясь, сообщил Черных.

Галина Хмелько неслась на мотоцикле на предельной скорости, делая неожиданные крутые повороты.

— Ну и лихачка! — сказал Черных.

Соскочив с мотоцикла перед бригадой, Хмелько весело крикнула:

— Сусликов у вас — ужас!

Почти вся шубка Хмелько, крытая суконцем, и лыжные брюки кофейного цвета, заправленные в аккуратные сапожки из яловой кожи, были заляпаны грязью; смеющееся лицо тоже было в грязных брызгах. Галину Хмелько, видимо, нисколько не тревожило, какое впечатление она производит в таком виде.

— Дискуете? А что случилось? Почему встревожены?

Леонид поднялся с луцильника, мрачно пожал протянутую Хмелько руку, кивнул головой в сторону вешки:

— Взгляните, полюбуйтесь!

В сопровождении Багрянова и еще кое-кого из бригады Хмелько прошла метров сто по исцарапанной целине и, остановившись, проговорила:

— Это не дискование... Одно горе!

— Тогда скажите, какого же дьявола ваши ученые мудрят? — заговорил Багрянов, сердито заглянув в без-

мятежные синие глаза Хмелько.— Почему они заставляют заниматься пустыми делами?

— Да, рекомендовали дисковать...

— А чем ее дисковать, они подумали? — продолжал Леонид.— Вот мы попробовали и сразу видим, что легкие луцильники явно непригодны, а ведь тяжелых очень мало! Да и тяжелые... Подойдут ли они? Может, их еще больше будет забивать?

— Вероятно,— с улыбочкой согласилась Хмелько.

— Улыбаться тут нечего! — одернул ее Багрянов.— Эти ваши ученые, я слышал, сами еще спорят, дисковать или нет, а уже рекомендуют!

— Рекомендация не приказ,— возразила Хмелько.

— В том-то и дело, что их рекомендация неизвестно где стала приказом! — продолжал Багрянов.— Вы же знаете, что нам уже не рекомендовано, а приказано: дискуй — и точка! Что же получается? Сколько сегодня вот таких бригад, как наша, совсем зря таскают по целине луцильники, тратят время, силы и жгут топливо?

Он подозвал к себе Петрована и спросил:

— А ну скажи, Петрован: как надо пахать здешнюю целину?

— Пускать плуги — и все... — потупясь, ответил Петрован.

— Вот видите! — воскликнул Леонид, обращаясь к Хмелько.— Так что же делать будем, товарищ агроном? Бросать луцильники?

— Бросайте! — решительно ответила Хмелько.

— А если Краснюк встанет на дыбы?

— Скажем ему, что самое большое начальство — жизнь: она может отменять любые приказы.

Леонид нагнулся к Петровану, сказал:

— Давай плуги!

Вслед за Петрованом бросились все, кто в ожидании дальнейшего развития событий неотступно следовал за бригадиром. Багрянов и Хмелько остались одни и некоторое время, почему-то избегая глядеть друг на друга и делая вид, что мешает говорить ветер, молча шли к бригаде...

Первой все же заговорила Хмелько:

— А ведь я, товарищ бригадир, не была на совещании в Москве, где вырабатывались рекомендации по целине.— Она краем глаза взглянула на Леонида.— Вы разве не знали?

— Знал, ну и что же? — грубовато спросил Леонид.

— Зачем же вы закатили мне выговор за эти рекомендации, да еще при всей бригаде?

— Вероятно, как представителю науки — за компанию.

— А так ли? — усмехнулась Хмелько, и на ее лице засияла озорная улыбочка. — Вам почему-то хочется грубить мне... Это отчего?

— Если я с вами груб, то почему же вы не обижаетесь на меня? — спросил Леонид. — Мне кажется, вы даже повеселели от моей грубости.

Хмелько захохотала и ответила:

— Совершенно верно.

— А вы с причудами! — криво усмехаясь, уколол ее Леонид, но тут же втайне вынужден был признаться, что Хмелько, конечно, права: у него и в самом деле вдруг появилось безотчетное желание наглубить ей, словно ему хотелось что-то доказать своей грубостью. — Когда-то вы мне сказали, что я опрометчив, что от меня всего жди... — продолжал он после минутного раздумья. — А на что же способны вы со своими причудами? Если следовать логике, то ласковое обращение, наоборот, сделает вас грустной?

— А вы попробуйте изменить отношение ко мне, — лукаво предложила Хмелько. — Увидите сами.

— Рискованно, я верю логике, — ответил Леонид. — Кому нужен грустный агроном на целине? Нет уж, я лучше буду поддерживать ваше веселое настроение...

Бригада столпилась вокруг трактора Кости Зарницына, который стоял перед самой вешкой. Бестолковая возня с луцильниками на пронизывающем до костей ветру и первая неудача сделали свое дело: у многих уже погас в глазах тот горячий детский восторг, с каким они отправились сегодня за тракторами в степь, лица их посерели, стали озабоченней, чрезмерно звонкие голоса поутихли.

— У кого же легкая рука? — спросил Леонид, подходя к бригаде. — У тебя, что ли, Зарницын? Попробуем сначала одним трактором...

— Нет, мы тут решили так: пусть первую борозду ведет Черных, — ответил Зарницын. — Он сибиряк — родня целине. И потом, он человек опытный и военный: у него первая борозда петь будет, как струна!

Через минуту трактор, точно почувствовав властную руку Корнея Черных, огласил степь напряженно рокочу-

шим гулом, и Костя Зарницын, забежав вперед, повалил перед ним вешку с пучком ковыля. Именно это, казалось бы, ничтожное обстоятельство вновь зажгло восторгом глаза всей бригады — падающий к ее ногам пучок ковыля стал знаменем великого начала... Вся бригада, зашумев, двинулась к трактору напутствовать счастливца. Когда же трактор дернулся с места и плуг, разом осев под Костей, врезался всеми лемехами в целину, врезался и с хрустом потянул за собой тяжелые, непокорные пласты, не желающие ложиться в борозды, над бригадой загремела ликующая разноголосица и полетели в воздух шапки...

Но Леонид Багрянов, шагая рядом с плугом, замахал руками и сердито закричал на Костю:

— Углуби! Углуби-и!

Костя нагнулся, с силой повернул штурвал, и плуг, осев под ним еще ниже, начал сдирать темно-каштановый пахотный слой вплоть до красноватой глинистой подошвы. Но тут же, взревев, трактор забуксовал на сыром месте и начал отбрасывать комья грязи назад. Вся бригада мгновенно попятилась и приумолкла, а Виталий Белорецкий, оглядываясь, негромко произнес:

— Подберите шапки-то...

Плуг освободили, и трактор пошел дальше, но только стоило пустить лемехи на нужную глубину — опять началась буксовка: трактор зарывался в землю, но не мог двинуться с места.

При всеобщем угрюмом молчании сняли один корпус, и Багрянов, едва разжав стиснутые зубы, отдал приказ, не теряя времени, снять по одному корпусу со всех остальных плугов...

— Выходит, фактически остается четыре трактора, — негромко заметил Виталий Белорецкий, откровенно злорадствуя, сводя счеты с бригадиром за вчерашнее свое посрамление на собрании.

Он не дождался ответа.

Плуг с четырьмя корпусами трактор потащил вначале хорошо, и бригада опять было оживилась и зашумела, но вдруг перед лемехами полезла из земли, сверкая ледяными кристалликами, глыба, похожая на валун, и у плуга слегка погнулась ось. Этого никто не заметил вовремя, а через несколько метров попались кусты карагайника, и ось с треском лопнула.

Осматривали плуг, не веря своим глазам.

— Да, слаб плужок, не для целины! — виновато вздохнула Хмелько.

— Может, обождать? — угрюмо спросил ее Леонид.

— Не имеет смысла.

— Но что же тогда делать?

— Пахать надо мельче, вот и все! — вставил стоявший рядом Виталий Белорецкий.

— Боже вас упаси! — Хмелько даже порозовела. — Пахать только глубоко — с предплужниками и на весь гумусовый слой! Ведь в правилах ясно сказано...

— Там и о дисковании сказано, — с издевкой напомнил ей Белорецкий. — А на поверку — одна липа. Никакого дискования не надо. Значит, и здесь ошиблись ваши ученые...

— Ничего подобного! — запротестовала Хмелько.

— Обождите, товарищ агроном, может, и на самом деле чуток помельче брать? — заговорил Леонид. — Чуть помельче — и трактор пойдет хорошо.

— Ни в коем случае!

— Но почему же? Я сам читал, что некоторые ученые, наоборот, советуют пахать мельче: и тракторам легко, и меньше теряется влаги из почвы. Читали?

— Читала...

— А вон в Омске... — продолжал Леонид. — Там кое-кто из ученых только еще собирается делать опыты, чтобы узнать, на какую глубину пахать надо... Значит, сами не знают? Тоже читали?

— Тоже читала! — ответила Хмелько задиристо, и стало ясно, что она будет стоять на своем. — Очень странно, что эти ученые задумали такие опыты... Зачем они? Законы почвенного питания растений и без этого давно известны! Нельзя пахать мелко, нельзя! Если вспашете мелко, без предплужника, дернину сам черт не разделает! Измучаетесь, попомните мое слово! Сколько ее тогда ни дискуй, хорошо не разделаешь, а только перемешаешь с землей... Ну, а перемешал с землей — конец: урожая не будет!

— Почему же не будет? Пахали же так раньше!

— А какой урожай собирали? — Хмелько вплотную приблизилась к Багрянову и неожиданно строго посмотрела ему в лицо. — На сей раз послушайте меня как агронома! Разложение дернины происходит с помощью целлюлозных бактерий. Но эти бактерии, разрушая дернину, одновременно поглощают из почвы азот и фосфор,

без которых не может расти пшеница! Если же слой дернины снять предплужником и запахать его в борозду, целлюлозные бактерии не страшны. А поверх запакованной дернины мы уложим лемехами пахотный слой, где пшеничка будет питаться без всяких помех... Вот и весь закон! Вот и вся наука! Не хотела, да пришлось прочитать вам лекцию, чтобы вы не наделали здесь глупостей. Заранее говорю: тут шутки плохие. Будете отвечать!

— Ну, ладно, ладно,— примирительно заговорил Леонид, не только удивленный, но даже несколько пораженный и необычайной серьезностью Хмелько, и ее горячей напористостью.— Все ясно, товарищ агроном!

— Ну вот, теперь нам все стало ясно! — открыто издеваясь, проговорил Белорецкий.— А почему же омским ученым не ясно?

— Иди ты к ним, производи опыты! — едва удерживаясь от брани, сквозь зубы бросил в его сторону Леонид и мрачным взглядом обратился к Хмелько: — Но если нельзя пахать мельче, что же делать?

— Снимайте еще корпус,— ответила Хмелько.

— Еще один! Что же остается? — разводя руками, сокрушенно, вполголоса выговорил Леонид.

— Остается фактически три трактора,— поспешил уточнить Белорецкий.— И вдобавок хвастливые обязательства!

— Замолчи, зануда! — не утерпев, яростно обругал его Леонид, делая отбрасывающий жест рукой, но сам, отдав приказ снять с плугов еще по одному корпусу, тут же в сердцах плюнул в землю.— Тьфу, проклятое дело! Напахали!

Дружно, быстро подготовили к работе плуг Виталия Белорецкого: оставили на нем три корпуса, хорошо отцентрировали его, чтобы не перекашивало в борозде, и вновь попробовали... На этот раз Корней Черных легко рванулся к вешке, маячившей вдали. Трактор шел без всяких помех, оставляя позади далеко видные в степи густые маслянисто-черные волны. Воистину запела, как струна, первая борозда на целине! Некоторое время бригада явно не верила своим глазам и ушам. Но первая борозда, туго натянутая до середины загонки, зазвела на целине вовсю, и тогда бригада, забыв о всех горестных треволнениях, с дикими криками радости опять кинулась за трактором...

Перекипев до изнеможения, перестрадав всей своей душой, Леонид замер в борозде с необычайно заблестевшим взглядом. «Ну, слава богу, начали! Начали!» — беззвучно прошептал он вслед удаляющейся бригаде, видимо совсем не замечая, что пот градом катится с его лица. Да, первая борозда, несмотря ни на что, все же пела сегодня на целине, как струна, и ее слушала вся степь! Вот и сбылось то, о чем так долго и страстно мечталось! Схватив ком влажной земли, Леонид вдруг быстро пошел вперед. Крупно шагая первой бороздой, он жадно вдыхал запах рыхлой, пахучей земли, размятой в руках, и чувствовал, что вместе с этим запахом что-то новое входит в его жизнь...

V

Пройдя первой бороздой до конца клетки — ровно два километра, — Леонид Багрянов увидел перед собой большую впадину, которая до этого была скрыта от глаз, и в центре ее — круглое пресное озеро, обложенное непроходимыми камышовыми дебрями, — в таких можно заблудиться, как в тайге. На ближнем берегу озера виднелись приземистая халупа, видимо из самана, и сарай с раскрытыми крышами; невдалеке бродили, рассыпавшись по голой низине, табун лошадей и десятка два овец...

— Там кто-то живет? Тот самый Иманбай? — спросил Леонид у Хмелько, когда вся бригада, сопровождая трактор, двинулась обратно.

— Он самый, — ответила Хмелько. — До озера ваши земли, за озером — павловских бригад. — Она взглянула на Леонида и спросила: — Ведь вы еще не осматривали свои владения? Хотите, покажу? Я все границы знаю.

— На мотоцикле? — спросил Леонид.

— Уверю, риск небольшой, — с привычной развеселой улыбочкой ответила Хмелько. — Зато быстро осмотрите все границы. А меня Северьянов просил узнать, когда Иманбай перегонит табун на новое место.

— Что ж, после обеда поедем, — согласился Леонид.

Около полудня были пущены все тракторы. Они разошлись по своим загонкам на двухсотгектарной клетке и работали безотказно. Почти два часа Багрянов и Черных помогали трактористам прокладывать первые бороз-

ды, а прицепщиков учили регулировать плуги и брать лемехами весь пахотный слой — к сожалению, он был неодинаков на клетке, и это сильно осложняло дело. Половина бригады — первая смена — обедала в борозде, а после обеда Леонид, несколько успокоенный тем, что начало все же было сделано, выехал с Хмелько осматривать границы отрезанного бригаде степного массива.

К этому времени ветер заметно ослабел и, хотя все еще неслись рваные тучи, солнце пробивалось чаще и светило сильнее. А на западе, по горизонту, уже текла тихая реченька чистой весенней голубизны.

...Иманбай покидал Лебединое озеро.

Шли последние сборы. Перед дверью в низкую, раздавшуюся вширь халупу из самана с крошечными окошечками, похожими на застекленные норы, стояла серая кобыла Иманбая, запряженная в рыдван; вороной жеребенок, изгибаясь, то и дело толкал морду с розовыми влажными губами под оглоблю, стараясь изловчиться и добыть материнского молочка... На рыдване, упиравшись ногами в передок, на рваной кошме сидела немощная, дряблая старуха, закутанная в потертую, изношенную овчинную шубу и в круглой зимней шапке, отделанной мерлушкой. Старуха держала в руках медный закопченный чайник и, уставясь в даль невидящим и бесстрастным взглядом, спокойно и безутешно плакала горючими, бесконечными слезами.

Сам Иманбай, высохший и черный, как мумия, в рыжей жеребковой шубе, овчинных штанах и лисьей шапке с торчащими вверх ушами, и пожилая женщина, жена табунщика, тоже в зимней одежде, почти неотличимой от мужской, таскали из халупы и укладывали в рыдван, позади старухи, разный домашний скарб: котел, деревянные чашки, ведра, кожаные мешки, бараньи шкуры и изъеденные молью кошмы...

У самого хлева, примыкавшего к жилью, кругом обложенного свежим навозом, бьющим в ноздри острым запахом, молодой парень и девушка, одетые более легко и современно — в лыжные костюмы и ватники, — седлали двух молодых жеребчиков, рыжего и солового, и о чем-то потихоньку секретничали.

Непрошенных гостей Иманбай встретил весьма неприветливо и некоторое время, как будто их не было рядом, поспешно занимался своим делом, изредка лишь перекидываясь отдельными словами с женой. Но все же он не-

заметно раза два взглянул на Багрянова; Хмелько он знал, и она не интересовала его. Иманбай сразу догадался, что молодой и не по годам крупный парень в поношенной кожаной куртке, несомненно, тот самый бригадир из Москвы, который уже начал запахивать его пастбища. Зачем он приехал?

Леониду было неловко и неприятно оттого, что он оказался здесь в эти минуты: грустно было видеть, с какой болью табунщик и его семья покидали родной очаг, обжитое место...

Уложив барахлишко и перевязав его веревкой, Иманбай сказал негромко, видимо, самому себе:

— Болды!¹

Жена табунщика взяла лошадь под уздцы и повела от халупы, и только теперь Иманбай, видимо смирив что-то в себе, повернулся к Багрянову и Хмелько, которые в выжидательных позах стояли у мотоцикла.

— Ваш апрель — пустое слово, наш апрель — большой месяц! — сказал он тоном выговора и укоризненно сощурил маленькие, кремнисто мерцающие глазки, чем-то похожие на окошечки в саманной халупе. — Грех обижать лошадка такой месяц!

— А кто же их обижает? — смущенно спросил Леонид.

— Ты! — не задумываясь, выпалил Иманбай. — Сухой лето обижал, худой зима обижал, теперь — ты... За чем гонял лошадка соленый земля?

— Что вы, да разве я гоню?

— Ты пришел целина — ты гонишь!

— Да живите вы, кто вас гонит? — заговорил Леонид, веря и не веря в серьезность разговора. — Вы можете прожить здесь еще недели две, а то и больше. Никому вы не мешаете. И лошадей, пожалуйста, пасите. Вон сколько места!

— Не мое место! Твое место! — упрямо и обиженно пробормотал Иманбай, и стало ясно, что он уже до предела растравил себя своей обидой. — Наш апрель не кончался — лошадка туда пойдет. — И он махнул рукавом на восток.

— Но сейчас же еще холодно! Где вы будете жить?

— Мы живем всякий место! — гордо произнес Иманбай.

¹ Хватит! (казахск.)

— На Бакланьем есть рыбацья избушка,— пояснила Хмелько.

— Собачья избушка! — с ненавистью поправил Иманбай. — Свой дом, — сказал он вдруг с гордостью и простер руку в сторону своей халупы, — вон какой дом бросай, живи чужой собачья избушка! Чей такой закон?

— Она ваша, собственная? — спросил Леонид, кивнув на халупу.

— Моя, собственна! — вдохновенно подтвердил Иманбай, и его зрочки на мгновение блеснули особенно ярко. — Сам делал, своя семья! Глина месил, дверь делал, рама, крыша — все! Все лето работал! Вот! — И он выбросил вперед небольшие кулаки, обтянутые заду-белой, потрескавшейся кожей.

— Ну, так вам, вероятно, заплатят за нее?

— Кто платит? Колхоз платит? А где деньга? Где деньга? — подступая к Леониду и вытягивая морщинистую шею, быстро заговорил Иманбай. — Ты прогонял — ты давай деньга!

— Слушай, Иманбай, — вмешалась Хмелько. — Зачем же с него-то требуешь? Целина-то чья? Колхозная? Колхоз и заплатит. Да ведь правление уже постановило, разве не знаешь?

— Знаем, знаем, все знаем! — ответил Иманбай, замахав перед собой руками. — Председатель-та сказал: деньга нет — трудодень писать будем! Зачем мне трудодень? Ты деньга дай! За работа деньга надо!

Он вдруг как-то странно переменялся в лице, точно увидел что-то другое на месте Леонида, угрожающе вскинул руки и, вытягиваясь на носках, дико, со слезами на глазах прокричал:

— Ант аткир! Ант аткир!¹

Иманбай был в таком иступлении, что Леониду показалось, он вот-вот упадет на землю. Но табунщик, весь в слезах, круто повернулся и, сильно размахивая руками, быстро пошел следом за удаляющейся в степь телегой. Сын и дочка Иманбая, верхом на молодых жеребчиках, уже тронули с места бродивший вдали табун молодняка...

Постояв некоторое время с опущенной головой, Леонид побрел бесцельно в сторону озера. Плоские берега

¹ Будь проклят! (казахск.)

его были залиты вешней водой, и здесь, на небольшой волне, среди торчащих кустиков куги, раскачивались стайки чернети; подальше начинались желто-белесые, высоченные, кое-где прибитые ветрами камыши, скрывающие главное плёсо,— там голосисто перекликались гуси...

Когда нога стала слегка вязнуть, Леонид остановился и, всматриваясь в просветы среди зарослей камыша, где, вероятно, были тропы, проложенные летом конями, стараясь увидеть на озере гусей, задумчиво произнес:

— Проклинал он меня, что ли?

— Ой, да не переживайте вы, ради бога! — недовольным голосом воскликнула Хмелько.— Если здесь распутить нервы, зачахнешь в одно лето!

— Но вы слышали, как он кричал?

— Да, ему, конечно, нелегко...

Несколько стаяк чернети одна за другой снялись с воды и быстро скрылись из виду в степи; через минуту над тем местом, где они отдыхали, прошел, искусно планируя крыльями, буро-седоватый лунь.

— Да, надо бы уехать в Казахстан,— негромко сказал сам себе Леонид.

— А чем там лучше? — спросила Хмелько.

— Там большой простор. Знай паши — никого не потревожишь, кроме птиц, никто тебе слова не скажет...

— Ну и что же? Очень нравится такая идиллия?

— Вообще, вероятно, интереснее в безлюдной степи...

— Интересно там, где трудно, не правда ли? — спросила Хмелько.— А какие же трудности — поднимать целину в пустой степи? Паша да паши! Холодно жить в палатке? Нет дров? Нет воды? Скучно вдаль от людей? — Она небрежно усмехнулась.— Подумаешь, трудности! Не так жили и работали во время войны! Строиться и обживаться в пустой степи — вот это действительно трудно... Ну, а здесь совсем наоборот: здесь нелегко поднимать целину. Вот мы только явились сюда, а видите, как взбулгачили село?

— Вот именно — взбулгачили.

— И очень хорошо, интересно! — задорно продолжала Хмелько.— Здесь не жди тихой степной благодати! Здесь поднять целину — значит перестроить все хозяйство. Это сложно и трудно. Тут не обойтись без шума, а то и драки.

— Обрадовала! — криво усмехнулся Леонид. — Я думал, мне доброе слово скажут за работу, а на меня все косятся и кричат. Приятно? Да еще, оказывается, могут морду набить за усердие...

— Сегодня набьют — завтра спасибо скажут, — ответила на это Хмелько. — Так часто бывает в жизни. Вы только поменьше переживайте. Плюньте на всех и делайте свое дело!

— Но правильно ли задумано это дело?

— Правильно! — горячо воскликнула Хмелько. — Вот вы поднимете целину и тогда увидите, как здесь будет...

— Почему же здесь так шумят?

— С целиной не хотят разлучаться. Старая любовь!

— Но пастбищ-то в самом деле остается мало?

— Ерунда! Кого вы слушаете? — Хмелько даже загорячилась немного. — Лебяженцев, которые привыкли вот к этим раздольям? Или Иманбая и Бейсена, которым, может быть, все еще снится кочевая жизнь? По их представлениям, пастбищ останется действительно мало, а на самом деле за глаза хватит. Надо только навести порядок на этих пастбищах. А вот сенокосные угодья — те да, все пойдут под плуг! Но не думайте, что это страшно. Ничуть! — Она вдруг ударила каблуком сапога в землю, да так, что комья полетели на несколько шагов вперед. — Я вот покажу этим крикунам! Разорались! Попомните мое слово: поплачут они, поорут, а осенью скажут нам спасибо.

Галину Хмелько, видимо, не на шутку встревожили разочарования и сомнения Багрянова — она даже покраснелась, стараясь разбить их до конца: ей, вероятно, дорог был тот Багрянов, который сегодня шел первой бороздой, разрыхляя в руках поднятую плугом землю... Она еще раз ударила каблуком о землю и крикнула сквозь зубы:

— У-у, бисовы диты! Крикуны!

Слушая Хмелько, Леонид невольно вспомнил то утро, когда она, зайдя к Светлане, рассматривала на ней платье и распевала на все лады о модах. «Вот тебе и модница! — подумал он теперь о Хмелько с тем же неожиданным удовольствием, с каким думал о ней недавно в степи, в памятный день знакомства с целиной. — Гляди, какая... даже разгорячилась! Эта даст бой!» Но если он

тогда не придавал никакого значения своему удовольствию, то теперь оно, это удовольствие, вдруг насторожило его. «А вообще-то что же тут особенного? Агроном есть агроном! — поспешил охладить он свое странное удивление. — Агроному положено быть таким! Здесь вислоухим не место!» Но он не мог не почувствовать собственной невольной хитрости. В те минуты, когда Хмелько увлеченно говорила о деле и ударила ногой о землю, она нравилась ему уже не как агроном, а просто как девушка... Вместе с тем Леонид не мог не испытывать благодарности к Хмелько за то, что она, отдавая весь жар своей души, старалась рассеять его тревоги. «Хорошо все же, что она здесь агрономом! — подумал Леонид, ковыряя носком сапога землю. — Дело знает, да и девка — огонек! С ней как-то легко, просто чудо...»

Хмелько вдруг тронула его за локоть и крикнула:

— Смотрите, смотрите!

Не поняв второпях, куда смотреть, Леонид начал вертеться, оглядываясь по сторонам, и тогда она, схватив его под руку и, вероятно, в безотчетном порыве прижимаясь к ней, сказала со смехом:

— Да вон, чудак, гуси!

Огромная стая гусей, поднимаясь с озера и выстраиваясь для полета, гоготала на всю степь...

Часа два они носились на мотоцикле по влажной, обдуваемой ветром степи: осмотрели границы бригадного массива да заодно побывали — ради знакомства — на соседних полевых станах целинников, в том числе у Виктора Громова, который обосновался на голом месте, километрах в пяти на запад от Заячьего колка. Везде сегодня, точно по сговору, началась работа, и, конечно, тоже не гладко: одни все еще мучились, пытаясь дисковать землю, другие встревоженно метались вокруг тракторов и плугов, устраняя разные неполадки. Посмотрев, как идет дело у соседей, поговорив с ними, Леонид убедился, что разные неполадки подряд у всех и нет ничего страшного в том, что они начались в первые, священные минуты работы на целине. Эта поездка окончательно успокоила его и вернула ему то состояние, какое он испытал, шагая первой бороздой.

Вместе с тем эта поездка внесла и что-то новое в его отношение к Хмелько. К тому удивлению, какое он с удо-

вольствием испытывал сегодня перед ней, когда она говорила о деле, все чаще и чаще примешивалось бездумное любование ею как редкостной девушкой. В одном случае он любовался ее поразительным умением с необычайной легкостью заводить знакомства и всем немедленно нравиться своей простотой и неистощимой веселостью, в другом случае — смелостью в решении различных вопросов, поставленных жизнью; в третьем — ее бесстрашной ездой на мотоцикле, презрением к опасности; и во многих других случаях — ее счастливым, певучим голосом, ласково-озорной улыбкой и знойной, сияющей, зовущей морской синью глаз... В те секунды, когда Леонид ловил себя на этом, ему становилось нестерпимо стыдно, будто он вдруг осознавал, что нечаянно стал вором, и тогда он, словно защищая что-то святое в себе, готов был наругать Хмелько. Но такое безотчетное сопротивление ее очарованию почему-то неизменно и незаметно сменялось еще большим, чем прежде, любованием удивительной казачкой.

На пригорке они остановились, чтобы осмотреть куртинки карагайника, — низенький, но необычайно крепко сидящий в земле кустарничек был очень опасен для плу́га. Вокруг лежала изрытая сусликами, засоренная бурьяном целина.

— Крепкое место! — покачав головой, сказал Леонид.

— Хлебнете здесь горя, хлебнете! — очень весело, задоря Леонида, подтвердила Хмелько и, приплясывая, пошла между кустами карагайника.

Вероятно, она и знать-то не хотела ничего плохого на свете. До этого дня она каждому встречному всем своим видом говорила, что ей легко, приятно и весело жить; теперь она добавляла, что ей, кроме того, жить стало бесконечно радостно. Стая гусей, которая поднялась с Лебединого озера, точно унесла с собой все остаточки ее мельчайших тревог. В тот самый чудесный момент, когда она, спохватившись, увидала, что прижимается к руке Леонида, и поняла, что он терпит это и не отстраняется, она как бы зажила совсем новой жизнью, заполненной одной только надеждой на счастье.

— Ой, взревете здесь! У-ужас! — обернувшись, закричала она счастливым голосом, и оттого, что встала против солнца, белозубое и синеглазое лицо ее засияло ослепительной улыбкой.

Не надо бы Леониду смотреть на нее в эти секунды, ой, не надо бы! Но он не знал еще, как опасно любоваться женщиной, которая живет надеждой на счастье. Он взглянул на Хмелько, освещенную солнцем, и вдруг что-то странно дрогнуло в нем, какое-то тревожное чувство пронзило и ожгло его всего, до последней кровинки, и некоторое время, точно в веселом опьянении, он не мог оторвать от нее лихорадочного взгляда.

Трезвел он медленно, весь сгорая со стыда.

— Чему же вы рады? — крикнул он грубовато.

— Всему на свете! — долетело в ответ.

Хмелько тут же двинулась было дальше, но тотчас же впереди, за кустами карагайника, почти одновременно поднялись, тяжело хлопая рыжими крыльями, орел и орлица. Они медленно отлетели недалеко в сторону и вновь опустились на землю, прискакивая по ковылю. Хмелько повернула обратно и, встретясь с Леонидом, забавно щурясь, заговорила приглушенно, но восторженно:

— Здесь у них гнездо, да? Вот посмотреть бы!

С нестерпимым чувством стыда и в полной растерянности Леонид вынужден был признаться себе, что отныне Хмелько нравится ему неотвратимо и тревожно. Теперь ему тем более хотелось быть жестоким с ней, и он заговорил иронически:

— Удивительны вы сегодня, просто чудо!

— Чем же именно? — весело насторожась, спросила Хмелько.

— Без всякой видимой причины счастливы.

— Ой, что вы! — воскликнула она и засмеялась влюбленным смехом.— Я ведь уже говорила вам: я только жду свое счастье!

Леонид вспомнил первый разговор с Хмелько в степи и невольно повторил вопрос, который задавал ей тогда:

— Что же в самом деле будет с вами, когда вы дождетесь своего счастья?

— Вы это можете легко узнать,— быстро ответила Хмелько.

— Я? Каким же образом?

Леонид произнес это в каком-то минутном бездумье, но тут же спохватился и понял, что Хмелько давно уже любит его и что теперь, не заметив этого раньше, позволив ей любить себя, он был в тяжком ответе за ее страстное ожидание счастья.



**ГЛАВА
ПЯТАЯ**



В середине марта матерая волчица вернулась с брачного гона в родное логово; следом за ней пришел могучий и свирепый волк; он недавно загрыз насмерть ее прежнего друга. Логово было старое, хорошо обжитое в прошлые годы — просторные норы на сухом пригорке, среди густых тарначей; рядом пресное Лебединое озеро — чудесный водопой на все лето, вокруг в бескрайней степи — вволю мелкого зверья, гнездящейся на земле птицы и всякого гулевого скота.

В свое время у волчицы появилось потомство: восемь темно-бурых головастых волчат. Недели три заботливый отец семейства в одиночку промышлял по ближайшей степной округе. Он всегда возвращался с туго набитым брюхом и, стоило только волчице лизнуть его в губы, отрывал ей добрую порцию мяса. Недавно волчата прозрели, а вчера волчица вместе с волком впервые ненадолго покинула свое гнездо, чтобы полакомиться только что вылезшими из нор после спячки жирными сурками да молодыми зайчатами. И вот тут-то она узнала, почему волк, хотя и возвращался всегда сытым, вел себя в логове беспокойно: вокруг в степи поселились люди...

Сегодня утром волчью семью напугал непривычный гул в степи. Его доносило с разных сторон. Весь день волчица, прислушиваясь, скулила в своем гнезде и по минутно облизывала щенят, а волк ошалело метался вокруг логова и, случалось, рвал когтями дернину. Когда же наступила ночь, звери осторожно вышли из крепки тарначей на чистень и тут же припали к земле от ужаса: вокруг, по всей нестерпимо гудящей степи, в кромешной мгле двигались в разные стороны огни, словно бы захватывая их в кольцо. Волчьей чете стало так жутко и тоскливо, что захотелось взвыть.

Через минуту, опомнясь, волчица была уже в логове. Схватив в зубы одного волчонка, она выскочила из тарначей и бросилась наметом из огненного ада на восток, в единственный прогал, за которым лежала темная ночь. Она хорошо знала здешние места. Остановилась она лишь километрах в трех восточнее Заячьего колка, на залежи, заросшей густым бурьяном, недалеко от ни-

зинки с полой водой. Облюбовав место для нового гнезда, волчица покаталась по земле, обтерла о примятые травы соски, а затем уложила и облизала детеныша. Волк, прискакавший следом, почему-то с виноватым видом стоял в стороне. Когда волчица бросилась обратно к старому логову, он вновь решил следовать за ней, но тут же был сбит с ног и впервые узнал, какие острые клыки у его подруги. Застонав, волк отбежал к волчонку и е ощеренной мордой, осторожно рыча, лег на землю.

До полуночи металась по степи матерая волчица, перетаскивая детенышей в новое логово...

II

Вечером Анька Ракитина уехала в Лебяжье, чтобы на следующее утро быть у Дерябы, а вместо нее на прицеп сел сам Леонид Багрянов. Здесь он впервые узнал, как тяжела работа прицеппщика. Он следил за плугом почти безотрывно: очень часто попадались то впадины, то неоттаявшие места, то участки со слабым гумусовым слоем, и по этим причинам приходилось без конца регулировать заглубливание корпусов. Нельзя было оторваться от штурвала и дать отдых онемевшей спине. Руки Леонида к полуночи огнем горели от натуги. Сиденье было жестко и неудобно, штурвал — тяжел в действии. Вдобавок от нестерпимого холода, осевшего с вечера в степи, зоченело все тело и больше всего — ноги в сапогах. Стараясь размяться и согреться, Леонид раза три все же соскакивал с плуга и, горбясь, тяжело волоча непослушные ноги, бежал рядом по целине или бороздой. Ванька Соболев зазывал его погреться в кабине трактора, предлагал сменить на прицепе, но Леонид от всего этого категорически отказался — должно быть, работал не только по нужде, но и с какой-то особой целью. Он не задержался, даже увидев во тьме Корнея Черных, который вернулся из МТС с новой осью для сломанного плуга. Приказав ему немедленно пустить трактор Кости Зарницына, он тут же бросился бегом догонять свой плуг.

Горячий, азартный, Леонид с увлечением, даже с упоением, делал трудное дело, втайне радуясь, что оно занимает все его внимание, все силы и мысли. Не же-

лая в этом сознаться, он очень боялся думать о себе. В те редкие минуты, когда безотчетно отвлекался от работы, он вспоминал то картины сегодняшнего дня, то погибшую Хмелевку, то шумные улицы Москвы. Перед ним временами быстро мелькали разные знакомые лица. Но он был счастлив, что воспоминания и видения пролетали, как осенние паутинки... Всякий же раз, когда он как бы оказывался перед той гранью, за которой начинались раздумья о себе и своей жизни, он чувствовал себя в растерянности перед самим собой и мгновенно начинал испытывать непривычную, щемящую боль где-то в глубине души. Он готов был работать до упаду, лишь бы не испытывать этой страшной боли и уберечься от дум, которые подкарауливали его этой ночью.

В половине второго по расписанию полагался получасовой перерыв на обед. Почти точно в это время Ванька Соболев вышел на ближний к стану конец загонки. На поворотной полосе в свете фар вдруг оказалась телега с дедом Ионычем и Тоней Родичевой.

Соболев заглушил трактор и выскочил из кабины на землю. Около него тотчас же появился Леонид Багрянов. Вероятно с непривычки слегка оглохнув от тракторного гула, он закричал, хватая Соболева за грудь.

— Вот это рванули! Догадываешься?

— Сколько же, думаешь, сработали? — спросил Соболев.

— Просто чудо, Иван! За пять часов на каждый корпус по гектару. Три гектара смахнули! Ты понимаешь, значит, даже тремя корпусами мы можем давать за смену полную норму. Вот тебе и номер! А если поставим четыре корпуса?

— Не ошибся... без замера-то?

— Чудак-человек!

Закуривал Леонид с большим возбуждением.

— Руки-то... — заметил Соболев. — Вроде кур воровал?

— Ужасная работа! — тяжело проговорил Леонид. — Сотни тысяч людей в сельском хозяйстве мучаются по вине нашей техники. Расщепляем атом — и не имеем навесных орудий. Убираем хлеб комбайнами — и ворошим его лопатами. Дичь! Непостижимо! Вот этот плуг... Я вижу его в работе один день, и все

его недостатки — как на ладони! Поставь диски на каждый корпус, а не только на задний, и он будет резать целину за милую душу! Дай ему отвал, похожий на долото, и пласт сам будет ложиться на дно борозды! А где же наши конструкторы?

— А ты вот возьми да и напиши куда следует, — предложил Соболев.

— Обязательно! Я этого так не оставлю!

Позади раздался голос Ионыча:

— С зачином вас, ребята!

— Спасибо, папаша! — ответил Леонид.

— Ну и дела-а! — удивленно протянул Ионыч. — Ты гляди, какая картина! — Он провел рукой, указывая на рассыпанные в ночной степи, как на морском рейде, бесчисленные огни. — Загудела целина!

Старик тут же отошел к своей телеге, а вместо него из темноты вышла с корзиной и чайником Тоня. Она только второй день видела бригадира, пока еще стеснялась его и потому, несмело остановив на нем свои очи, негромко предложила:

— Подзаправьтесь немного, а то ведь голодно...

На Ваньку Соболя она не взглянула.

— А что у вас? — мягко спросил ее Леонид.

— Ка-аша! — Тоня виновато улыбнулась. — С молоком.

— А из колхоза так и не привезли ничего?

— Не привезли...

— Утром поезжайте в Лебяжье и требуйте мяса, — сказал Леонид. — Скажите председателю: раз отощалых овец и телок нельзя резать, пусть режет свинью! Он ведь должен знать, что при такой работе нельзя без мяса.

— А свиней не разрешают резать.

— Кто не разрешает?

— Закон...

— Кормить надо людей, которые работают! Вот закон всех законов! — возвысив голос, проговорил Леонид. — Объясните ему, Тоня, что, если плохо кормишь рабочих людей, они плохо работают. — И мрачновато добавил: — Давайте кашу. Ослаб что-то...

— Я одним ружьем снабжал бригаду лучше, — заговорил Соболев в надежде, что Тоня невольно подтвердит это, невольно вспомнит о последней встрече в степи, и тогда наступит конец их размолвке.

Но Тоня молча загремела посудой...

Когда Тоня уже собралась к двум соседним тракторам, только что вышедшим с загонки, Соболев понял, что она так и уйдет, не сказав ему ни слова, и не мог больше терпеть.

— Торопишься? — спросил он ее с обидой в голосе.

— А как же? Всех накормить надо.

— Всех-то даже кашей кормить не стоит.

— Кого же мне прикажешь обделить?

— Известно, тех, кто почти не работал.

— Это ты о Зарнице?

— Хотя бы и о нем!

— Ему последнему — со дна, — ответила Тоня, сухо усмехаясь в темноте. — Одно масло.

— Торопись тогда, подмазывай! — не сдержав себя, с ненавистью посоветовал Соболев, тут же кляня себя за свою грубость.

— Обрежь себе язык, — тихо, но слегка дрожащим от обиды голосом ответила Тоня. — Может, человеком станешь... — И зашуршала сухой травой, но через минуту, сдержав шаг, добавила из темноты: — Больше не лезь мне на глаза, слышишь?

Берясь за алюминиевую миску с кашей, Леонид пожурил Ваньку Соболева:

— Зачем же ты обижаешь девушку? Нехорошо.

— Заслужила! — процедил Соболев сквозь зубы.

Леонид уже знал все о Соболе и потому, отведая каши, глянул в его сторону, спросил:

— Значит, изменница? Точно знаешь?

— Точно. Изменница, — ответил Соболев после небольшой паузы и отодвинул свою чашку. — Нет, не лезет в горло. Как подумаю, что сейчас она пойдет к нему, в глазах темно. Сам не свой! Он, стервец, поет перед девками, как соловей, а они, известно, дуры, развешат губы!

— Но ведь, говорят, она долго ждала? — спросил Леонид.

— Ждала.

— А приехал — сразу изменила?

— Хлюстов появилось много, — пояснил Соболев.

— А может, ты сам изменился за два года, стал другим? Увидела, что ты другой, и разлюбила... Может так быть?

— Не может! Я все такой же, каким был!

На удивление Соболя, Леонида все это не удовлетворило, и он, раздумчиво пожевав губами, через минуту заговорил опять:

— Ну, а если она встретила человека, который неожиданно, против ее воли, понравился ей больше, чем ты! Ты ведь не можешь сказать, что ты лучший на свете?

— А чем он лучше меня?

— Но ей, вероятно, так кажется...

— Пусть крестится, если ей кажется!

Все было выяснено, но Леонид, не щадя Соболя, после некоторого раздумья вновь коснулся его раны. Он спросил, не глядя на Соболя:

— Что ж она... клялась тебе в верности?

— Не клялась, а про любовь говорила,— сверкнув зрачками, с некоторым раздражением ответил Соболю.

— Ну и что же?

— Сказано — зарублено!

— Навечно?

— До гроба!

Последние слова Соболю выпали в горячке и тут же выскочил из кабины. Он был и удивлен и рассержен тем, что бригадир затеял неприятный разговор. Ваньке Соболю, конечно, невдомек было, что бригадир проявляет к нему интерес не из простого любопытства.

Этот разговор помог-таки думать Леонида вырваться на волю. «Но как же это случилось? — тоскливо, с болью в душе думал Леонид, прислушиваясь из кабины к тому, как Соболю возится с ключами у мотора. — Как я мог не заметить! Чудно!.. Ведь тарасил же на нее дурные глаза. А что в ней особенного? Подумаешь, цаца! Веселый ветерок в юбке! — К душевной боли Леонида быстро примешивалось раздражение. — Нет, сама виновата, сама... Это нечестно — вставать на дороге! — Перед мысленным взором Леонида вдруг встала Хмелько, освещенная солнцем, в мелком караганнике, и Леонид, сжав кулаки, начал горячо и грубо выговаривать ей в глаза: — Да, это нечестно! А раз нечестно, пеняйте на себя. Я не желаю быть в ответе за ваше счастье!»

Вскоре после перерыва Ванька Соболю, выскочив дальше, чем надо, на поворотную полосу у Лебединого озера, вдруг попал на небольшое, но хлябкое, засолен-

ное пятно. К этому моменту ревность окончательно рас­травила Ваньку Соболя. Он подозревал, что Тоня все еще у Кости Зарницына, и его разгоряченное вообра­жение, не зная удержу, рисовало перед ним самые невыносимые картины ее измены. И вот, когда трактор начал буксовать, распаленный до белого каления Вань­ка Соболев, подчиняясь кипевшему в нем желанию бес­пощадно расправиться со всем, что преподносит ему немилая судьба, стал остервенело, раз за разом бро­сать его вперед, не чувствуя, как он, прорвав дерн, уже врезается в землю. Когда же Соболев опомнился и по­нял, что натворил, было уже поздно.

Зная крутой нрав Багрянова, Соболев опустил­ся на землю с равнодушной мыслью, что новой беды не ми­новать. Те секунды, когда приближался бригадир, по­казались Соболеву вечностью. Однако Леонид, не видя всей беды, осторожно коснулся его груди и спросил сочувственно:

— Тяжко?

— Под трактор легче! — потерянно воскликнул Со­болев.

— Подложить что-то надо, — после паузы сказал Багрянов.

— Все равно не вытащишь.

— Да почему? Так и выскочит!

— Ты лучше убей меня на месте! — сказал Соболев серьезно. — Он не выскочит отсюда. Он утонет. Это же солонец! Они тут пятнами... Слышишь, что под ногой?

— И глубоко утонет?

— Не знаю. Может, до самой кабины...

— Да ты что?! — выговорил Леонид, хватаясь за грудь.

Медлить нельзя было ни одной минуты. Отцепив плуг, Ванька Соболев бросился сзывать людей на по­мощь, а Багрянов, перехватив Белорецкого, отправил­ся с ним на тракторе в Заячий колок — рубить березы.

III

Гул трактора в неурочное время поднял на ноги весь стан. Узнав, что случилось, парни немедленно пу­стили в ход пилы и топоры; на опушке колка одна за дру­гой легло несколько ветвистых берез. За каких-ни-

будь полчаса телега, с которой сбросили бочку с водой, была до предела загружена тяжелыми березовыми чурбанами, и Багрянов, сам управляя трактором, потащил ее к месту аварии. Следом двинулась с лопатами говорливая толпа.

На счастье, в степь выкатилась, словно перекасти-поле, круглая яркая луна. При ней почему-то особенно почувствовалась стужа. Земля под ногами была твердая и гулкая, травы шелестели сухо, на вымерзших до дна лужицах битым стеклом похрустывал рассыпчатый ледок. Казалось, тишина над степью остекленела. Но и при полном застое воздуха явственно ощущалось, что где-то впереди, куда шел трактор с телегой, стоит особенный, сырой, убивающий все живое холод: в котловине Лебединого озера скопился студеный туман. Время от времени там, на озере, вероятно не видя из тумана даже луны, панически кричали отбившиеся от стай гуси.

Вокруг солончакового пятна, там, где случилась беда, стояли уже все тракторы и толпилась, горланя, не зная, как приступить к делу, ночная смена. Да и было отчего горланить: гусеницы трактора уже почти скрылись в солончаковой хляби.

Увидев, что произошло, Леонид так растерялся, что некоторое время не мог вымолвить слова. «Да что же это за степь? Не в воде, так в земле тонешь! — Мысли его неслись подобно рваным облакам под ветром. — Что же делать? Как его вытащить?»

А пока он собирался с мыслями, вокруг не стихал галдеж. В ожидании бригадира ночная смена уже успела устроить головомойку Ваньке Соболю: его вина в несчастье была очевидной. Теперь же, при виде бригадира, страсти новоселов разгорелись с новой силой.

— Все молчишь? Сказать нечего? — без конца подступал к Соболю Костя Зарницын; может быть, и бессознательно, но, пользуясь случаем, он явно мстил задиристому и ревнивому сибиряку за его нападки. — Нет, ты не сопи, ты скажи все-таки, о чем думала твоя дурная голова, когда ты буксовать начал? Даже землю под собой не чуял!

Костю поддерживали со всех сторон:

— У него не пахота, а другое на уме.

— Тоже мне сибиряк! Куда залез!

— Да какой он, к черту, тракторист? Одна слава! Ванька Соболев молчал, стиснув зубы. Он чувствовал, что новоселы ругают его не только за аварию, но и в отместку за учиненный в бригаде скандал, а крыть ему сейчас решительно нечем; приходится помалкивать да топить сапогом в солончаковой хляби, рядом с трактором, свое сердце.

Опомнясь через минуту, Леонид услышал, как наседают бригада на Соболя, моментально догадался, отчего такая горячность, но решил не одергивать расходившихся парней. «Пусть поругают,— подумал он, направляясь осматривать трактор.— Что и говорить, заслужил! Вперед наука!» И только когда подошла толпа со стана, подал голос:

— Давай за дело!

— Сколько у вас лопат? — спросил у подошедших Костя Зарницын.— Значит, попеременно будем, а?

— Давай в две смены!

Судя по тому, как только что вел себя Зарницын, можно было ожидать, что он если и возьмется за дело, то с большой неохотой. Однако, выхватив у кого-то лопату, Зарницын первым вонзил ее в землю.

— Самая любимая работа! — сказал он, поплевав на руки.— Пропотеет, как в баньке! Ну, с богом!

Обступив трактор со всех сторон, парни в несколько лопат с горячностью принялись копать зыбкую землю. Верхний горизонт солончака — глубиной с полштыка — был самой обычной целинной почвой, только с более редкой растительностью,— неопытный глаз и днем-то не обнаружит такого засоленного пятна, особенно весной. Но стоило снять верхний горизонт, как под ним обнаружился толстый пласт столбчатого солончака. Сейчас, при избытке влаги, это был пласт плотной, но сырой, вязкой, липкой массы серого цвета, во многом схожей с оконной замазкой. Весной из такой массы сам черт не вытащит завязшее копыто!

Снимая немощный дерновый слой, парни одновременно усердно месили и разжиживали ногами влажный солончак — за несколько минут он превратился вокруг трактора в густое, но быстро засасывающее месиво. Парни начали вязнуть в нем до колен. Несмотря на азарт, с каким они взялись за спасение трактора, дело вдруг стало продвигаться очень медленно: ступив но-

гой в солончак, человек не успевал выбросить и одной лопаты, как уже тонул и ему оставалось заботиться только о себе. И чем больше топтались ребята в солончаке, тем более засасывающей и бездонной становилась топь вокруг трактора. Даже не верилось, что где-то под нею есть твердая материнская почва. Очень скоро ребята до неузнаваемости измазались в холодном солончаке и едва могли передвигать ноги: сапоги у них до краев голенищ были забиты грязью.

С каждой минутой все огорчительней звучали голоса вокруг трактора:

— Ну, что за место? Хуже болота!

— Это не земля, а какая-то зараза!

Работая напористо, с удивительной ловкостью, Костя Зарницын ухитрялся больше всех выбрасывать солончака и больше всех болтать: он был воистину в ударе. Сначала он вместе со всеми проклинал солончаковую топь, в которой, по его словам, вместе с трактором потонет и вся бригада, но когда солончак назвали заразой, он как ни в чем не бывало вдруг резко изменил свою позицию и тон.

— Какая вам здесь зараза? Что вы болтаете? — заговорил он, моментально овладевая вниманием бригады. — Если хотите знать, это настоящее чудо, а не грязь! Сразу-то я и не разглядел, а вот теперь хорошо вижу... — Между пальцев его правой руки, которую он на виду у всех сжимал в кулак, выдавливалось жидкое месиво. — Видите, какая прекрасная грязь?

— Еще бы! Вымазались в ней, как черти!

— Вот и хорошо! Полезно!

— Да что тут полезного?

— Не понимаете? — с усмешкой сожаления переспросил Костя. — Так это же целебная грязь! Даю слово! Вы разве не слышали, что здесь, на Алтае, очень часто встречаются целебные места? Верно, Иван?

— Верно, — хмуро подтвердил Соболев.

— На каком-то озере, говорят, даже лечатся?

— Лечатся.

— Далеко оно отсюда?

— Далековато.

— Ну, для нас горя мало! — заметил на это Костя Зарницын. — Нам ездить вдаль незачем. Мы вот се-

годня заодно два дела сделаем: и трактор вытащим, и грязевой курорт откроем. Такую ямину вымахаем, что всем места хватит! Так что нечего зря нападать на Соболя. Если хотите, ему даже спасибо надо сказать за открытие целебной грязи. Спасибо, Ваня!

— Отвяжись! — бросил Соболев.

— Не житье у нас здесь будет — сказка! — продолжал Зарницын. — Вот наломаем кости на целине, а когда потеплеет — всей бригадой сюда. Засядем в ямине, как в общей ванне, — только головы одни будут торчать. Заявится Краснюк на стан, а там — ни души. Одна Феня Солнышко. «Где бригада?» — «Лечится». — «Где лечится?» — «На курорте!»

Картина, нарисованная Костей Зарницыным, дала такую волю живому и озорному воображению молодых людей, что вокруг трактора разом поднялся невообразимый хохот и визг. Кто-то от смеха даже не устоял на ногах и задом шлепнулся в грязь.

— Лежи, лежи! Лечись! — выкрикнул Костя.

Новым взрывом хохота свалило в грязь еще нескольких парней...

Не смеялся один Леонид Багрянов. Но и у него как-то сразу отлегло от сердца. «Хороша бригада! — сказал он себе с затаенной улыбкой. — Да она все что хочешь сделает!» И мысли его мгновенно полетели в будущее, но тут его вдруг ослепило светом фар: из темноты к месту аварии выскочил знакомый «газик» с самодельной кабиной.

Заглушенные тракторы смутно маячили в густом тумане, будто каменные глыбы в морской бухте. Все еще движущееся в северные края птичье царство, поднимаясь на крыло, лопотало, курлыкало, крякало, по-свистывало и улюлюкало по всей степи. Чудо из чудес — рождение весеннего степного утра; на всю жизнь несчастлив тот, кто не слушал, как разговаривает сама с собой природа в радостный час своего пробуждения и ожидания солнца!

Бригада Багрянова, возбужденная колготной работой, галдела на все голоса, собравшись группами вокруг огромной ямы, похожей на воронку от тысячекилограммовой бомбы. В яме торчали и валялись березо-

вые чурбаны с ободранной корой. Выволоченный из ямы трактор стоял в стороне от гибельного места, жалкий, грязный; Ванька Соболев осматривал его в одиночестве с виноватым и растерянным видом.

Николай Семенович Зима, обляпанный солончаковой грязью не меньше, чем все парни, присел на березовый чурбан, обтер пучком сухой травы руки и, раздавая любителям даровщинки папиросы, заговорил, смотря на Костю Зарницына:

— У нас, братец ты мой, лечебных грязей — на всю Сибирь! Да какие грязи-то, о-о! Многие болезни как рукой снимают! Привезут на озеро больного с костылями, а потом, глядишь, он пешком домой, только пыль стоит!

На мужественном скуластом лице Зимы в пятнах обсохшей белесой солончаковой грязи вдруг каким-то особенным, сильным светом зажглись темные глаза.

— А то ли здесь будет? — продолжал он негромко, мечтательно. — Придет время, такие построим курорты, что к нам поедут со всего Союза.

— Стало быть, зря мы размечтались тут о своем курорте? — спросил Зарницын, кивнув в сторону ямы.

— Зря!

— Ну, а эта вот?.. Какая же это грязь? — заговорил Зарницын, присаживаясь на чурбан рядом с Зимой. — Выходит, что в ней нет ничего полезного?

— Мертвая грязь, — ответил Зима. — Сейчас в ней тонешь, а летом высохнет — схватится в столбы. Иной раз они покрепче обожженного кирпича.

Кто-то свистнул, и вокруг раздались голоса:

— Ну и земляца!

— Отчего же это, а?

— Какие-нибудь реакции...

— Соленых озер кругом много, вот беда!

— Озер в Кулунде много всяких, — заметил Зима, — больше двух тысяч. Но соленые озера, друзья, совсем не беда, а наше богатство. Где еще столько соли, как на Алтае? А соль-то какая! Чистая, белая, вкусная! И добывается просто. Вот сейчас вы видите соленое озеро: берега его низкие, голые, кое-где кустики травы. Вода как вода. Наступает жаркая погода, и начинается садка поваренной соли. Слой ее на дне все растет и растет. Глядишь, и нет озера — одна соль. Сверкает на весь мир! Пускай комбайн и гребни!

— А на другой год? — спросили из круга.

— На другой опять все сначала.

— И так всегда?

Зима ответил кивком головы.

— Теперь дальше,— продолжал он, видя, что интерес ребят разгорается с каждой минутой.— Наступает осень. На других озерах начинается садка глауберовой соли, или мирабилита. Он садится на дно озер в виде толстого льда, а потом волны выбрасывают его на берег. И тоже: знай гребни! А есть еще озера, где под слоем ила огромные клады почти чистой, натуральной соды. Несметные богатства!

— Видали, куда нас занесло? — обращаясь к друзьям, спросил Зарницын.— Я же говорю: здесь не жизнь, а сказка! Недосолит повариха суп — не важно! Сел с котелком у озера и подсаливай как надо. А взяла икота — копни со дна соды.

Ребята на сей раз не засмеялись. Глаза их были устремлены на главного агронома: он открывал перед ними новый мир, в котором им предстояло жить и жить...

— Что же здесь будет в скором времени, догадываетесь? — спросил Зима.

— Большая химия,— ответил кто-то из парней.

— Именно! — подтвердил Зима.— Через год по Кулунде пройдет железная дорога. Вот тогда и развернется строительство. Уже сейчас в Михайловке, недалеко отсюда, работает крупный содовый комбинат. Слыхали? А со временем в Кулунде поднимутся другие заводы. Из наших солей будут вырабатываться самые различные химические продукты. Тут химия надевает таких чудес, что ахнешь! И притом, заметьте, в самые ближайшие годы. Кому из вас не понравится работать на земле, валяй на любой завод! Везде найдется место.

— Картина! — прищелкнув языком, воскликнул Зарницын.

— В озерах соли много — понятно, не беда,— с обычной рассудительностью заговорил Григорий Холмогоров.— Гребни да гребни. Вся пойдет на химию. А вот с засоленной землей что делать? Ее ведь тоже много?

— Многонько! — со вздохом согласился Зима.— По Кулунде больше миллиона гектаров...

— Ну и соли! Да откуда ее столько?

— Обь когда-то нанесла с гор...

— Что она, текла здесь?

— По всей Кулунде.

— Да, много земли попортила!

— Скоро и это не будет бедой. Дай срок! — сказал Зима. — Вот освоим хорошие почвы, а потом и за солонцы возьмемся — окультури́м. Это очень важная для Алтая и очень интересная проблема. Вот где мы по-настоящему сразимся с природой! Одна ваша бригада может отвоевать и дать жизнь тысячам гектаров совсем гиблой, бесплодной земли! Это ли не красота?

— Но как ее окультуришь? — спросил Холмогоров.

— Будем рассаливать! — весело ответил Зима. — Пятна — землевать, сплошные массивы — гипсовать, углублять на них пахотный слой... Да мы все теперь можем сделать! У нас вон какая техника, а гипс, пожалуйста, под рукой. Вон на озере Джира какие залежи! И потом будем подбирать солевыносливые культуры! Вы вот, пожалуй, и не поверите, а ведь все свеклы, например, очень хорошо растут на солонцах. Да и другие овощи неплохо. А некоторые травы, вроде пырея? Вовсю! Даже деревья растут! Возьмите, скажем, тополь белый, березу бородавчатую, вяз, клен, тамариск, лох... Надо приложить к гиблой земле руки да сердце — и земля станет родить. Да еще как! Залюбуешься!

— Дождей здесь мало, — сожалеюще произнес Холмогоров.

— Да, здешние засухи — большое зло, — согласился Зима. — Без воды здесь трудно добиться устойчивых урожаев, это верно... Но будет у нас и вода. Будет! Пророем от Оби канал, и вода самотеком пойдет по всей Кулунде. Вот тогда поливай пашни, сколько надо! Тогда наша Кулунда станет огромной чашей изобилия. Кормись на доброе здоровье вся Сибирь!

— Мечты! — сказал Белорецкий ироническим тоном.

— Это уже не мечты! Это живое, горячее дело! — возразил Зима. — Станция у Новосибирска скоро будет готова. Всем известно. Ну, а там дойдет черед и до канала... Это такие мечты, которые обжигают руки!

Все время, пока Зима разговаривал с группой парней, Леонид Багрянов не спеша переобувался невдале-

ке и вспоминал о своей первой встрече с Зимой на родном взгорье. Удивительно, что молодой командир-сибиряк, хотя и был тяжело изранен, привлек тогда его внимание и поразил ребяческое воображение не своей бедой, что было бы естественно, а необычайно одухотворенным выражением бледного лица и даже какой-то затаенной радостью, вероятно, радостью победы. Таким он запомнился Леониду навсегда. Теперь, когда Зима рассказывал приезжим ребятам о будущем Алтая, он был, несмотря на годы, точно таким, каким увидел его Леонид при первой встрече... Неужели и тогда, когда был насильно повержен на землю, он мечтал о будущем родного края? Да, конечно, а иначе что еще могло спасти его от верной смерти?

За чаем на стане вокруг Зимы гудела уже вся бригада: впервые так сильно были растревожены думы новоселов о грядущей жизни в алтайской степи. Уехал Зима при полной заре, а в Заячьем колке не скоро еще улеглись страсти...

В думах о будущем, которое могло быть не чем иным, как счастьем, у Леонида Багрянова решительно не находилось места для Хмелько. Прочь с чужой дороги! Вот и весь сказ. Леониду было радостно от сознания, что он любит только Светлану и верен ей. Ему все время вспоминалось, как он впервые увидел ее в зимнем лесу у Москвы-реки, как вскоре узнал о своей любви к ней,—и в несчетный раз за последний месяц с необычайной нежностью, от которой становилось тепло во всей груди, подумал, что она совершенно необыкновенна. Его любовь к Светлане всегда была его восторгом перед ней. Леонид невольно сравнивал ее сейчас с зарей, медленно разгорающейся в тумане. Заря была прекрасна уже тем, что всюду пробудила жизнь и тронула в мире многозвучные струны. Но еще прекраснее она была тем, что обещала вот-вот открыть и сделать для человека в этой безбрежной, как жизнь, степи... И когда настало время вновь вернуться к работе, Леонид позвал Светлану с собой — ей уже нужно было начинать учет поднятой целины.

— Ну что, зоренька, как жизнь? — заговорил он с

ней вполголоса, перехватив ее у вагончика.— Пойдем вместе, а?

Светлана так и вспыхнула от радости: Леонид опять нашел для нее новое ласковое слово и хотел побыть с нею! «Какая же я дурочка! Ну зачем я мучаюсь?— сказала она себе, когда Леонид, сжимая ее пальцы, повел ее со стана.— Ведь он же только меня и любит... Что же мне надо?» Всю ночь она металась оттого, что Леонид накануне довольно долго оставался наедине с Хмелько в степи, и, сколько ни успокаивала себя мыслью, что их поездка была необходима для дела, так и не успокоилась до рассвета. И, оказывается, все мучения напрасны. Светлана пошла с Леонидом молча, стыдясь смотреть на него и казня себя за свою слабость и свои подозрения.

Заря уже разгоралась над всей степью. Несметное птичье царство, зная, что скоро появится солнце, совершенно неистовствовало в розовом тумане. Попотанье, курлыканье, криканье, посвистывание и улюлюканье достигли, вероятно, наивысшего предела и слились, как это ни странно, в единый строй, милый любой светлой человеческой душе.

— Утро-то какое!— заговорил Леонид, догадываясь о страдании Светланы и стараясь отвлечь ее от тревожных мыслей.— Ты слышишь, что делается в степи? Честное слово, готовая музыка! Садись и записывай!

— Где же зори лучше?— начиная успокаиваться, заговорила Светлана.— В лесу или здесь?

— Здесь,— ответил Леонид быстро.— Для зорь нужны просторы.

— Просторы здесь такие, что ослепнуть можно.

— Как это — ослепнуть?

— Очень просто: от пустоты,— отвечала Светлана.— Сколько ни смотришь — нет ничего перед глазами. Иногда я думаю о птицах: ну, куда они летят? Чего ищут? Ведь здесь же ничего нигде нет!

Леонид остановился, взял Светлану за плечи, всмотрелся в ее лицо и глаза...

— Тебе здесь плохо? — спросил тревожно.

— Нет, нет, что ты! — поспешила успокоить его Светлана.— Ты меня не понял. Мне бывает здесь немножко грустно, это правда, но все равно мне здесь хо-

рошо! Мне ведь ничего не надо, ничего! Пусть даже степь вымрет и станет пустыней — мне и тогда здесь будет хорошо.

Пораженный словами Светланы, Леонид крепко сжал ее плечи и долгим взглядом сказал ей то, что говорил уже много раз, но чего тем не менее она всегда ожидала с затаенным дыханием.

— Я настоящая дурочка,— вдруг сказала она и отвернулась, пряча глаза.

— Пойдем,— вновь предложил ей Леонид.

Они были уже вдалеке от стана.

— Представь себе, а я совсем не замечаю здесь пустоты,— начал Леонид.— Я вижу только дали. Одну другой чудесней. А дали не слепят. Совсем наоборот. Когда я всматриваюсь в степь, мне даже чудится, что я начинаю видеть на сотни, на тысячи километров вокруг! И мне бывает очень хорошо. Просто удивительно, как хорошо! Глядишь и не наглядишься! Ты знаешь, я читал где-то у Герцена, что природа именно своей далью, своей бесконечностью приводит в восторг. Только вот здесь я понял, как это верно подмечено и здорово сказано!

— Значит, ты уже в восторге от здешней степи? — спросила Светлана.

— Я еще никогда не видел таких далей.

— Влюбчив ты.

Помолчав, она вдруг спросила:

— Неужели и правда здесь когда-нибудь будет хорошо?

— Не веришь?

— Да ведь все как в сказке.

— А я верю, очень верю и очень хорошо вижу, какой будет здешняя степь,— проговорил Леонид с волнением.— Так вот и стоит все у меня перед глазами.

— И наш домик видишь?

— Вижу! Красивый домик!

Светлана вдруг стыдливо засмеялась от счастья и закрыла лицо ладонями,— теперь она уже была спокойна за свою любовь. «Глупая я, честное слово! Совсем глупая! — еще раз поругала она себя за свое ночное смятение и страдание.— Да как я могла плохо думать о нем? Откуда у меня все это?» Счастливыми

глазами она взглянула на восток и мгновенно догадалась, что в туманной степной дали уже показалось солнце.

IV

Невдалеке от Черной проточины есть на редкость уютное место: небольшой высокий островок среди лесного озера. От опушки бора пройдешь сотни две шагов, где по кочкам, где по гибким слегам, где до колен бродом, раздвигая тальничек, и ты на том чудесном островке: под ногой — сыпучий песок, засоренный шишками, над головой бронзовые курчавые сосны, могуче, точно фонтаны, освежающие воздух зазеленевшей хвоей.

...Приятно было Аньке Ракитиной лежать здесь на песке и прислушиваться к тому, что творится окрест, в сосновом бору, и в самой себе. Везде было хорошо! В бору крепко держалась тишина, хотя и частенько то тут, то там плотничали дятлы, проносились, ныряя в зеленой пучине хвои, необычайно нарядные сизоворонки и беспричинно жалобно поскрипывал сухостой. С озера, полузаросшего кустарником и камышом, почти непроходимого, временами, тоже не мешая лесному покою, доносились легонький хруст травы-сушняка, бульканье и плеск воды: местные кряквы торопились строить гнезда. В курчавой, точно зеленое облако, кроне сосны, под которой лежала Анька, хорошо обогретой нынче солнцем, изредка потрескивали, раскрываясь, крупные шишки: сосна уже рассеивала вокруг себя семена. Тихо, солнечно, умиротворенно было и в душе Аньки. Нежась, поглаживая свои полные груди, мечтательно полуприкрыв глаза, она сказала теплым, усталым голосом:

— Хорошо-то как! Будто в раю!

— Из рая за такие свидания в шею гонят,— хриловато отозвался Степан Деряба; он сидел на песке рядом и поглядывал на полные полууголенные ноги Аньки.— А здесь пальцем никто не тронет. Выходит, здесь лучше, чем в раю... А ты все потягиваешься, все нежишься?

— Сладостно,— зачарованно прошептала Анька.

— А все ж таки чересчур ты жадная.

— Будешь жадной,— очень просто ответила Анька.— Мое время подошло, чего меня корить! Да, времечко настало, а где моя жизнь?

— Тебе нечего жалобиться. Ты уж, видать, попробовала жизни досыта...

— Глупый ты человек! — незлобиво отозвалась Анька. — Мне досталась не жизнь — одна горечь. — Она широко открыла глаза и некоторое время, должно быть вспоминая что-то, опечаленно смотрела сквозь хвою в голубое небо. — Любила я одного парнишку, здорово любила! — призналась она вдруг негромко. — Да и он души во мне не чаял. Бывало, встретит, бросится ко мне — и оторваться не может! А я очень уж ласковая с ним была. Так мне любо было с ним ласкаться, до того приятно, что про весь белый свет забывала.

— Что ж не поженились? — с недобрим взглядом спросил Деряба.

— Соображали, да ничего не вышло. — Анька на минутку горестно полуприкрыла глаза. — Не нашлось нам маленького уголка, чтобы счастье свое сохранить, — вот и весь секрет! Ты ведь сам знаешь, как приходится молодым начинать свою жизнь в Москве. Он жил в большой семье, в бараке, там народу как клопов — в каждой щели. У нас тоже была клетушка вроде собачьей конуры: по очереди спали. Ну, где тут, скажи, с нашей... с такой любовью? Нам бы, дуракам, собрать свои манатки, да и махнуть куда-нибудь вот в эти места, а то и подальше. Так нет, помешались, дураки, на Москве — уезжать неохота. И вот жили-страдали. Ну, а дело, сам знаешь, молодое, любовное: как в огне горели!

— Ты, видать, не стерпела?

— Я, — просто призналась Анька. — Я смелее его была. Ну, а чего же тут такого, что ты меня подкалываешь? Мне было восемнадцать лет, мое время подошло, а уродилась я, слава богу, с бабьим сердцем, а не с ледяшкой в груди. Господи, как я хотела его женой быть! Как хотела! Каждую ночь во сне видела, как мы живем с ним в отдельной комнате, маленькой такой, светленькой, в кружевах... А ребенка как я хотела! — Ее глаза вдруг залились слезами. — Похоронила я своего ребеночка в садике, под рябинкой... — прошептала она, не вытирая слезы. — Да и сама чуть не сдохла! — вдруг добавила она с неожиданной злостью.

Степан Деряба выдернул из песка, рядом с собой, водочную бутылку, но она оказалась пустой. Откинув ее

в сторону, Деряба шумно полез в тальниковые заросли: здесь он на всякий случай тайно хранил две большие корзины с водкой.

— Опять пить? — спросила Анька, увидев его с мокрой бутылкой в руках. — Ты и так уж весь опух! Погляди-ка в зеркало; тебя уж с нее раздуло всего, как паука, смотреть противно!

— Отвяжись!

— И откуда ты ее берешь? Из-под земли?

— Запас, — нехотя ответил Деряба. — Выпьешь?

— Налей немного.

Они выпили, и тогда Деряба, сплунув, спросил:

— Где же теперь-то твой голубок?

— Далеко! — ответила Анька тоскливо, охватив руками колени и всматриваясь в даль: в тальниковой чаще был просвет, и с островка виднелись затопленный в Черной проточине трактор, камыши на степном озере и кусок степи. — Далеко мой миленочек, далеко: на том свете!

— Что ж он так рано... и в такую даль?

— Друзья-приятели по пьянке зарезали.

— Из-за тебя?

— Из-за меня.

Деряба выпил один, прямо из горлышка бутылки, и затем, косясь на Аньку, опять уколол:

— Ты, видать, и по нем-то недолго страдала?

— Опять же скажу тебе: глупый ты человек! — ответила Анька и сожалеюще вздохнула. — От горя-то я и честь свою потеряла. В нашем переулочке в Москве, не поверишь, все парни — одна шантрапа: пьянчуги, ворье, головорезы... Разве они понимают, как нам, девкам, бывает тяжело? У них одно на уме. Помню, прошло немного времени, и зазывают меня подружки в компанию: дескать, развеяй немного горе-то! Пошла. Развеела. Утром очнулась, голова трещит, смертынька за сердце хватает — напоили, сволочи, какой-то гадостью! Где лежу — не пойму, перед глазами все крутится, как на карусели, а живот что-то тяжелое давит... Хвать за живот, а на нем — чужая рука! Обомлела я и только тогда вижу: рядышком со мной лежит и храпит вот такой, как ты, кобелище!

— С той поры ты и дала себе волю?

— Да нет, вольничать-то я особо не вольничала, а той чести, что была, строго уже не берегла, — продолжала

Анька, не меняя позы и задумчиво высматривая что-то в степи.— Стыда уж не было, а жизнь — она берет свое. Ну, а оно ведь завлекательно, это баловство...

Она помолчала более минуты.

— Замуж бы выйти!— произнесла она затем с тоской и, обернувшись к Дерябе, все так же просто, как говорилось ею все, предложила:— Давай поженимся, а? Ей-богу, Степан, не прогадаешь! Что нос воротишь? Да тебе, если хочешь знать, честней меня никого не найти! Ты знаешь, какой я женой буду? На мне вот такого крохотного пятнышка никогда не увидишь! А какая я работница, ты знаешь? У меня в руках все огнем горит, если я с охотой возьмусь за дело. Я все умею, все знаю. Получим комнатку — у меня она будет как птичье гнездышко! Не глядишь? Натешился — и морду в сторону? Все вы такие, кобелиное отродье! Да ты пропадешь без меня, вот что я тебе скажу. Я тебя от водки отучу и человеком сделаю, а будешь вот так, как теперь, околачиваться промеж жизни — верный тебе каюк где-нибудь на вечной мерзлоте! Подумай, а то поздно будет.

Деряба тяжело вздохнул всей грудью.

— Как это поздно? Кто-нибудь уже заглядывается?

— Да уж, конечно, не без того: везде есть охотники-сластены! — вдруг весело и хвастливо отозвалась Анька.— Я вон какая, мне горевать нечего. Я отбою от парней не знаю.

— Может, и сам Багрянов обзарился? — хрипло спросил Деряба.

— А чем не парень? Одна красота! — ответила Анька задиристо.— Ничего промеж нас еще не было, я тебе честно скажу,— добавила она, с наигранной скромностью потупя взор,— а все-таки позавчера, как сграбастал он да сжал, кости так и хрустнули и в голове — сплошной звон...

Деряба вновь схватил бутылку и прорычал:

— Ну, ладно, гад, погоди!

Анька поняла, что наболтала лишнего, и, решив поправить дело, одернула Дерябу:

— А ты скорей в бутылку, да? Вот чудило! Он же просто так... случайно... Он ведь идейный парень.

— Чужих девок щупать — идейный, да?

— А я ведь ничья. Чего же ему стесняться?

Деряба ударил кулаком в песок.

— Моя! Забыла, что сказал тогда... на прощание?

— Память у меня что-то вся вылетела,— притворно пожаловалась Анька.

Деряба повертел перед ней рыжий кулачище.

— Гляди, я тебе ее обратно вставлю!

На удивление Аньки, Деряба на этот раз даже не дотронулся губами до горлышка бутылки и воткнул ее обратно в песок. На его одутловатом лице оловянные глаза округлились и помутнели от ненависти. Он уже был достаточно пьян; угрюмо присматриваясь к Аньке, спросил:

— Как же он тогда... идейный... отпустил тебя ко мне? Что-то... удивительно...

— Сказать всю правду?

— Обязана! Какие еще могут быть вопросы?

— За делом послал,— сообщила Анька.

— Хм, какое же у него ко мне дело? Просил раскрыть тебя поровну? Не желаю!

В самую последнюю минутку у Аньки мелькнула, как рыбка-бель в тихой заводи, мысль о том, что не надо бы открывать, с каким заданием посылал ее бригадир на Черную проточину: темный, зловещий характер Дерябы может сработать, как тонна взрывчатки, и тогда недолго до беды. Но так-таки и не хватило у нее сил справиться с той не сравнимой ни с чем обидой, какую наносит мужчина женщине, отказывая ей хотя бы в мимолетной любви.

— Задумал оставить тебя на мели, вот что! — ответила Анька.— Одного и на мели. Послал, чтобы тайно сманила твоих дружков в бригаду. У нас ведь горе с людьми.

— Идейный, гад! — прохрипел Деряба.— Но как же он советовал сманить? Разве они от меня пойдут?

Анька поиграла бровями.

— Велел околдовать...

— Обещала, да? — спросил Деряба, вставая на колени.

— Чего ты бесишься? А ну, вдарь! — Анька выставила грудь перед Дерябой.— Дурак! Если бы обещала, то разве сказала бы тебе? Налакался, так ничего уж и не соображаешь?

Деряба схватил Аньку за плечи, притянул к себе,

крепко поцеловал в губы. Потом некоторое время смотрел в ее темно-карие, ласково манящие глаза и сказал:

— Теперь верю тебе!

Отпустив Аньку, он сел на песок и твердо заявил:

— А моих дружков не видать ему как своих ушей! От меня они ни на шаг. Они у меня вот где! — пояснил он, сжимая в воздухе кулак. — Такой закон! Клятва дана!

Со степного озера донесло два выстрела.

— Это они? — спросила Анька.

— Они. Уток бьют.

— А ты что же не пошел с ними?

— Значит, сердце чуяло, что ты приедешь, — польстил Деряба Аньке в благодарность за ее откровенность. — И потом, кому-то надо же быть у этого проклятого трактора! Я все-таки в ответе за него. Да и ладно, что остался: как раз перед твоим приходом вдруг налетел сам Зима.

— Ну, и что же он тут? — спросила Анька.

— Он с нашим братом не очень-то ласковый, — откровенно признался Деряба, вероятно, все из-за того же чувства благодарности. — Поглядел на наше это сооружение, походил вокруг... Ты видела, что мы там нагородили?

— Вышку-то? А как же!

— Это не вышка, а так... сплошная ахиня, для дураков! — Деряба захохотал утробно и гулко; поблизости внезапно с криком вырвалась из зарослей кряква. — Ну, и охмурил же я Краснюка, самому приятно! Я ему плету черт знает что, а он, губошлеп поганый, вот с таким важным видом слушает. И каких только дураков не назначают директорами! И где их, скажи ты мне, берут? Ну, а потом и пошла у нас здесь комедь-житуха. Рубим сосны, возим, копаем землю, городим какую-то вышку, а больше всего ведем время и наслаждаемся жизнью. Катаемся на лодке, уток стреляем, в карты режемся, мясо жрем, водку пьем! Где теперь найдешь такое житье. Получше всякого курорта! У него, у губошлепа, не было никакого соображения, а у меня был полный расчет. Я наперед знал: пока мы водим Краснюка за нос да живем-гуляем, вода-то спадает и нас за ненадобностью погонят отсюда к чертовой матери! Так и вышло. Походил-походил сегодня Зима вокруг нашей

вышки, покачал головой, поглядел на трактор и видит: вода уже тронулась на убыль, едва заметно, но тронулась... Теперь сама посуди, какой же расчет городить дурацкую вышку и поить нас водкой, когда вскорости трактор и так вытащить можно? Вот этот Зима — умный, видать, мужик — и говорит мне сегодня: «Ну, вот что, дармоеды, пожили всласть на казенных харчах, а теперь хватит — сматывайте манатки и катитесь отсюда к чертовой матери!» На этом и закончился наш разговор...

Анька даже немного растерялась.

— Значит, вы уходите отсюда?

— Уйдем, — ответил Деряба.

— А куда?

— Да завтра видно будет.

— На курсы нет еще вызова?

— Пока нету.

Деряба помолчал, что-то соображая, и вдруг предложил:

— Слушай, Анька, а почему бы тебе и не угодить Багрянову? Одно мое слово — и ребята завтра же вместе с тобой будут в бригаде. Все, задумано! Ставлю печать!

— Но они же... сбегут оттуда?

— Может, сбегут, а может, сам Багрянов их выгонит. Тебе-то какая печаль?

Анька взглянула на Дерябу и почему-то промолчала.

— Багрянову за его хамство я еще подложу свинью! У, гад! — И Деряба даже скрипнул зубами. — Ишь ты, задумал одного меня на мели оставить? А если сам останешься? А ну, кто — кого?

Со степи опять донесло выстрелы. Анька поднялась, встала у ствола сосны и прикрыла глаза от солнца, бьющего сквозь хвою.

— Что там увидела? — не трогаясь, спросил Деряба.

— На коне кто-то...

— Где?

— У самого берега, где трактор...

Деряба нехотя поднялся, встал рядом с Анькой, всмотрелся в даль. Незнакомый человек в жеребковой шубе и лисьей шапке сутулился в седле на серой лошади у берега Черной проточкины.

— Кто же это такой? — спросила Анька.

— Схожу сейчас, узнаю, — ответил Деряба. — А ты поваляйся тут, вздремни на лесном воздухе...

Деряба спустился с островка, поплескал себе в лицо

водой, а потом двинулся затопленной тальниковой чащей осторожно, но тяжко, как лось.

Не долго думая, Анька в самом деле задремала под сосной, а когда очнулась, сразу поняла, что после того, как ушел Деряба, прошло уже много времени. Она быстренько собралась и двинулась с озера по следам Дерябы. Она прошла вдоль всей Черной проточины, мимо затонувшего трактора, недостроенной вышки, раскиданных бревен и тогда только увидела, как от рыбацкой избышки, где жили Деряба и его дружки, двинулся в степь берегом озера Бакланье незнакомый гость.

Из избышки, согнувшись в три погибели, навстречу Аньке вылез Деряба. Он лениво, нежась, потянулся на солнышке и, позевывая, сказал:

— Наслушался я тут басен о степи.

— Кто он такой? — спросила Анька, кивая вслед гостю.

— Табунщик. Из казахов. Коней ищет — отбились от табуна. Вчера только поселился километра за три отсюда, в конце озера. Выпил чашку водки — и разговорился. Всякие небылицы знает. Очень даже интересно.

За камышом, на ближнем плёсе, вдруг раздался свист, что-то стукнуло и послышались голоса. Через десяток минут Хаяров и Данька были у берега. Они вернулись возбужденные, с хорошей добычей: в носу плоскодонки лежала куча селезней и уток разных пород, в разноцветном, нарядном пере, и небольшая корзина с крупными голубоватыми утиными яйцами.

V

Солнце опустилось на облако, проплывающее у горизонта огромной ладьей, и, казалось, тоже поплыло над землей невесть куда. Невольно думалось, что теперь, пока оно плавает над степью, здесь долго не быть ночи. Но в степи, однако, уже приметно вечерело: озера подернулись легчайшей розоватой полудой, в вышине быстро стихало привычное для слуха нежнейшее серебристое журчание — жаворонки повсюду обессиленно падали на дернину, чтобы отдохнуть до сумерек, а там, на удивление людям, еще раз прославить весну и любовь.

В низинке, где еще дня два назад зеркально поблескивали лужицы воды, среди кустов верблюжатника Светлана увидела небольшую стаю серых голенастых журавлей. Одни из них, разойдясь в разные стороны, крупно шагали туда-сюда с необычайно гордым видом, подняв длинноклювые головы, видимо даже не собираясь что-либо искать на земле. Другие, более крупные, как бы озорства ради, неуклюже бегали вокруг гордых, топтались, приседали, кружились и подпрыгивали в воздух, хлопая могучими черненными крыльями. «Что же это они затеяли? — сдержав шаг, подумала Светлана. — Уж не пляшут ли?» Журавли и в самом деле увлеченно плясали и похвалялись собой перед подружками: это были веселые журавлиные смотрины. Светлана свернула в сторону, чтобы не пугать птиц, и вдруг невдалеке увидела грязную, с линяющей клочкастой шерстью лису. Прижимаясь к земле, извиваясь, та осторожно и ловко кралась между дернин ковыля к разгоряченной весенней страстью стае. «Ах ты злодейка!» — ахнула про себя Светлана и сильно захлопала в ладоши. Лиса мгновенно точно провалилась сквозь землю, а журавлиная стая, опомнясь, почти без разбега снялась и потянула над самой землей в степь.

...На исходе был третий день работы бригады. Первая двухсотгектарная клетка целины близ Заячьего колка казалась теперь сшитой из темных и серых лент — ни дать ни взять огоромное полосатое одеяло. По клетке в разных местах безостановочно двигались и монотонно рокотали тракторы. Бригада Багрянова уже с нетерпением ждала того заветного часа, когда загонки сольются в одно целое и можно будет полюбоваться новой, созданной своими руками пашней в степи.

За несколько минут до пересмены Светлана была уже на дальнем углу клетки и замерила свежую пахоту на крайней загонке. Навстречу ей вышел трактор с красным флажком над радиатором. Вела его Марина Горчакова, сменщица Кости Зарницына.

— Светочка, ты уже замерила? — закричала Марина, остановив трактор и высунувшись из кабины. — Уже считаешь?

— Поздравляю! — весело ответила Светлана и помахала своей записной книжечкой. — Опять норма!

— Знаю!

- Гони на стан!
- А что на ужин?
- Опять каша, твоя любимая!
- Тьфу, изверги! А где мясо?
- Всё везут!

На соседней загонке работал Ибрай Хасанов. Он уже перевыполнил норму и сейчас был в километре от поворотной полосы. «Ну и гонит! Марину обогнал! — подивилась Светлана и вдруг забеспокоилась: — Может, мелко берет?» Она еще раз прошла вдоль загонки, внимательно присмотрелась к пахоте, замерила глубину борозды. Нет, пахал Ибрай отлично, она уже разобралась в качестве работы. «Вот молодец!» — подумала Светлана и решила дожидаться Ибрая, когда он вышел на поворотную полосу, бросилась к его трактору со всех ног.

— Поздравляю, Ибрай! Замечательно! — закричала она в восторге, потрясая поднятыми руками. — Больше нормы, слышишь?

Польщенный вниманием Светланы, Ибрай заулыбался и вдруг так раскинул руки и перебрал в воздухе пальцами, словно заиграл по случаю победы на гармонии.

— Ставь флажок! — закричал он Светлане.

Через минуту флажок алел у радиатора.

— Гони на стан! — крикнула Светлана.

— А чем кормить будут, не знаешь?

— Мясом!

Глаза и зубы Ибрая вспыхнули на его грязном лице. Прищелкивая пальцами, он развел руками, словно пускался в пляс.

— Я пошутила! — сразу устыдившись, крикнула Светлана.

— Как пошутила? Какие шутки с мясом?

— Опять каша, Ибрай!

— Безобразий! Какой такой порядок? — нарочно коверкая русские слова, заговорил веселый бригадный гармонист. — Мне надо мяса! Получай работа — дай мяса! Нет мяса — нет работа!

Светлана с улыбкой махнула на Ибрая рукой.

— Хватит улыбаться-то! Гони на стан!

— А как Белорецкий, встал? — спросил Ибрай серьезно.

— Встал, но жалуется на головную боль...

— Все жалуется! А сменит он меня?

— Не знаю!

Так Светлана шла от загонки к загонке, замеряя выработку дневной смены и провожая тракторы на стан. Вечерами сильно холодало, и Светлана, как всегда, поверх синего лыжного костюма в крупных масляных пятнах надевала ненавистный ватник с подвернутыми рукавами; на ее ногах хлябали солдатские сапоги. Но теперь, увлеченная своим делом, торопясь, она уже не страдала, как недавно, от того, что походила на чучело, не стеснялась перед ребятами и, вероятно, иногда даже забывала о своей грубой и некрасивой одежде.

Три последних дня Светлана, подхваченная вместе с бригадой потоком шумной, бурлящей, никогда не стихающей работы, не жила, а точно стремительно неслась в какой-то незнакомый мир, где все было совсем не таким, как в ее прежней, далекой московской жизни.

Светлана поднималась на зорьке вместе с поварами Феней Солнышко и Тоней Родичевой и ложилась, вернее падала, в постель около полуночи. За огромный день, проведенный на ногах, ей приходилось делать очень много разных дел, больше, чем она ожидала, выезжая в степь. Она дважды, на утренней и вечерней пересменах, замеряла и подсчитывала выработку каждого тракториста, а свои жесткие, грустные и веселые цифры проставляла на особой доске, вывешенной на стене девичьего вагончика. Она получала с бензовозов и выдавала трактористам горючее и смазочные масла, строго следила за их расходом и экономией. Утром, сразу же после пересмены, она заполняла учетные листы трактористов и другие учетные карты, разговаривала по рации с диспетчером МТС Женей Звездиной, передавала ей информацию о работе бригады, заносила в диспетчерский журнал распоряжение директора станции; днем она выпускала боевой листок и читала газеты, вечером слушала радио, чтобы при случае быть готовой ответить на все вопросы ребят о той жизни, которая кипит так далеко от Заячьего колка, что эфир едва доносит сюда ее сигналы...

По сравнению с тем, что она делала теперь в тракторной бригаде на целине, ее прежняя работа в чертежном бюро казалась ей детской забавой. Здесь работа была во много раз серьезнее, сложнее, труднее и, конечно, грязнее — иногда она с ужасом смотрела на свои

тонкие, нерабочие руки, с которых стекало грязное машинное масло. За день Светлана с непривычки так изматывалась, что перед сном ей думалось: утром она не поднимет головы. Втайне она была убеждена, что ее небольших силенок хватит здесь ненадолго. Вся ее работа, вероятно, уже показалась бы ей невыносимой, если бы одно необычайно важное обстоятельство: она, эта работа, постоянно, ежечасно перемежалась и незаметно сливалась с сугубо личной жизнью. Светлана с трудом вставала на рассвете, все тело у нее болело, особенно ноги, временами она готова была плакать от жалости к себе, но вместе с тем очарованно наблюдала, как разгорается над степью заря, и с упоением слушала, как гремит, пробуждаясь, тысячеголосое птичье царство. Она будила трактористов, подметала в палатке, во всем помогала поварихам, но выдавалась свободная минутка, и она, подсев к подружкам, с удовольствием, забывая обо всем, слушала секреты девушек или тихонько пела с ними про любовь. Во время самой неприятной, грязной работы, когда Светлана отпускала горячее и кручинилась, что пропали ее белые рученьки, она вдруг ловила любящий и ласкающий взгляд Леонида, от которого мгновенно светлело в ее душе. И так весь день. Здесь, в степи, постоянно все сливалось воедино, в какой-то чудесный сплав: горе и смех, работа и песни, томление над бумагами и девичьи секреты, тоска о Москве и наслаждение птичьей симфонией, горечь оттого, что грубеют руки, и частые встречи с Леонидом, к тому же в самое непривычное время, скажем, на утренней заре...

Все это делало жизнь Светланы в Заячьем колке на редкость сложной, напряженной, беспокойной, выматывающей силы и одновременно очень интересной. Вот эта необычайная особенность степной жизни и составляла ее главную прелесть. Светлана, еще не верившая в то, что свыкнется со степью, между тем уже чувствовала эту прелесть всем сердцем.

В последние горячие дни Светлана сильно похудела, и, вероятно, от этого точно погасли в ее облике те юные, почти детские черты, за которые все звали ее не иначе как Светочкой, а Леонид, кроме того, еще и маленькой; на весеннем солнце и степном ветру она еще сильнее загорела и обветрилась; ее черные брови и легчайшие выходящие локоны слегка выгорели и побронзовели, ее тихие глаза стали чуточку строже... Такие перемены сде-

лали Светлану, может быть, менее нежной, но зато она уже никогда, даже при сильной усталости, не казалась слабенькой и беззащитной: при разговоре она стала нередко применять короткие, рубящие жесты, в ее негромком голосе иногда звучали позванивающие ногки, в ее взгляде все чаще и чаще мелькал огонек решимости... Она лишилась очаровательной красоты юности и точно готовилась засветиться какой-то новой, более яркой красотой.

...На последней загонке, самой ближней к Заячьему колку, Светлана замеряла дневную выработку два раза и каждый раз удивленно пожимала плечами: как ни считай, а получалось, что сменщик Соболя, молоденький тракторист Федя Бражкин, и Леонид, работавший на прицепе, вспахали восемь гектаров. «Не может быть! Это уж из чудес чудо!» — не веря своим глазам, подумала Светлана и стала поджидать трактор, которому оставалось пройти еще около километра по загонке.

Здесь у Светланы вдруг выдались свободные минуты, и она немедленно отдала их мыслям о Леониде. Все последние дни он особенно радовал Светлану своей любовью. Наедине им, правда, не удавалось бывать, но при каждой коротенькой встрече Леонид успевал и обласкать ее взглядом, и сказать такие слова, которые, казалось, и созданы-то были лишь для нее... Галина Хмелько больше не появлялась, и Светлана перестала думать о бойкой казачке. Но Леонид вместе с тем и тревожил Светлану: видимо считая себя виноватым в том, что в бригаде не хватало людей, он был на ногах уже пятую смену. Работал то на тракторе, то на прицепе, а когда его подменяли, чтобы дать возможность уснуть, он все равно не уходил с клетки; за молодыми, неопытными трактористами нужен был глаз да глаз. Спал по несколько минут только во время обеденного перерыва: уснет, как свистнет,— и опять на ногах. Вся бригада поражалась его выносливости и азарту в работе. Но Светлана больше, чем кто-либо, примечала, как изнуряется Леонид, еще недостаточно окрепший после болезни.

Светлана бросилась к трактору в то время, когда он был еще в борозде, а затем пошла с ним рядом к поворотной полосе, тревожно всматриваясь в лицо Леонида за стеклом кабины: он почему-то поменялся местом с Федей.

Выйдя из борозды, Леонид сразу же приглушил трактор и, открыв дверку, со слабой улыбкой спросил Светлану:

— Замерила? Ну как?

— Леонид, это же чудо! — закричала в ответ Светлана.

— Никаких чудес! Разве не видишь? — Он кивнул на прицеп. — Мы сегодня поставили четыре корпуса. Для пробы. И ничего, здорово тянул! Отошла, согрелась земля!

Соскочивший с прицепа Федя Бражкин, подходя, растирая скрюченные и застывшие пальцы, сказал:

— Кончено страдание, Светочка! Пашем на четырех!

— Правильно, отстрадали! — подхватил Леонид восторженно, но не своим, слабым голосом. — Сейчас ставим на все остальные плуги по четыре корпуса и за ночь дадим сорок гектаров! Вот и выйдет, что все тракторы у нас в строю!

И только теперь Светлана разглядела: Леонид так ослаб, что едва сидит; стоит ему оторваться от рычагов — он упадет. Все его осунувшееся, небритое лицо, воспаленный, вялый взгляд выражали беспредельную усталость; он пытался улыбаться, чтобы скрыть эту усталость, но это было наивной хитростью.

— Я не могу смотреть на тебя! — вдруг негромко воскликнула Светлана, совсем забывая о присутствии Феди Бражкина, и потянулась руками к кабине. — Что ты делаешь? Нельзя же так! Опомнись! И почему у тебя царапина на виске?

— Это... чепуха! — смущенно отмахнулся Леонид.

Федя Бражкин покосился на бригадира и выкрикнул:

— Хорошая чепуха!

— А ты помалкивай! — пригрозил ему Леонид.

— Не буду я молчать!

— Значит, хочешь, чтобы надо мной смеялись, да?

Жалобно поморщась, Федя Бражкин досадливо махнул рукой и отвернулся было, но Светлана схватила его за локоть и потребовала:

— Федя, скажи! Только мне!

— С прицепа он упал, — пробурчал Бражкин.

— Как упал?

— А кто его знает? — ответил Федя, все еще опасно косясь на бригадира. — Оглянулся я, а его нет

на прицепе: лежит метров за триста на целине. Подбегаю, хватаю за плечи — гляжу, спит. Это же безобразие, честное слово! Ну, а если бы под лемеха?

— Все доложил? — спросил Леонид.

— Все. И этого хватит.

— Тогда поехали. И больше, товарищ Бражкин, никому ни слова! Понял? Я шутить не люблю.

У полевого стана торопливо и шумно работала вся бригада. Обе смены, уходящая на отдых и собиравшаяся работать в ночь, сообща очищали тракторы и плуги от грязи, смазывали их отдельные части, проверяли крепления, подтягивали ослабевшие гайки.

Вечерняя пересмена по графику заканчивалась еще при солнечном свете. Солнце теперь стояло низко над землей. Легонький предзакатный ветерок осторожно расчесывал косы у розовых от зари берез.

Остановив трактор и открыв дверку, Леонид прежде всего увидел Аньку Ракитину, которую ждал с часу на час, а позади нее — Хаярова и Даньку. Редко так радовался Леонид, как обрадовался сейчас, увидев непутевых, не очень надежных, но таких нужных теперь ребят: как ни говори, а отныне бригада в полном составе — работай всюю! Леонид заторопился, хотел по привычке одним махом выскочить из кабины, но не тут-то было: ноги не слушались, да и в руках не осталось сил. Кое-как Леонид все же спустился на землю и, глядя на улыбающуюся Аньку и ребят, смущенно отводящих взгляды, проговорил:

— Ну вот, значит, молодцы...

Он хотел шагнуть, чтобы поздороваться с ребятами за руку, но не смог тронуться с места и неожиданно пластом грохнулся на землю.

В одну минуту сбежалась встревоженная бригада. Леонида подняли, перенесли в палатку и уложили на кровать — он спал тяжким, мертвецким сном; сердце его билось часто и оглушительно.

...Тракторы один за другим вставали на заправку и уходили прочь. Последним к заправочной тележке приблизился трактор Виталия Белорецкого, который по болезни не вышел со сменой; в кабине сидел Хаяров, а за прицепом шагал Данька. Заливая в топливный ба́к трактора горючее, Светлана как ни сдерживала свой гнев, а все же уколола дружков Дерябы:

— Что ж вы вчера-то не приехали? Все гадали?

— Дела, красotka, дела! — хохотнув, ответил Хаяров.

— Слыхали о ваших делах!

— Погоди, мы еще покажем, как надо работать! С нами не берись тягаться! Хочешь, мы сегодня же ночью обставим всех ваших передовиков? Молчишь?

— Хвастуны!

Вскоре после захода солнца полевой стан опустел: тракторы ушли на свои загонки, а отработавшая смена ужинали в палатке. Светлана, оставшись одна на нефтехранилище, торопливо протирала и укладывала в ящик заправочный инвентарь, подбирала разбросанные по земле промасленные тряпки. В прошлые вечера она обычно не спешила наводить здесь порядок, часто останавливалась и прислушивалась: как раз в этот синий сумеречный час, отдохнув, вновь ненадолго поднимались в небо жаворонки, и над степью, над которой уже трепетали и плавали сотни огней, вновь ручьи струилась, вливаясь в каждое человеческое сердце, серебристая песнь. Сегодня же ничто, даже эта песнь, не задерживало внимания Светланы, не трогало ее душу — она была точно в полузабытьи от своей тревоги.

Закончив свои дела, Светлана постояла, вздохнула раз-другой и направилась в вагончик, где вечернее девичье секретничанье было в самом разгаре. Девушки немедленно звали Светлану в свой кружок, но чем-то все же были смущены, и Светлане невольно подумалось, что секретничали они о Леониде.

Всегда живая, веселая Феня Солнышко, лукавая, попыталась придать своему лицу выражение безмерной озабоченности, но эта ее попытка была явно безуспешной: быстрые глазки-шарики, казалось, вертелись на ее округлом, добром лице, как веселые чертенята.

— Что же делать? Что делать? — заговорила, захлопотала она, стараясь не встречаться взглядом со Светланой и делая вид, что продолжает прерванный разговор. — Ну чем же, девоньки, кормить-то вас? Тоня вон ездила в колхоз — ничего не выходит: не режут свиных! Нет мяса! К Северьянову надо ехать самому бригадиру, а нас он не слушает.

— Ну, а бригадиру некогда, — грустно отозвалась Светлана.

— Вот и беда! Ему не до мяса.

Но веселая сибирячка не умела хитрить. Видя, что никто из девушек не собирается поддержать ее, она вдруг осеклась, застыдилась, внезапно рассмеялась над своей простотой и, обхватив Светлану пухлыми, в ямочках, розовыми руками, прижавшись щекой к ее плечу, сказала:

— Замять хотела наши секреты, да ничего не получается: с языка он не сходит! Мы ведь все о нем тут говорили. Слышишь, девонька?

До сих пор девушки почему-то не решались говорить со Светланой о ее отношениях с Леонидом Багряновым, хотя, конечно, немало изнывали от неудовлетворенного любопытства. Трудно сказать, почему они осторожничали. Скорее всего потому, что Светлана была самой молоденькой среди них, а по виду очень уж юной, очень застенчивой, и девушки, должно быть, стыдились касаться ее любви. Светлана всегда боялась, что девушки все же вот-вот осмелятся заговорить с ней, и теперь, когда наконец неожиданно случилось это, она с минуту была в полнейшем замешательстве. Но чуткость и благородство Фени Солнышко, не назвавшей имя Леонида, очень облегчили положение Светланы. Потупясь, она вскоре полупшепотом спросила:

— Что ж вы говорили о нем?

— Ужасно он рискованный, кипучий и даже отчаянный человек! — вроде осуждающе, но не без удовольствия ответила Феня Солнышко. — То с директором схватился зуб за зуб, то в ледяную воду полез, а то работает до упаду.

— А это плохо, что он такой?

— Плохо, девоньки! Сгорит скоро!

— Что ты, да его на сто лет хватит! — очень убежденно и слегка развеселясь, возразила Светлана. — Ты знаешь, какой он сильный? И потом, чем чадить, пусть лучше горит.

Только теперь девушки, окружавшие столик, вдруг оживились и заговорили:

— Что верно, то верно!

— Подушила бы тех, от которых только чад!

— Да-а, около огонька и жить весело!

Феня Солнышко, все еще не выпуская из своих объятий Светлану, ласково, как ребенка, раскачивая ее, вздохнула весело и немножко завистливо:

— Счастливая ты!

Потом, обежав глазками всех девушек, точно испрашивая у них согласия на что-то, прошептала:

— Скоро ли свадьба-то?

Будто жаром из топки пахнуло в лицо Светланы.

— Ой, что вы, да какая же сейчас свадьба? — воскликнула она чуть слышно, пряча лицо от смущения. — В такое время!

— Самое время: весна, — возразила Феня и засмеялась.

— С ума сошла, Феня! — совсем застыдилась Светлана. — Какая свадьба, когда здесь такая работа!

— Работа не помеха!

— Да и какая же здесь... жизнь?

— С милым, девонька, рай и в шалаше!

— Да где он, шалаш?

— Сделаем!

Внезапно Светлана вырвалась из объятий Фени Солнышко и, встав у окна, негромко сказала:

— Ну тебя, Феня, мне стыдно!

— А что тебе, дурочка, стыдиться? — ласково оговорила ее Феня Солнышко. — Ты ни у кого ничего не крада. Ты свое в жизни нашла. Тебе надо смело смотреть людям в глаза!

— Ой, да отстань же ты!

Но прошло какое-то время, и Феня Солнышко, зная, что Светлана не умеет сердиться, приблизилась к ней и спросила:

— Кто ж из вас... тянет-то?

— Я, — немного помедлив, созналась Светлана.

— Отчего же? Какие у тебя капризы?

— Не капризы, а сейчас нельзя.

— Если надумала, не тьяни. Это такое дело.

— А что?

— Всякое бывает! — со вздохом промолвила Феня Солнышко. — Я вот тоже... когда-то... тянула-тянула по дурости, а тут и подвернись лиса...

Второй раз, сильнее прежнего, опалило лицо Светланы. Она прижалась пылающим лбом к холодному стеклу и прикрыла глаза. И надо же было Фене сказать то, что она сказала! Перед мысленным взором Светланы мгновенно заплясали в сырой низинке неуклюжие серые журавли и поползла, прячась в блеклой траве, хитрая лиса. Светлана попыталась представить

себе выражение морды злодейки — и опешила: на ее морде прекрасной морской синевой сияли глаза Галины Хмелько. «Бесстыжая! Бесстыжая! — с отвращением мысленно закричала Светлана своей сопернице. — Все, все уже заметили, что ты делаешь! Все видят, что у тебя на уме! Господи, как это ужасно!» Светлана вдруг резко обернулась к девушкам и, точно приняв совет Фени Солнышко, смело посмотрела на них. Но девушки с тревожным изумлением увидели на ее ресницах слезы.

— Я ведь уехала из дому без спроса... — произнесла она с не свойственной ей возбужденностью, давая понять, что у нее особое право на счастье с Леонидом, право, которого не имеет никто, и одновременно подбадривая себя. — И потом, разве все ребята одинаковы? — спросила она одну Феню. — Леонид был очень рад, что я поехала! — добавила она, неожиданно для себя смело назвав имя Леонида и гордясь тем, что защищает его честь.

Но Феня и не собиралась отступить.

— Тогда и тянуть нечего, — сказала она ласково.

— Если она уехала самовольно, значит, у нее с родителями что-то неладно, — высказала предположение Марина Горчакова. — Неладно, Светочка, да?

— Нет, нет, теперь все в порядке, — торопясь защитить и родителей, ответила Светлана; при этом она тонкими, хрупкими пальцами поспешно перебирала пуговицы на своем ватнике.

— Ты присядь, успокойся, — сказала ей Феня.

Девушки усадили Светлану у стола.

— Ну, хорошо, я скажу вам всю правду, — заговорила она, собравшись с силой. — Тут не в одном шалаше дело. Ведь вы не знаете, папа и мама простили меня совсем недавно. Я уже в Лебяжьем получила от них письмо. Они смирились и успокоились. Как же я могу тревожить их опять? Только они опомнились, пришли в себя, а я к ним с новым делом — выхожу замуж! Так, да? Чтобы им новое беспокойство? Чтобы они опять обиделись? Нет, я подожду! Закончим сев, пройдет весна, вот тогда я и напишу им письмо...

— Отца-мать уважаешь, это хорошо! — Феня Солнышко легко тронула плечо Светланы своей розовой рукой. — Только ты зря думаешь, что обеспокоишь их своим письмом. Совсем. девонька, наоборот: обрадуешь!

Они давно ждут от тебя такое письмецо. Как только получат, вот тогда действительно успокоятся, не спорю. Они знать будут, что ты около мужа, под защитой, никто тебя не обидит. А теперь как о тебе думать? Поехала девочка одна в чужой край. Господи, да ты погляди на себя в зеркало! Дите, честное слово! Вон твои ровесницы... Видишь, какие они? Они как дубовые бочата! Их как ни пинай жизнь, они десять раз перевернутся и опять стоят! А ведь если тебя стукнет, тебе будет плохо... Как же не беспокоиться отцу-матери? Они-то знают, какая ты... И опять же, они понимают: такая девочка, а жить приходится среди ребят, в степи. Ну, а за нашими ребятами много худой славы. Да мать, поди, ночи не спит! Пожалей ты ее, напиши!

Светлана покорно слушала Феню Солнышко и чувствовала на себе заботливые взгляды девушек. «А добрые они! — растроганно думала она. — И все видят, все знают...» Чувство благодарности к девушкам приятно согрело грудь Светланы, и она, не поднимая взгляда, вдруг сказала полупшепотом.

— Хорошо, я напишу.

С минуту девушки радостно шумели и толпились вокруг Светланы: они добились-таки от нее того, что было задумано.

— Ну вот, так-то складнее, — заключила Феня Солнышко. — Дней через десяток придет ответ, а там сразу же и свадьба! Ну, девоньки, вот уж когда мы дождемся, вот когда поьем-погуляем! Знай наших!

И опять девушки зашумели, подхватив мысль Фени, но Светлана поднялась с табурета, чтобы вернуться в палатку, к рации, и тут все увидели, что она очень бледна.

— Потихе, ребята услышат, — попросила она жалобно. — Мне же стыдно. И очень прошу вас: никому ни слова! Хорошо?

— Светочка, милая, никому! — за всех пообещала Феня Солнышко и, тронув Светлану за рукав, вдруг спросила: — Погоди-ка, а почему у тебя такой ватник большой? Рукава подвернуты... Очень некрасиво! А ну-ка, давай его сюда! Девоньки, тащите свои ватники!

В куче ватников нашелся такой, который был точно только для Светланы и сшит. Феня Солнышко, одернув ватник на девушке, сказала:

— Носи на здоровье!

— Ну, зачем же?..— смутилась Светлана.

— Носи и помалкивай!

Таким же образом были найдены для Светланы и сапоги с узкими голенищами, более аккуратные на вид. И опять Феня Солнышко под общее одобрение сказала:

— Топай на здоровье!

— Ну, я не знаю даже, что вы делаете...— говорила Светлана, растерявшись от смущения и радостного сознания, что теперь-то она не будет похожа на чучело.

— Зато мы знаем!— ответила Феня.— Теперь скажи: какая-нибудь простенькая юбчонка у тебя есть? А кофтенки? Тогда вот что: с завтрашнего дня тебе запрещается носить лыжный костюм! Довольно! Будешь ходить в юбочке и кофте, а при заправке — надевать фартучек. И не возражай — так надо.

...Ночью Светлана написала матери письмо. Уснуть она долго не могла. Прислушиваясь к дыханию девушек, она думала о том, что в ее степной жизни отныне есть новая прелесть, имя которой — девичья дружба. А во сне Светлана видела, что Леонид нес ее на руках куда-то по степи...

VI

На зорьке, тревожно вскочив раньше всех на стане, Леонид Багрянов тут же отправился к тракторам. Точно в пять, когда он был у полосатой бригадной клетки, на восточном горизонте показался краешек солнца. До пересмены оставалось два самых трудных часа: не привыкших к ночной работе, переутомившихся за ночь ребят так и валила с ног дремота.

У Ваньки Соболя ночь прошла спокойно; заглаживая свою вину в происшествии на солончаке и, должно быть, стараясь заглушить сердечную боль, он работал, пожалуй, лучше всех в бригаде. Обменявшись с ним двумя-тремя фразами на поворотной полосе, Леонид подошел к прицепу, где сидела, согнувшись, Анька в какой-то рыжеватой шубейке и валенках, вероятно позаимствованных у девушек из Лебяжьего.

— Ну, как работается? Тяжело? — заговорил с ней Леонид.

— Видишь? — Анька, не поднимая головы, показала бригадиру руки. — Как грабли. Ну и работа, чтоб ее черти взяли! А стало светать — слипаются глаза, да и только! Того и гляди, запашет Соболь!

— Бог терпел и нам велел.

— Терпел, да не на прицепе.

— Значит, все-таки привела? — спросил Леонид тихонько, отвернувшись от трактора. — Как же ты надувала?

— Стало быть, угодить тебе захотела.

— Ну, а Деряба-то как стерпел, что они пошли?

— Он на курсы скоро: им так и так разлука.

— А что хмурая? Поссорились?

— Все было...

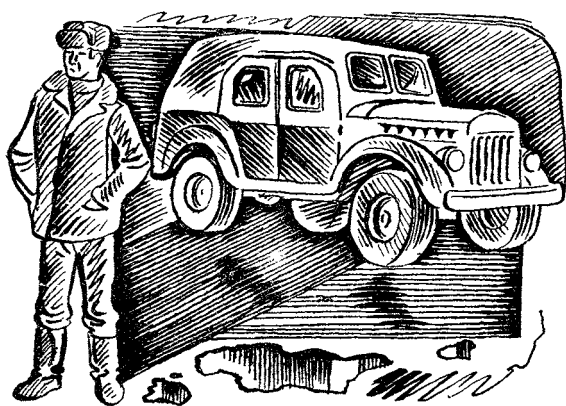
На соседних клетках — у Холмогорова и Белоусова — дело шло так же хорошо. За ночь ни одной неполадки, ни одной вынужденной остановки. Тракторы довольно легко тянули теперь плуги с четырьмя корпусами, и пахота ложилась в степи, будто темные, маслянисто поблескивающие волны.

Но когда Леонид дошел до четвертой загонки, где работали Хаяров и Данька, он вдруг точно остолбенел. Одного взгляда было достаточно, чтобы разглядеть беду: закадычные дружки, задумав, вероятно, с первой же смены обогнать всех, пахали с поднятыми предплужниками, сдирая нетолстый слой дерна, — из-под его пластов повсюду торчали «бороды» — пучки ковыля и типчака.

Пахота была явно загублена. Леонид стиснул челюсти. Пока он смотрел на трактор, выплывающий из низинки, лицо его медленно каменело и покрывалось крупными каплями пота.



ГЛАВА ШЕСТАЯ



С утра небо было чистым, лазурным, а потом над степью широким фронтом двинулись разрозненные, небольшие, но тяжелые синебрюхие облака. Одни из них проплывали мирно, лишь обдавая степь влажной прохладой да бросая на нее свои тени; другие спускали временами короткий, но шумный дождь. Вскоре зачернило весь запад — похоже было, что кто-то замазал его, словно забор, сверху вниз грубой кистью.

Несколько часов Илья Ильич Краснюк носился по степи, щедро окропленной первым за весну дождем, то ярко освещенной солнцем, то в темных пятнах облачных теней. Один раз его машина со всего разбега влетела в густой дождь и затем несколько минут, вилия по скользкой целине, обмывалась в ручьях кристально чистой воды.

Шофер Арсений Непомнящих, местный сибиряк, прекрасно знал степь и возил Краснюка из бригады в бригаду то по едва приметным тропам, а то и бездорожьем. Думая оказать новому директору услугу, он без конца рассказывал о тех местах, по которым они проезжали, и неизменно обращал внимание на разные приметы в пути. Но Краснюк, к удивлению шофера, слушал его весьма рассеянно и все время думал о чем-то своем...

Полевые станы Илья Ильич осматривал со скужающим видом. Более живо он почему-то интересовался плакатами о борьбе с сусликами, которыми были завешаны стены всех бригадных палаток. Иногда он подолгу стоял перед каждым плакатом, рассматривая изображенных в разных позах жирных сусликов и многократно перечитывая уже известные ему тексты. Обычно только после такой процедуры он начинал знакомиться с работой бригады.

Осматривать пахоту Илья Ильич предпочитал молча. Бригадиру он задавал не более двух-трех вопросов, ответы на которые были уже известны ему из утренней сводки, и очень редко делал какие-либо замечания или давал советы. С трактористами вообще не разговаривал. Одни спали, другие работали, а отрывать их

Краснюк не разрешал: дескать, сейчас дорога каждая минута.

Почти всем бригадам жилось в степи неважно (плохо было с питанием, дровами, водой), но все они — и это сразу бросалось в глаза — работали горячо, дружно, напористо. В каждой бригаде бывал случай, когда Краснюк мог от всего сердца порадоваться первым удачам новоселов и одарить их добрым словом. Но ничто почему-то не радовало Краснюка...

В Залесиху Илья Ильич приехал в середине зимы. Когда в чистом синем халате, с позолоченной авторучкой в кармашке, он впервые прошелся с озабоченным видом по захудалой мастерской МТС в сопровождении бывшего директора, внешне ничем не приметного в толпе рабочих, все с удовольствием и надеждой подумали, что начинается новая полоса в истории станции, которая отныне будет отмечена высокой заводской культурой.

О Краснюке дружно заговорили:

— Вот это да! Это директор!

Никто не мог и подозревать, что новый директор приехал в Залесиху не по доброй воле.

...В начале войны Илья Ильич Краснюк эвакуировался из Харькова на Алтай вместе с тракторным заводом и со временем, по великой нужде, прижился в степном сибирском городке, хотя и не переставал тосковать по родной Украине и почти столичной жизни.

Это был весьма посредственный инженер. За несколько лет он постепенно перебивал в разных отделах, лабораториях и бюро завода: всюду от него избавлялись деликатно, без всякого шума. Покладистое заводское начальство во избежание обид и неприятностей в своих приказах всегда изображало дело таким образом, что Краснюк переводится с места на место исключительно в интересах завода. Очевидно, такие переводы не только не вредили репутации Краснюка, а, наоборот, постепенно создавали ему популярность как всесторонне сведущему, незаменимому инженеру. К тому же он считался высокоидейным человеком. Он всегда произносил хотя и не оригинальные, но совершенно правильные речи. И всегда, как бы случайно, старался быть под ру-

кой руководителей завода. Можно ли обижать такого человека?

Прошлой осенью партия решила двинуть в деревню крупные руководящие силы, чтобы круто поднять сельское хозяйство. Из Барнаула на Алтайский тракторный завод пришло указание — выделить несколько опытных инженеров для назначения их директорами машинно-тракторных станций. Совершенно естественно, что в их число немедленно попал Илья Ильич Краснюк. Один из руководителей завода, первым назвавший его фамилию, безотчетно подчинялся при этом законному желанию избавиться от Краснюка навсегда. Но, находясь во власти долголетнего самовнушения, он утверждал, что названный кандидат — незаменимый человек для выполнения высокой государственной миссии в деревне.

В райкоме партии разговор был коротким. Секретарь райкома, оглядев Краснюка, молвил:

— Так вот, товарищ Краснюк, партия решила послать вас в деревню.

У Краснюка враз ослабли руки и ноги. Как никогда в жизни, ему вдруг захотелось предельной честности. Ему захотелось сказать, что он просто-напросто не желает, всей душой своей не желает ехать в деревню, и это так же естественно, как он не желает умереть. Но тут же Краснюк содрогнулся: после слов секретаря, подумал он, отказаться невозможно. Лицо Краснюка, нежное той нежностью, какая свойственна только природе рыжих, сильно повлажнело. Он прижался грудью к столу секретаря, сделал привычное сусличьё движение губами и затем произнес как мог спокойнее:

— Поверьте, я с удовольствием, но...

— А в чем дело? — перебил секретарь.

— Но я не знаком с сельским хозяйством, — досказал Краснюк несколько высокопарно, испытывая облегчение оттого, что хотя бы закончить фразу ему удалось честно.

— Поможем, — пообещал секретарь.

— Но мне будет трудно.

— А вы ищете легкой работы? — с удивлением спросил секретарь. — Не ожидал... И на заводе и в райкоме о вас другого мнения.

Илья Ильич понял, что погиб.

— Вы подумайте, — сказал секретарь, будто бы реше-

ние вопроса в конечном счете зависело от самого Краснюка.

— Я подумаю,— поспешно и растерянно пообещал Краснюк, чувствуя, что дальнейший разговор только повредит его партийной репутации.

Анна Ефимовна раскричалась на весь дом, услышав, что мужа посылают на работу в деревню, но тут же овладела собой: не Илья Ильич, а она была главой семьи, и ей не подобало проявлять слабость. Длинное, по-лошадиному вытянутое лицо Анны Ефимовны мгновенно приобрело упрямое, своевольное выражение; словно бы закусив удила, сухолядая, в узких брюках, Анна Ефимовна быстро прошла по комнате, затем присела у своей кровати к тумбочке, на которой стоял телефон, и схватила заветный блокнотик.

— Я уже действую,— объявила она мужу.

Анна Ефимовна официально значилась заведующей костюмерным цехом местного театра. Из-за недостатка средств на оформление спектаклей работы в театре было мало. Но именно это обстоятельство как нельзя лучше устраивало Анну Ефимовну. За ширмой своего маленького театрального ателье она открыла большое частное ателье и орудовала в нем в поте лица своего: вела широкую спекуляцию редкими товарами, «обшивала» все «модное общество» города. Поэтому у Анны Ефимовны были широко разветвленные связи.

— Это свинство! — говорила она с негодованием, листая блокнотик.— Посылать к чертям на кулички! Да там не жизнь, а ужас! Ах, Илья, и как это некстати! Мне сейчас так некогда! У меня на днях премьера!

Но не успела Анна Ефимовна привести в движение свои связи, как секретарь райкома, пригласив Краснюка вторично, предложил ему немедленно выехать в Барнаул: туда срочно вызывались все кандидаты для работы в деревне. Анне Ефимовне пришлось оставить все свои дела и отправиться с мужем, чтобы лично вдохновлять его на сопротивление приуготованной ему беде.

Недели две чета Краснюк действовала денно и нощно, обивая казенные и частные пороги, осторожно, но всячески оттягивая решение дела. Боязнь быть исключенным из партии и здесь помешала Краснюку заявить честно, что он, до мозга костей городской человек, к тому же думающий только о сытой и покойной жизни,

категорически не желает ехать в нелюбимую деревню. Илья Ильич всюду твердил то, что мог, по его разумению, твердить безнаказанно: он никогда не работал и не умеет работать в сельском хозяйстве. Но так говорили многие из тех, кого посылали в деревню, на это никто не обращал серьезного внимания.

Узнав о том, что одного из коллег Ильи Ильича за отказ ехать в деревню исключили из партии, Анна Ефимовна вдруг присмирела. Однажды, подсев к мужу, нащупывая пальцами замаскированную у него пышной рыжеватой шевелюрой круглую плешину, словно бы напоминая этим, что ей известны все мужнины секреты, она заговорила на редкость ласково:

— Илюша, но ведь ты в самом деле не умеешь работать в сельском хозяйстве! Совершенно не умеешь!

— Конечно! Что за разговор!

— Ты знаешь только трактор...

— Только!

— Но ведь этого мало?

— Послушай, что ты меня изводишь?

— Илья, молчи, я говорю дело,— одернула его Анна Ефимовна.— Довольно рисковать, надо ехать!

— Ты с ума сошла! — завопил Краснюк.

— Абсолютно здорова.

— Но как я там буду жить? Я не представляю! Как работать?

— Не будем, Илья, мудрить: работай как умеешь,— сказала Анна Ефимовна строго.— Можешь даже гореть на работе день и ночь. Я абсолютно спокойна: тебя снимут еще на посевной, а если нет — на уборке. Они тебя не знают, а я знаю...

— Что ты этим хочешь сказать? — обижаясь, спросил Илья Ильич.

— Ничего нового, Илья!

— Ты что, считаешь меня дураком? — вдруг взбунтовался Краснюк.— Тогда я поеду и докажу, как умею работать!

— Поезжай, докажи! — безжалостным тоном отвечала Анна Ефимовна, дымя папирсой.— Это совершенно безопасно, но зато никаких подозрений. А мы тебя будем ждать. Тебе дадут выговор — и ты дома. Сами виноваты. Я думаю, мы еще успеем съездить осенью в Крым... А чтобы дело вышло наверняка, бери назначение в самую захудалую станцию.

— И возьму! — кричал Илья Ильич.-- И докажу!

— Вот и хорошо. Вот и докажи!

Между супругами Краснюк разразился скандал, какого не было за все годы их совместной жизни. Илья Ильич был рассержен и обижен женой, но понимал, что выхода нет: в самом деле можно лишиться партийного билета. Не успев остынуть после скандала, он явился в краевое земельное управление, согласился на отъезд в деревню и попросил назначения в Залесихинскую МТС, самую отстающую в крае.

— Давно бы так,— сказали ему в управлении.— Мы все удивлялись: у вас такие прекрасные рекомендации!

Вскоре после приезда Краснюка в Залесиху стало известно, что в зоне станции начнется весной освоение огромных массивов целины и залежей, а в марте нахлынули молодые новоселы. Отношения с ними у Краснюка сами собой запутались с первой встречи. Илья Ильич не мог не испытать к ним в глубине души своей глухой неприязни. Поехав в деревню по принуждению, он считал, что и все другие едут туда не иначе, как в силу строжайшей партийной дисциплины. Он категорически отказывался верить в существование подлинных добровольцев, отправляющихся в деревню по велению сердца. «Таких дураков, кроме Зимы, нет пока на свете!» — твердил он себе. И вдруг он встречает не единицы, а сотни людей, добровольно покидающих города и мечтающих о трудной работе и трудной жизни в степи. Своим поступком молодые добровольцы, не ведая того, опровергали стройную систему взглядов Краснюка и как бы пригвождали его к позорному столбу. Это ли не основание для глухой и тяжелой неприязни?

Очень скоро эта неприязнь дала себя знать.

Особенно невзлюбил Краснюк Леонида Багрянова, который выделялся среди новоселов неугомонностью и чаще других портил ему кровь своей заботой об успехах станции. Молодой москвич то гремел на собраниях, требуя введения заводских порядков и строгой дисциплины в мастерской МТС, то изводил разными требованиями, налаживая свою походную мастерскую, то вздумал добиваться изгнания Дерябы. «Землю носом роет, стервец! Будь ты трижды проклят!» — бурно негодовал Илья Ильич. Теперь понятно, что Краснюк невольно, вопреки

здравому смыслу, на удивление людям, испытывал гораздо больше симпатии к Степану Дерябе, чем к Леониду Багрянову.

II

Сегодня утром смугленькая черноглазая Женя Звезда, охотно поехавшая поднимать целину, но грезившая почему-то не вспаханной, а цветущей степью и белыми облаками над ней, сидела, как обычно, в диспетчерской у рации и вызывала новосельские бригады. Поглядывая на карту зоны МТС, мысленно представляя себе то один, то другой полевой стан, вспоминая знакомые лица, Женя разговаривала с бригадирами или учетчиками смело, живо, быстро, понимая всех с полуслова. Да и станция работала дуплексом¹, что значительно облегчало ей дело.

Рядом с ней сидели Краснюк и Зима. После того как Женя заканчивала прием информации, они поочередно задавали бригадирам и учетчикам вопросы о работе и жизни в степи. Илья Ильич до этого дня еще не выезжал в бригады, он судил об их работе только по сводкам и поэтому, естественно, интересовался только тем, что находило в них какое-либо отражение. Он расспрашивал, о причинах аварий и простоя отдельных тракторов, техуходе за ними, расходовании горючего... Главный агроном Зима с начала пахоты побывал уже во всех бригадах и теперь удивлял Женю необычайностью своих вопросов к целинникам. У одного собеседника он спросил, налажен ли подвоз воды и когда будет готов колодец; у другого справился о здоровье захворавшего прицеппщика и о том, когда бригада будет мыться в бане; у третьего расспрашивал о подвозке дров для стана... Жене невольно подумалось, что Краснюк больше заботится о машинах, а Зима — о людях.

И только спустя час Женя вдруг вспомнила, что у нее в столе лежит письмо на имя директора. Передавая Краснюку письмо, Женя вместе с извинениями за задержку его все же успела поинтересоваться:

— Кажется, от жены, да?

Илья Ильич был очень обрадован письмом.

¹ Дуплексная связь — одновременный двусторонний разговор.

— Да, это от жены!

Он присел на табурет у окна, весь зардевшись. Глаза его быстро побежали по строчкам письма, но тут же он легонько вздрогнул, задумался и помрачнел...

Между тем Женя Звездина соединилась с Заячьим колком. Как всегда, отозвалась Светлана, но Женя, прежде чем принять от нее информацию о работе бригады, спросила:

— Светочка, а где же ваш бригадир? Он живой? Почему он никогда не подходит к рации?

— Сейчас он здесь,— ответила Светлана.

— С ним будет разговаривать Илья Ильич.

— Я слушаю,— раздался голос Багрянова.

Женя обернулась и окликнула директора:

— Илья Ильич, вас слушает Багрянов!

Краснюк встрепенулся, оторопело переспросил:

— Кто? Багрянов? Ах, да...

Он вдруг встал, сердито кольнул Женю глазами и вышел из диспетчерской, хлопнув дверью.

Николай Семенович Зима с удивлением покачал ему вслед головой и, подав знак Жене, чтобы продолжала разговор с Багряновым самостоятельно, тоже вышел из диспетчерской.

— Где же директор? — угрюмо спросил Багрянов.

— Понимаете, он только что вышел,— после небольшой заминки ответила Женя.

— Понимаю. Не захотел разговаривать со мной?

Здесь опять произошла небольшая заминка, после которой, сжав кулаки у груди, Женя точно выстрелила:

— Да!

— Ну и черт с ним! — резко и презрительно выговорил Багрянов.— Вероятно, произошло недоразумение?

— Забудьте это,— сказала Женя и, расставив оголенные кругленькие локотки, навалилась грудью на стол и негромко, раздельно спросила: — Товарищ Багрянов, скажите, а не зацвела еще степь?

— Что вы, еще рано! — ответил Багрянов, вероятно немало удивленный тем, что его случайное обещание при отъезде из Залесихи не забыто.

Близ рации в Заячьем колке раздался смех.

— А кто у вас там смеется? — возмутилась Женя.

— Это ребята тут...— ответил Багрянов.— Они ост-

рят. Неужели, говорят, новая графа появилась в сводках: о цветении степи?

— Конечно! — не задумываясь, выпалила Женя.

— Ну и бюрократи-и-изм! — донеслось к ней из Заячьего колка.

После этого Женя Звезда приняла от Светланы информацию, из которой и узнала, что тракторист Хаяров, временно заменивший больного Белорецкого, допустил брак в работе. Дурная весть очень расстроила Женю. Жалея Багрянова, у которого беда за бедой, и зная об отношении к нему Краснюка, Женя решила попридержать печальную информацию в своем столе.

Тем временем Николай Семенович Зима, остановив Краснюка около вездехода, приготовленного для первого выезда в степь, глазами приказал шоферу отойти в сторону и начал настойчиво уговаривать директора побыть сегодня же в Заячьем колке.

Вначале Краснюк слушал молча, изредка барабанил пальцами по брезентовому тенту машины, затем возразил кислым голосом:

— Послушайте, Николай Семенович, но ведь вы только что были там!

— Был, но, к сожалению, очень недолго: надо было лететь на это дурацкое совещание в район, — ответил Зима. — У них там плохо с питанием и не хватает людей. Я заезжал к Северьянову и советовал ему серьезно подумать о бригаде. Но ведь Северьянов не очень-то сговорчивый человек. Багрянову с ним, конечно, нелегко...

— С Багряновым тоже несладко, — заметил Краснюк.

На мужественном скуластом лице Зимы, загорелом и обветренном, сошлись черные густые брови. Зима опустил голову и досадливо потер ладонью лоб.

— Я буду говорить откровенно, Илья Ильич, — продолжал он. — Меня все более удивляют и даже беспокоят ваши отношения с Багряновым. Почему они сложились так худо? Это для меня пока остается тайной.

— Какая же здесь тайна? Что за подозрения? — выкрикнул Илья Ильич. — Он дерзок и груб! Вот и вся причина!

— Вы забываете: он молод.

— Но разве молодые люди имеют какое-то особое право на дерзость и грубость?

— А разве мы, руководители, коммунисты, имеем право обидчиво и даже враждебно относиться к молодым людям с еще не устоявшимся характером? — возразил Зима, вцепившись взглядом в лицо Краснюка. — У нас не было и нет такого права! Нам дано одно право: воспитывать молодых людей. Но пока, если говорить откровенно, мы воспитываем их плохо.

— Как же его воспитаешь, если он лезет драться?

— Ну, знаете ли, Илья Ильич, — продолжал Зима, пожав плечами, — я тщательно расследовал все, что произошло тогда на Черной проточине. Почему вы испугались его? Это никому не понятно. Он увидел вас с Дерябой и мог нагрубить вам. Но он и не думал драться.

— Это он сам вам сказал? И вы верите?

— Верю!

— Вот это и плохо! — воскликнул Краснюк, наконец-то переходя к нападению. Нежное розовое лицо его вдруг вспотело, а светло-карие глаза блеснули яркой прозеленью. — Вы влюблены в него и уделяете ему слишком много внимания! Вы все еще находитесь под впечатлением своего романтического знакомства с ним. Это мешает вам взглянуть на него трезвым взглядом. Поймите, ведь он теперь совсем уже не тот мальчишка, которого вы встретили во время войны! Он взрослый человек и, кажется, духовно искалечен войной.

Зима сухо усмехнулся и ответил:

— Иskalечен войной не он, а другой человек, его ровесник, которого, кстати сказать, вы почему-то уважаете больше, чем Багрянова.

— Вы опять о Дерябе?

— Да.

— По крайней мере, Деряба не лезет не в свое дело.

— Да, это так, зачем ему лезть в наши дела? Ему не до наших дел! — ответил Зима ядовито, думая, что ссора с Краснюком неизбежна. — Он предпочитает залезать своей грязной лапой в нашу кассу. Во сколько обошлась нам его афера с вышкой?

Илья Ильич осекся и забарабанил пальцами по тенту вездехода.

— Деряба опять крутится около вас, — сказал Зима. — Что он затеял?

— Отказывается ехать на курсы,— нехотя ответил Краснюк.

— А куда же собралось его сиятельство?

— В Москву.

— Илья Ильич, не задерживайте! — очень серьезно сказал Зима.— Прикажите немедленно выдать документы. Пусть уезжает. А как его дружки?

— Говорят, ушли вчера к Багрянову.

— Вот видите! И они раскусили Дерябу!

Зима оживился и опять стал горячо доказывать, что директору станции не к лицу обострять отношения с бригадиром из-за каких-то пустых недоразумений. С каждой минутой аргументы Краснюка, несмотря на упрямство, быстро слабели, и в конце концов он вынужден был пообещать, что сегодня же побывает в Заячьем колке.

— Обязательно заезжайте, Илья Ильич, обязательно! — обрадованно твердил Зима, прощаясь с Краснюком.— Пора кончать с этой ссорой.

— Ну, а если он опять нагрубит? — спросил Илья Ильич, уже берясь за ручку двери.

— Тогда не будет ему никакой пощады.

Выскочив на вездеходе в степь, Краснюк начал перечитывать письмо жены. Все письмо было пропитано горькой жалобой на то, что и она и дети очень одиноки без него, очень тоскуют о нем и беспрестанно мечтают о его возвращении домой. Мог ли не помрачнеть, не закручиниться Илья Ильич, получив такое письмо?

III

Перед обедом Краснюк был в Заячьем колке.

На стане он застал только поварих да Ионыча, который запрягал своего мерина в телегу, собираясь взять обед в борозды. Леонид Багрянов, Черных и Светлана расставляли вешки на новой клетке, на которую бригада собиралась перейти через день.

— Бригадир скоро будет,— сообщила Феня Солнышко.

Как и везде, Краснюк начал осмотр стана с палатки. Ночная смена, похрапывая и посвистывая, крепко спала. С плакатов, развешанных по стенам палатки, на них

смотрели суслики. Ну и забавные же это зверьки! Вот один стоит с колоском пшеницы в зубах у своей норки, того и гляди, юркнет в нее, как живой. А вот другой, покрупнее, похвально кучей зерна... Илья Ильич остановился перед запасливым, с хитрой мордой, и стал читать хорошо известный ему текст. Фу-ты, какая чертовщина! Оказывается, каждый суслик уничтожает за год пуд зерна! Но ведь он сам видел, что некоторые участки целинной степи сплошь изрыты сусликами, а Непомнящих утверждает: на гектаре в среднем найдется до сотни этих опасных вредителей. «Ну и расплодилось их нынче! — не раз восклицал шофер дорогой. — Это к урожаю!» Но какой же урожай, если сто сусликов на одном гектаре съедят сто пудов зерна? Вот и паши, засевай целину! На плакатах пишется, что сусликов надо уничтожать. Но как уничтожишь, если их миллионы в степи?

Пока Краснюк раздумывал над плакатами, Арсений Непомнящих, уловив ноздрями приятно раздражающий запах жареного мяса, мало-помалу подобрался к кухне. Уложив в телегу ведерный военный термос и корзины с посудой и хлебом, Ионыч и Тоня отправились к тракторам, а Феня Солнышко, устало обтерев фартуком руки, покосилась на Непомнящих, весело спросила:

— Что заглядываешь? Пахнет вкусно?

— Здорово! Ну и мастерица ты! — польстил он Фене и, кивнув на палатку, начал оправдываться: — Мой-то начальник и сам не позавтракал, и мне не дал! Пока с ним собирались, в столовой пусто. Так что, Солнышко, не откажи, обогрей и приголубь! Эх, и какой же чудесный запах вокруг твоей кухни!

Феня смешно сморщила коротенький нос.

— Запах-то хорош, а мясо есть не станешь.

— Тощёе, что ли? Ничего, сойдет! На масле ведь?

— На масле-то на масле... — И Феня невесело вздохнула. — Только, скажу тебе по секрету, это же... суслики!

— Суслики? Ей-богу? Вот здорово! Это же деликатесная пища! — оживленно заговорил Непомнящих. — Не пробовал еще нынче, не пробовал! А помнишь, как их ели во время войны? Ели да похваливали!

— Да знаешь, как все вышло, — с оттенком скорби в голосе заговорила Феня Солнышко, вероятно обрадовавшись случаю выложить гостю историю, которая ее томила. — Живет у нас тут один парнишка, Петрованом звать. Большой он мастак это зверье ловить! Понаставит везде

капканчики и промышляет. А каждая шкурка — деньги, ему это, по бедности, хорошо. Погляди-ка, вон сколько их на той стене развешано! И вот развесит он шкурки, а мясо жарит да ест! Да так, бывало, аппетитно чмокает, так облизывается, что взглянешь на него — и у тебя слюнки текут. Сначала наши ребята фыркали да бегали из палатки, когда он появлялся со своей сковородой, а потом, гляжу, помаленьку присматриваться стали, принохиваться. А ведь запах от этой суслатины вон какой — любого встревожит. Будь у нас мясо — тогда другое дело, может, никого бы и не поманило, а тут, как на грех, голодно... Ну, гляжу, сегодня утром один примостился к Петькиной сковородке и пробует. И, скажи на милость, вскорости ему так приглянулось Петькино рагу, что он, сердешный, даже жевать не поспевает! А сам знаешь, лиха беда начало. Один отпробовал, и другие налетели! Молодежь! Не поверишь, вылизали сковородку! И тут же, слышу, дают Петьке строгий наказ: иди, мол, тащи на обед побольше этих вредителей, да смотри собаке не бросай, мы сами уничтожим их! Бригадир наш давай было возражать: парень он простой, а все же брезгливый. Ну, а что с нашими горлопанами сделаешь? Требуют! «Это, кричат, лучший метод борьбы с грызунами!» А Петьке только скажи! Он быстренько пробежал по степи, не успела я посуду помыть, гляжу — уже та-щит! Содрал с них шкурки, мясо мне на стол, а сам опять на промысел. Я тоже брезгую, а что поделаешь? Пришлось готовить. Конечно, я все это как следует сделала: на маслице, с лучком, с перчиком...

— Не томи! Слюна течет! — страдающе перебил ее Арсений Непомнящих.

— Если уж организм у тебя так требует, я сейчас, пожалуйста, — с готовностью ответила Феня Солнышко. — У меня есть, для Петьки оставлено. Да о нем какая забота, он скоро свежих принесет.

Через пять минут Арсений Непомнящих уже сидел за столом у палатки и, энергично работая челюстями, уничтожал запашистое белое мясо.

Не иначе как на запах мяса из палатки неожиданно вышел Илья Ильич Краснюк. Увидав шофера, усердствующего над сковородкой, он с голодухи не мог удержать сильное глотательное движение, а затем, смутившись, спросил вроде бы равнодушно:

— Заправляетесь?

— Угу, я тут... немножко, так сказать,— ответил Непомнящих, пряча от директора глаза.

— Да-а, это мы, пожалуй, зря не позавтракали и поехали,— страдая от избытка слюны, проговорил Краснюк.— А времени-то, кажется, уже много?

— Время, оно известно, обед,— растерянно ответил Непомнящих, не зная, как ему быть, и в замешательстве предложил: — Так вы садитесь, товарищ директор, если не брезгуете...

Илья Ильич решил показать, что он, несмотря на свое высокое положение, человек демократического нрава. Тут же, садясь за стол напротив шофера, он сказал:

— Чем же брезговать? Что вместе будем есть, с одной сковороды? Так мы же не в ресторане! — Глаза его уже высматривали на сковороде лакомый кусочек.

Арсений Непомнящих за несколько секунд взмок — вот какой оборот приняло дело! Но отступать было поздно. «Не скажу,— решил Арсений,— а сам он никогда не догадается: мясо и мясо!» Помахав на свое разгоряченное лицо кепкой, Арсений крикнул в сторону кухни:

— Феня, дай еще вилочку!

Выбежав из кухни и увидев директора за столом, Феня так и обомлела. Решив, что повариха с перепугу выдаст его, Непомнящих сам бросился на кухню и на ходу прошипел Фене в ухо:

— Ш-ш-ш!

Илья Ильич оказался хорошим напарником: его половина сковороды быстро пустела. Несколько раз Краснюк порывался спросить шофера, какое мясо они едят, но каждый раз, опростав рот, не успевал сделать это по той причине, что глаза его примечали новый хороший кусочек.

— Ну и народ! — сказал он, утолив наконец голод и покосившись на кухню.— А еще жалуются, что голодно...

— На это они мастера,— уже успокоясь, подтвердил Непомнящих.— А чего жаловаться? У них тут мяса хватит.

За ближними березами и кустами акации послышался шорох высохшей листвы, а через минуту к палатке вышел Петрован. Он был раздут, как бочонок, ремень, которым он перетянул себя, едва удерживал груз под стареньким ватником. Несмело, остороженько, бочком

да молчком, Петрован приблизился к столу и уселся на дальнем краю скамьи. Не здороваясь, настороженно пошмыгивая носом, он стал ждать, что скажут гости.

Но гости, поглядев на белоголового паренька, засеянного веснушками, как просом, почему-то не нашлись, что сказать, и вновь потянулись к сковороде.

За пазухой Петрована вдруг кто-то завозился, взбуривая ватник, и жалобно запищал. Петрован прижал ладонью появившийся бугорок у левого бока и сказал:

— А ну, тихо!

— Это кто там у тебя? — отстраняясь от опустевшей сковороды, спросил Краснюк.

Не отвечая, Петрован сунул руку за пазуху, да не под ватник, а под рубаху, и через секунду поднял над столом крупного, желтого, со светлыми полосками суслика; зверек ошеломленно вертел глазами, щерил зубки и судорожно перебирал лапками.

— Ловишь? — осведомился Краснюк.

— Ловлю, — ответил Петрован.

— Капканами?

— Чем придется: и капканами и р-руками...

— Как же это... руками? Разве его поймаешь?

— На чистом, понятно, не поймать, — согласился Петрован. — А я ловлю на клетке, где пашут. Там у нас между загонками остались узенькие полоски целины. На них и сбились суслики. Норы-то их запаханы, а на пахоту они боятся лезть, вот и мечутся как шальные, а убежать с полосок не сообразят. Там их тьма! Лови да лови! Видите, сколько нахватал?

Осмелев, Петрован подошел к гостям и начал одного за другим показывать сусликов, вынимая их из-за пазухи.

— Тьфу, какая мерзость! — воскликнул Краснюк, насмотревшись на сусличьи морды.

— Грызуны! — ответил Петрован, словно извиняя сусликов за то, что они некрасивы.

Вспомнив о плакатах, Илья Ильич спросил:

— Значит, уничтожаете?

— Уничтожаем! Вовсю! — вдруг со смешком ответил Петрован. — Сначала я один, а теперь — полбригады... — И тут он кивнул на сковородку. — А вы ими тоже, значит, не брезгуете?

У Краснюка мгновенно перехватило дух. Глаза оста-

новились на суслике, которого держал перед ним Петька, расширились. Несколько секунд Краснюк царапал свою грудь, потом, застонав, бросился в сторону от палатки.

IV

Через час после отъезда Краснюка из Заячьего колка на стане появилась Галина Хмелько. Она привезла Петровану посылочку от матери со скромной домашней снедью: пяток яиц, бутылку молока, творог в тряпице да пирожков с горохом. Но Петрован, к удивлению Хмелько, нисколько не обрадовался посылке. Он молча и угрюмо освеживал суслика. Хмелько присела на чурбашек, валявшийся рядом, и участливо спросила:

— Что с тобой? Что-нибудь случилось?

— Дир-ректор гонит из бр-р-ригады.

— Тебя? За что?

— А вот за этих самых сусликов.

— Да ты не волнуйся, расскажи.

Приехала Хмелько в обычном для себя настроении — оживленная, сияющая, с весенним солнцем в синих глазах, которые, казалось, все время искали что-то в Заячем колке. Начиная свой рассказ, Петрован ожидал, что Хмелько, услышав, как накормили директора сусличьим мясом, залыется на весь колок серебряным колокольчиком. Но с ней вдруг произошло совсем другое: ее оживления как не бывало, от ослепляющей улыбки не осталось и следа.

— А потом, потом? — спросила она в нетерпении.

— Ну, а потом и пошло! — продолжал Петрован. — Является бригадир, а директор выходит из-за кустов: морда опухла с натуги, во какая, глаза красные, волосы взмокли... Здорово его выворачивало, до крови! Выходит он и прямо вот так на нашего бригадира: «Вы по какому такому праву малолеток здесь держите? — орет во все горло. — Закон нарушаете? Убрать! Долой!» И опять же: «Кто вам разрешил молодых патриотов, можно сказать, героев кормить опасными вредителями полей? А вы знаете, что от них происходит зараза? Вы что, желаете под суд?» Раскричался, пена на губах. Того и гляди, кондрашка хватит.

— Ну, а бригадир? — с усилием прошептала Хмелько.

— Стоит как железный, почернел весь! — ответил

Петрован.— Чересчур долго терпел. Но кто же может стерпеть? Вот он разжал зубы да и спрашивает: «Да вы что, товарищ директор, кидаетесь на людей? Стало быть, на самом деле обожрались сусликов и взбесились от их заразы?» Ну, тут директор и вовсе взорвался, как атомная бомба. А я стою и думаю: «Что же будет, если он к тракторам поедет и увидит, что Хаяров уже вспаханную целину да опять пашет?»

Хмелько на секунду испуганно прикрыла рот пальцами, потом спросила с придыханием:

— Допустили брак, да? Мелко вспахали?

— Ужасно мелко! Так, чуть-чуть содрали...

— Да как же случилось? Почему?

— Все эти дружки Дерябы...

— Что же было? Он увидел?

— Он и не ездил к тракторам,— ответил Петрован.— Он давай скорей домой— помирать от сусличьей заразы. А бригадир— вот чудак!— возьми да и скажи ему о мелкой пахоте...

— Сам сказал? Ну, а директор?

— Шкуру, говорит, за все сдеру! Сел и уехал.

Хмелько быстро встала.

— А вы знаете, Галина Петровна, что я потом сделал?— продолжал Петрован с повеселевшим взглядом.— Идемте, поглядите.

В палатке не хватало места для плакатов о борьбе с сусликами— один из них был вывешен на глухой стене вагончика. На голове суслика была подрисована коричневым карандашом высокая курчавая шевелюра, схожая с шевелюрой Краснюка. Хмелько всплеснула руками и рассмеялась.

— Похож?— спросил Петрован.

— Вылитый!

— Здесь уж хохоту было! Кто ни взглянет, так и катится со смеху. Теперь директора прозвали «Сусликом». Пусть знает!

Но Хмелько уже не смеялась.

— Нехорошо давать прозвища,— заметила она.

— У нас тут у всех прозвища...

Встревоженно оглядев стан, Хмелько спросила:

— Где же сейчас бригадир?

Новую клетку разбивает.

Галине Хмелько хотелось тут же отправиться к Багрянову, но, постояв немного, искусав до конца сухую бы-

линку, сорванную на ходу, она медленно побрела в глубину колка...

Фронт разрозненных дождевых облаков давно прошел, немного освежив и кое-где обмыв землю, но небо сплошь не обложило: очень уж большое оно над степью. Вышина вновь ослепительно блистала атласной голубенью. Но по краю горизонта, на западе, не поднимаясь высоко, все же клубились черные тучи, что-то выжидая и накапливая силы.

В голом березовом колке было сказочно светло и торжественно, как в беломраморном дворце. Где-то на верхних ярусах мелодично вызванивали зорьки и горихвостки: их трели проникали во все закоулки степного дворца. Хмелько шла, прислушиваясь к ним с наслаждением и надеждой. Ничто так не успокаивает человека, как весенние птичьи голоса! Наконец она выпрямилась, встряхнула золотыми кудрями и пошла уже твердым шагом к северной опушке колка.

Хмелько надеялась найти Багрянова где-нибудь в центре новой клетки, а то и на дальнем ее краю, за два километра от колка. Но едва она вышла к опушке, как увидела его вместе с Ионычем: они шагали рядом с рыдваном, на котором везли длинные вешки.

Заметив Хмелько, Леонид быстро поговорил о чем-то с Ионычем и, отпустив его, остался один...

За трое последних сугок Хмелько не смогла бы выбрать для встречи с Багряновым часа худшего, чем этот час...

В первую памятную ночь работы, думая о Хмелько, Леонид твердо решил, что она должна уйти с его дороги. Тогда же он сурово приказал себе добиться этого от Хмелько при первой же встрече. Все дни он оставался верен своему решению. Ему трудно было работать, но легко жить — он с наслаждением жил своей преданностью Светлане.

Сегодня, увидав ее в юбке и сиреневой шерстяной кофте, в пушистом берете, непривычно нарядную для степи, отчего-то повеселевшую, с какой-то светлой мыслью в тихом взгляде, Леонид в несчетный раз за эти дни подумал, что она изумительна и необыкновенна и что он счастливее многих, очень многих на свете. И хотя он был удручен тем, что натворили за ночь Хаяров и Данька, и ожидал, что вот-вот грянет гром над его головой, ему стало легко и радостно от одного ее взгляда.

да. Та неясная, но светлая мысль, что горела в нем ровно и спокойно, внезапно как-то по-новому тронула его чувства к ней. Он порывисто поймал Светлану за тонкую кисть руки, думая о том, что никогда еще ее взгляд не озарялся такой прекрасной мыслью. О чем она думала так хорошо? Откуда у нее такое веселое спокойствие?

— У тебя есть секрет, да? — спросил ее Леонид.

— Да, — ответила она, вспоминая о своем письме к матери.

— Это будет твой последний секрет?

— Да.

Леонид догадался, что она наконец-то написала родителям заветное письмо.

...Леонид не собирался быть жестоким с Хмелько. Еще утром, счастливый своей любовью к Светлане, он мог говорить с Галиной вполне спокойно. Но схватка с Краснюком ожесточила его, он не успел еще остынуть и только поэтому, дождавшись Хмелько, не здороваясь, заговорил раздраженным тоном:

— Вы здесь? Идите составляйте акт...

— Какой акт? — опешила Хмелько.

— О мелкой пахоте... Вы же грозили...

Только теперь Леонид взглянул Галине Хмелько в глаза и оторпел от неожиданности: никогда не думал он, как много тревоги может быть в ее глазах, всегда сияющих бесконечной морской синью. «За меня тревожится», — опалило его огнем. И тут Леонид с нестерпимой болью и со стыдом понял, что все последние дни, ненавидя Хмелько, он вместе с тем тяжело и глухо тосковал по ней. Он стал противен самому себе. Он готов был убить Хмелько за то, что она любит его и тревожится о нем, а себя — за то, что обрадовался ей и ее тревоге.

— Вы все знаете? — спросил он угрюмо.

— Да, — ответила она, легонько кивнув головой.

Он тут же смерил ее уничтожающим взглядом.

— Но вам-то какое до этого дело? Вам-то какая забота? — заговорил он, теряя всякую власть над собой от сознания своей слабости перед Хмелько. — Мне не нужна ваша забота. Не нужна. Все! Уходите прочь!

...Через какие-то секунды фигура Хмелько уже мелькала в глубине светлого степного дворца...

Как все вспыльчивые, но добрые в душе, совестливые люди, Леонид Багрянов тут же, не успев еще Хмелько скрыться в Заячем колке, со стыдом признался себе, что обошелся с нею, добиваясь своей цели, непростительно грубо, и ему захотелось немедленно извиниться перед ней. Он быстро зашагал на стан, надеясь найти ее там, но оттуда вскоре донеслись выхлопы, похожие на выстрелы, и затем глуховатый рокоток удаляющегося мотоцикла.

— Она прибежала сюда как чумовая, истинное слово! — с удивлением и тревогой рассказал ему Петрован. — Вроде ничего не видит перед собой. Ей-богу, разбиться может! Как ветром ее отсюда сорвало!

— Не сказала, куда поехала?

— В Лебяжье, куда же больше? — ответил Петрован и, по-зверушечьи зыркнув по сторонам глазками, поинтересовался: — Небось под горячую руку попала, да?

— Ты помолчи об этом, — попросил Леонид.

— Угроздило же ее!

Разговор с Петрованом еще более расстроил Леонида. «Налетел, давай кричать, давай обижать! А за что? — всячески казнил он себя. — Да и как я мог гнать ее, когда сам же... хотел видеть ее?»

Обычно мысль Леонида, человека деятельной, стремительной жизни, работала легко и быстро, о чем бы ни приходилось ему думать. Теперь же мысли точно пробирались сквозь таежную крепь: с большим трудом и болью — и часто плутали, не находя просвета. О работе и говорить нечего: она валилась из рук. Некоторое время он срубал лопатой дернины типчака, расчищая на открытом месте площадку для солнечного обогрева семян. Потом перешел к сеялкам: задумал лично проверить их готовность к работе. Но и здесь задержался недолго. Вновь схватив лопату, он стал намечать места для полевой мастерской и кузницы. И вновь через несколько минут яростно всадил лопату в землю. Нигде не было покоя и отрады его душе! Еще совсем недавно, четыре дня назад, жизнь была ясной, голубой, как небо над степью, но с той минуты, как он увидел Хмелько близ орлиного гнезда, в жизни точно появилось облачко, и — не успел он опомниться — вокруг уже стояла тьма. Жутко и тоскливо. Хоть волком вой! Не зная, что делать, за что взяться, Леонид с полчаса бесцельно бродил по колку, все ожидая чего-то, а затем сел на

землю под березой в дальнем конце пруда и схватился за голову.

Его отыскала Феня Солнышко.

— Чего ж ты загоревал-то так? — спросила она участливо, убежденная в том, что горюет бригадир по случаю схватки с Краснюком. — Плюнь и разотри! Что он тебе сделает? Ничего! Пусть своего шофера трясет за грудки. А твое дело — сторона.

— В Лебяжье ехать надо, — сказал Леонид.

— Вот и поезжай! — живо поддержала Феня Солнышко. — Без особого шума, мягко, а все же бери председателя прямо за горло! И не выпускай, пока не даст мяса! Это что же, на самом деле, получается? Бригада пашет целину для колхоза, а колхозу никакой заботушки! Работаем четвертый день, а из Лебяжьего никто глаз не кажет. Как пашем, как живем — им горя мало. А патриоты, нечего сказать, дожили здесь до того, что сусликов жрать начали. Тьфу, срамота!

...Часа за два до захода солнца Леонид запряг Соколика в ходок и отправился в Лебяжье. «Извинюсь — и всему могила!» — мрачновато, с ожесточением подумал он.

Соколик бежал легкой рысцей. В южной стороне, куда он бежал, за большой степной далью виднелся черный мысок соснового бора. У этого мыска, скрытое от взгляда в озерной низине, лежало Лебяжье. Там Леонид встретит Хмелько, спокойно скажет ей несколько слов, и со всем, что волнует его теперь, будет покончено, и вся его жизнь вновь пойдет, как шла прежде...

V

Галина Хмелько не сразу поехала в Лебяжье. Она побывала в бригаде Громова, потом в двух старых бригадах, занятых боронованием огромного массива зяби, и, когда солнце стояло уже совсем низко, вновь выкочила на дорогу, ведущую в село. Но ни быстрая езда, ни шумные деловые встречи не могли успокоить Хмелько: никто и никогда не наносил ее самолюбию такой раны! Никто и никогда! От этого можно было сойти с ума.

В ближайшей низинке, заросшей тарначами, Хмелько свернула с дороги в сторону, бросила у кустов ши-

повника мотоцикл и, не в силах вынести оскорбления, повалилась грудью на землю.

Но не прошло и десяти минут — послышался шелест сухой травы. Хмелько встрепенулась, вскочила на колени и слегка откатнулась назад: перед ней, освещенный вечерним солнцем, стоял, пьяно ухмыляясь, Степан Деряба в распахнутом ватнике, с вещевым мешком за плечами и ружьем-двустволкой. До этого Галине Хмелько приходилось видеть Дерябу раза два, не больше, но она уже немало наслышалась о нем всяких рассказов и потому решила быть начеку. Подойдя к мотоциклу, она взялась за руль, показывая Дерябе, что задерживаться с ним долго не намерена, и с укором спросила:

— Что ж вы... выпили, а идете в степь?

— А чего тут особого? Что она, степь, Дворец культуры, что ли? — ответил Деряба. — Подумаешь, пьяному сюда нельзя!

Опустив на землю почти пустой вещевой мешок и ружье, Деряба сел рядом и широко раскинул длинные ноги в огромных сапожищах, словно стараясь убедить Хмелько, что он настроен весьма мирно. С его опухшего и обгоревшего на солнце лица не сходила косоротая ухмылка; на этом лице не сразу можно было увидеть маленькие, оловянные, закровеневшие глазки. В рыжих, измятых волосах Дерябы виднелась травяная труха, — видно, парень уже отдыхал где-то в пути.

— Не в этом дело, — сказала Хмелько. — Ночь скоро.

— До ночи ветерком обдует!

Деряба сунул руку в карман ватника, а затем, раскрыв ладонь, показал на ней серую птичку с окровавленной головкой и похвастался:

— Во, на лету сшиб.

— Это ведь... жаворонок! — осуждающе сказала Хмелько.

— Велика важность! Тут их тьма, — хмыкнув, произнес Деряба. — Вон слышите, как журчат?

У Хмелько еще более заострился взгляд.

— Будь моя воля, я бы дала вам хор-рошую взбучку за этого жавороночка! — проговорила она с сердцем. — Ходят тут по степи, стреляют птичек! Ни стыда, ни совести!

— Птичек-то жалеешь, добрая душа, а вот людей, допустим, тоже жалеешь? — прищурясь, спросил Деряба ехидно.

— Смотря каких людей,— резко ответила Хмелько.

— Ну, к примеру, вроде вот этого гражданина,— ответил Деряба, ткнув перстом себя в грудь.— Ему надо идти, а у него ноги не идут. Пожалеть его надо? Надо. Сама сказала, ночь скоро. Стало быть, надо подвезти!

— А далеко ли вашей милости?

— В Заячий колок, добрая душа!

— Значит, нам не по пути! Я в Лебяжье...

— Заверни. Подбрось!

— А что вам надо там, в Заячьем колке? — спросила Хмелько.— О Багрянове соскучились? У вас ведь с ним старая дружба?

— Зачем он мне, ваш Багрянов? Мне с приятелями попрощаться надо,— пояснил Деряба и, с трудом поднявшись на ноги, покачиваясь, сообщил:— В Москву еду, добрая душа! Сегодня получил полный расчет. До копеечки. Ну, тем же моментом на попутную машину— и в Лебяжье. А вот до Заячьего колка не доберусь. Тяжело. Ноги, понимаешь, отказали! А как с друзьями не проститься? Непорядок. Прощусь— и прямо на станцию, а через четыре денечка— Москва, «Метрополь», джаз!..— И Деряба, хрипло захохотав, начал делать безобразные движения всем телом.

— Уезжаете, а целину-то небось и в глаза не видели? — брезгливо спросила Хмелько.— Что о ней будете рассказывать в Москве?

— Вот я и хочу на нее посмотреть, затем и двигаю туда,— нисколько не смутившись, ответил Деряба.— Поглядеть, конечно, надо. Значит, подбросишь, да? Что, не желаешь? А не желаешь, давай мотоцикл, я сам доеду!

— А мне пешком?

— Тебе близко. Дойдешь!

— Слушай, катись-ка ты!..— вдруг вспыхив, крикнула Хмелько и хотела уже вскочить на мотоцикл, но Деряба схватил ее за плечо.

— Не даешь? — заорал он над ухом.— А ну, отдай!

Одним рывком он отбросил Хмелько в сторону и взялся было за руль мотоцикла, но Хмелько тут же налетела сзади и сшибла его с ног. Быстро вскочив, Деряба свирепо вытарачил на Хмелько глаза и выбросил вперед огромные ручки.

— У-у, гадюка, где ты?

— Вот я где! — крикнула в ответ Хмелько, бесстраш-

но надвигаясь грудью на Дерябу, и, чего тот никак не ожидал, ударила его ногой в низ живота.

Степан Деряба со стоном свалился наземь и скорчился у мотоцикла. Превозмогая боль, он все же кое-как приподнялся на колени, еще более опьянев от злобы. В его руках блестел коротенький и острый, как шило, нож. Он сказал, щеря желтые зубы:

— Ну, гадюка, налетай!

Хмелько смотрела на него издали, сурово сдвинув брови, готовая в любую секунду сорваться с места.

— Что, слабо? — спросил Деряба.

Теперь он знал, что может действовать смело. Он сел на мотоцикл, дал газ и рванулся к дороге.

Но через секунду Хмелько уже схватила ружье, про которое вгорячах да спяну Деряба совсем позабыл, и над вечереющей степью раздался оглушительный выстрел. Мотоцикл завилал, перескочил дорогу и вместе с Дерябой врезался в тарначи.

Опомнясь, Хмелько вдруг услышала лошадиный топот, оглянулась на дорогу, в сторону степи, и увидела Соколика на полной рыси, а в ходке — на ногах, во весь рост — Леонида Багрянова. Не дожидаясь его, Хмелько полезла в тарначи, держа ружье наготове, и вскоре увидела мотоцикл. Дерябы поблизости не было, и Хмелько, зная, что он прячется в тарначах, крикнула:

— Эй ты, герой, забери ружье!

— На дороге оставь, — отозвался Деряба из кустов.

Багрянов тяжело дышал, пробираясь сквозь кусты к Хмелько. Подав ему ружье, она сказала:

— Отдадите Дерябе.

— Что здесь произошло? Почему стреляли? — заговорил Леонид, растерянно озираясь: видно было, что он от испуга сам не свой.

— Спросите у Дерябы, — ответила Хмелько, вытаскивая мотоцикл на ровное место.

— Ну что вы, обождите... — виноватым голосом попросил Леонид.

Хмелько молча вскочила на мотоцикл и рванула на полной скорости по дороге в Лебяжье.

Получив ружье, Степан Деряба выбросил из правого ствола пустую гильзу и покачал головой.

— Убить могла, дура.

— Что здесь произошло? — спросил Багрянов.

Но Деряба по вполне понятным причинам отказался рассказывать о том, что произошло между ним и Хмелько. Однако он сообщил, что направляется в Заячий коллок.

— Тебе нечего там делать,— сказал на это Багрянов.

— Это что же, к друзьям-приятелям не пускаешь? — зло косясь, обтирая кровь с исцарапанного лица, спросил Деряба.— А какое у тебя на это право? Где законы?

— Если хочешь, садись, подвезу в Лебяжье,— не отвечая, предложил Леонид и вскочил в ходок.— Бродить ночью по степи не советую: пьяный свалишься где-нибудь и уснешь на сырой земле. Едешь? Я трогаю.

— Трогай!

Какая-то странная нетерпеливость овладела Багряновым с этой минуты. Он начал то и дело погонять Соколика, благо дорога шла в низину, где в правой стороне от нее лежали пресные озера. «Ну и отчаюга! — с восхищением думал Леонид о Хмелько.— С таким бандюгой сладила! До смерти напугала!»

Ни одно из тех чудесных качеств, какими обладала Хмелько в избытке и какими до сих пор любовался Леонид, не шло в сравнение с этим новым ее качеством, только что открывшимся в ней; Леониду казалось, что оно — это новое качество — самое важное для человека, начинающего жизнь в здешней степи.

Леонид не думал в эти минуты о Светлане и тем более сознательно не сравнивал ее с Хмелько. Но помимо его воли они сравнивались в его сознании сами собой. У Светланы все было в будущем: и характер, который только-только начал крепчать, и та особенная женская красота, которой она едва лишь начинала светиться. Она была прекрасна больше всего именно тем, что обещала, отчего Леонид и сравнивал ее с зарей. Но то, что Светлана обещала в будущем, Хмелько имела уже сейчас...

Теперь Леонид хотел встретиться с Хмелько как можно скорее, позабыв, однако, с какой мыслью он уезжал из Заячьего колка. Он забыл, что должен был извиниться перед Хмелько и вырвать ее вон из своего сердца. Она вонзилась теперь в его сердце еще глубже — вот так зерновка ковыля вонзается в землю.

Сосновый бор и Лебяжье были уже близко. Леонид ехал низиной, которую затыгивало легчайшей сумеречью.

Правее от дороги чернели заросшие камышами озера; далеко за ними, предвещая на завтра ветер, громоздились багровые облака. В левой стороне тянулись солончаковые хляби; там кое-где сверкала ярко-алая вода и покрикивали верные обитатели гиблых мест — чибисы. Чем-то необычна и немного тревожна была сегодняшняя вечерняя заря — вероятно, тем, что грозилась непогодой.

Вновь пошли реденькие тарначи. Соколик вдруг испугался чего-то и начал сбиваться с дороги. Сдерживая его, Леонид, не веря своим глазам, увидел влево от себя, около кустиков шиповника, Галину Хмелько. Она выпрямилась у мотоцикла, тыльной стороной ладони убрала волосы со лба и подставила лицо заре. Остановив Соколика, Леонид быстро зацепил вожжи за решетку облучка, соскочил с ходка и нетерпеливо оглядел Хмелько. И опять что-то дрогнуло в нем, как тогда, у орлиного гнезда...

— Что случилось? — крикнул он Хмелько на ходу, не слыша своего голоса.

— Да вот... Деряба испортил! — отозвалась Хмелько, счастливо жмурясь от солнца.

Леонид безо всякого труда завел мотор и тут же, ошарашенный догадкой, заглушил его. «Ждала!» — замирая, произнесла его душа. У Леонида вдруг резко выдалась и окаменели скулы. Она стояла так близко! Она так звала! «Что же я стою как истукан? Что же молчу? Зачем я здесь? — в смятении метались его мысли. — Почему я смотрю на нее и не могу оторваться? Что же дальше? Что сказать ей?» И вдруг Леонид, хотя и был будто в горячке, впервые отчетливо осознал: когда он не видел Хмелько, он не только не любил ее, но даже ненавидел за то, что она встала на чужой дороге, он мог с легким сердцем жесточайше осуждать Хмелько, считая ее поступок безнравственным; но в те минуты, когда видел ее перед собой, неизменно как замороженный любовался ею, тянулся к ней... «Что же со мной? Разве я ее люблю? — вновь закричал он себе. — Чушь! Это не любовь. Совсем другое...» Но вместе с тем Леонид продолжал любоваться Хмелько, ее улыбающимся лицом, ее ямочкой на правой щеке...

От Хмелько не укрылось мучительное смятение Багрянова. Однако она так заждалась, так истосковалась по нем, что поспешила объяснить его смятение одной лишь нерешительностью.

— Ну, что же ты? Кричи на меня, грубиян, кричи! — заговорила она, ободряя его и своим голосом и взглядом. — Гони прочь! Бей! Ты на все способен!

Увидев торжество в ее взгляде, Леонид вдруг почувствовал, как все разом перевернулось в нем, — он начал трезветь и леденеть. И вновь, как при первой их сегодняшней встрече у Заячьего колка, в нем вспыхнула ненависть к себе, ненависть и презрение. «Убить тебя, и то мало!» Никогда в жизни он не проявлял такой постыдной слабости...

Хмелько удивленно приподняла брови.

— Ты ведь хотел посмотреть, какая я буду, когда найду свое счастье, — напомнила она, приближаясь. — Так вот, смотри!

И тут Леониду неожиданно вспомнилась его встреча с Анькой Ракитиной в сумерках близ стана... Будь вы прокляты! Да что вы, как дикие кошки, бросаетесь на людей? Впервые за время знакомства Хмелько показалась ему очень некрасивой и жалкой.

— Ты обманулась, — остановил ее Багрянов, взглянув на нее исподлобья. — Это не любовь.

От растерянности Хмелько даже заулыбалась, но так страдальчески, что на время стала в самом деле некрасивой и жалкой...

VI

С полночи над степью засвистел ветер. К рассвету он окреп настолько, что начал гнуть березы, обламывать на них засохшие ветки и гулко хлопать верхом бригадной палатки. Из железной печки, в которой дед Ионыч поддерживал огонь всю ночь, частенько выбивало дым. Сонные ребята ворочались и чихали.

Корней Черных очнулся оттого, что занемела правая нога. Он испугался, что долго спал, и при свете фонарика поглядел на часы. Оказывается, продремал, сидя за столом, не больше получаса. Достаточно. Надо опять идти к тракторам.

У выхода из палатки его встретил Ионыч.

— Значит, кончаете клетку? — спросил он.

— Кончаем, отец!

До этой ночи Корней Черных, как и Багрянов, работал где придется — то на тракторе, то на прицепе. Только с вечера он начал выполнять свои непосредствен-

ные обязанности. А ночь, как назло, выдалась беспокойная.

На вечерней пересмене Виталий Белорецкий, впервые вышедший на работу после болезни, принял свой трактор от Хаярова. Весь агрегат, по словам Белорецкого, был в полном порядке. Корней Черных все же послушал дизель, проверил уровень воды, топлива и масла, осмотрел пылеотстойник, начал пробовать крепления...

— Не доверяешь? — обидчиво спросил его Белорецкий.

— Такой порядок, — сухо вато оправдался Корней Черных. — Да и почему я должен тебе доверять? Ты ведь всего-то третий раз выходишь в борозду. Дизель еще плохо знаешь...

— Не хуже других, будь покоен!

За этим-то неприятным разговором Корней Черных и позабыл спросить Белорецкого, спустил ли он отстой из корпуса грубой очистки, как это положено делать через каждые двадцать часов работы.

Около полуночи трактор Белорецкого начал терять мощность и наконец окончательно остановился. Пришлось промывать фильтр грубой очистки и удалять воздух из отопительной системы.

Теперь у Черных были другие заботы.

Ожидалось, что на рассвете одни за другим допашут свои загонки Соболев, Холмогоров и Белоусов. Сразу же следовало организовать помощь Зарницину и Белорецкому, чтобы общими усилиями сегодня же утром закончить первую клетку целины.

Над степью едва-едва брезжило. Шумел под ветром Заячий колокол. Вдали низко над целиной струились светлые полосы. Корней Черных быстро зашагал в ту сторону, где текли тракторные огни...

...Заранее было известно, что раньше всех допашет свою загонку Ванька Соболев. Но в любом деле полно неожиданностей, и потому Холмогоров и Белоусов, отстававшие от Соболева не так сильно, не теряли надежды вырваться за ночь на первое место. Все эти трое молодых трактористов не любили говорить о соревновании, не очень-то заглядывались на доску показателей (разве что мельком, проходя мимо), но тем не менее каждому из них втайне хотелось отличиться с первых же дней работы на целине.

Но больше всех мечтал о первенстве Ванька Соболев.

При всей своей самоуверенности умный Ванька не мог не видеть, что он в глазах Тони во многом проигрывает рядом с московскими заводскими парнями, особенно с Зарницыным. И не без оснований Ванька рассчитал, что если проиграет еще и в работе, то его карта определено будет бита. Конечно, Соболев отлично знал, что девушки далеко не всегда влюбляются в передовиков, как это изображается в книжках или в кино. Но он понимал также, что ему при теперешней ситуации все же гораздо выгоднее быть впереди всех — на виду у всей бригады.

Ванька Соболев с первого дня боролся за первенство совсем не с теми мыслями, какие были у Холмогорова и Белоусова, но боролся он не менее упорно, чем его соперники по работе. «Да я из-за нее, — думал он о Тоне, — любого обставлю! Кровь из ноздрей!»

Ванька Соболев не жалел ни времени, ни сил на уход за своим агрегатом и всегда держал его в отличном состоянии. Он заботился не только о тракторе, но в равной мере и о плуге, который всегда мог подвести. Всячески стараясь уменьшить тяговое усилие плуга, следил за тем, чтобы лемехи всегда были острыми и установлены в одной плоскости, чтобы колеса не болтались на осях, а все гайки на корпусах завинчивались заподлицо... Он занимался регулировкой плуга не только во время пересмены, но и во время перерывов, понимая, что на целине особенно быстро ослабевают крепления. Все это дало возможность Ваньке Соболеву выигрывать понемногу на каждом круге, а ведь из минут слагаются часы.

Спал Соболев меньше других трактористов. Вставая, он не слонялся без дела по стану, не слушал ребячьи анекдоты да побасенки, а тут же, чтобы не встретиться лишней раз с Тоней, шел к своей загонке, подсаживался в кабину к Феде Бражкину и на ходу учил своего сменщика разным тонкостям работы на тракторе. С его помощью и Федя Бражкин пахал отлично, и весь агрегат, таким образом, шел впереди.

За все дни Ванька Соболев ни разу даже и не подумал сбегать с ружьем на ближнее озеро, хотя иногда гусиные крики до боли тревожили его охотничье сердце. И никогда теперь Соболев не пел песен.

...Еще издали Корней Черных увидел, что Ванька Соболев заканчивает последний гон, и прибавил шагу. Не

успел он подойти к загонке, как Соболев уже остановил трактор на поворотной полосе; Анька Ракитина, оборвав борозду, что-то кричала ему с прицепа, но ее слова относил ветром. Черных приветственно помахал Соболев и Аньке рукой, поздравляя их с победой, и закрычал:

— Что же не пляшете?

— Какая тут, к черту, пляска! — ответила Анька ворчливо. — Я вот с прицепа слезть не могу: руки-ноги отнялись и заоченели. Ой, да помог бы, что ли, Корней Степаныч?

— Что ж ты, в кабине могла бы погреться! — заметил Черных, не торопясь на помощь прицепщице.

— Не зовет! — с неудовольствием сказала Анька о Соболе. — Его вроде подменили. Был парень, а теперь вон какой бука!

— Ты что, в самом деле, девку заморозил? — шуточно построжилась Черных, обращаясь к Соболеву. — А ну, если простудится да помрет?

— Ему обо мне заботы мало, — сказала Анька, слезая с прицепа.

— Проживешь и без моей заботы! — ответил наконец Ванька Соболев.

Выдергивая папироску из помятой, грязной пачки, протянутой Соболеву, Черных заговорил о деле:

— Значит, первенство за вами?

— У москвичей тяга не та, — презрительным тоном ответил Соболев, хотя ему хорошо было известно, что ни Холмогоров, ни Белоусов, которые считались его реальными соперниками, не были москвичами. — Им с сибиряками нечего тягаться: пупки надорвут! — добавил он, рассчитывая, что Черных, как сибиряк, поддержит его взгляд на новоселов, тем более что разговор шел с глазу на глаз.

Но Черных не поддержал земляка.

— Не хвастайся, не заносись! — одернул он Соболева грубовато. — На одного москвича зуб имеешь, а готов всех очернить? Смотри, Иван, не дури! Забыл, что бригадир на собрании сказал?

— Не учи! — огрызнулся Соболев. — Говори дело!

— Так вот, — начал Черных несколько официально, — теперь надо помочь отстающим...

— Какое же это соревнование? — возмутился Со-

боль.— Только занял первенство — подтягивай других. Дали бы хоть немного побыть впереди.

— Значит, ты будешь любоваться собой, хвастаться, что впереди всех, а земле на клетке лишний день пере-сыхать на таком ветру? — спросил Черных.— Клетку поскорее надо запахать да засеять! Не об одном себе — о всей бригаде думать надо.

— На чью загонку ехать? — хмуро спросил Соболю.

— Поезжай на любую!

— Тогда я к Зарницыну, раз можно...

— Не подеретесь?

— Нет, я только посмотрю, какая морда будет у белобрисого кота, когда я прибуду к нему на помощь,— ответил Соболю и, сердито окликнув Аньку, которая за-смотрелась в зеркальце в сторонке, полез в кабину трактора.

Костю Зарницына встретили на поворотной полосе. К удивлению Соболя, его соперник, казалось, не испытал никаких неприятных чувств от этой встречи. Он за-говорил с Соболю весьма оживленно и даже приветливо.

— Помогать? — крикнул он и подмигнул, чем вконец озадачил Соболя.— Давай, давай! А то мне хватит тут до морковкина загоненья!

— Конечно, где тебе,— поддел его Соболю, испытывая неодолимую, болезненную потребность схватиться с ним грудь в грудь.

Но даже и после такого начала, видимо стараясь уладить отношения с Соболю, Костя остался миролюбивым и, возможно, поступаясь своим самолюбием, продолжал добродушно, хотя и достаточно твердо:

— Слушай, Соболю, ведь ты же отлично знаешь, что у меня в самом начале поломался плуг. А разве это случилось по моей вине? Ну, а в остальные смены я ведь поднимал ничуть не меньше, чем ты.

— Было и меньше,— возразил Соболю.

— Да, один раз было, это верно. Но ведь я только начинаю работать! Так что подтрунивать надо мной не следует. Ты вот выскочил на полчаса вперед и хвастаешься, а забыл, как вся бригада полночи потеряла, вы-таскивая твой трактор. Еще надо посмотреть, заслужил ли ты первенство.

— Заслужил! — бледнея, ответил Соболю.— Чего тут смотреть?

— Обсудим на бригаде...

— И обсуждать нечего!

Зарницын повел агрегат по загонке, но вскоре остановился: что-то случилось с трактором. Догнав Зарницына, встревоженный его намеком, Ванька Соболев несколько минут выжидал, насупив брови, но потом высунулся из кабины и сердито крикнул:

— Скоро там?

Ветер отнес его слова, и Костя не оторвался от мотора, не ответил. Тогда Ванька Соболев, томимый дьявольской потребностью ссоры, посчитав себя обиженным молчанием Кости, соскочил на землю и, подойдя к сопернику, спросил ядовито:

— Значит, вдвоем будем стоять?

— Обожди ты! Не кипятись! Одна минута! — И Костя, обернувшись, досадливо поморщил белобрысое, измазанное масляной грязью лицо. — Или тебе не терпится? Тебе, видать, обязательно хочется задраться? У-у, несчастный Отелло!

— Какой я тебе Отелло? — заорал Соболев.

— Не знаешь?

— И знать не хочу!

— Тогда вот что!.. — заговорил Зарницын, выпрямляясь и не замечая, что позади уже стоят и слушают прицепщицы. — Если ты и дальше будешь беситься так из-за ревности, то я и на самом деле отобью у тебя Тоню. Отобью, так и знай! Хоть тресни!

У Соболева судорожно сжались кулаки.

— А этого не хочешь? — крикнул он, задыхаясь.

— Тьфу, совсем взбесился наш Отелло!

— Опять, гад, за свое? — в бешенстве закричал Соболев и бросился вперед. — Убью гада!

Но сзади, закричав, вдруг кошкой кинулась на него Анька Ракитина. Остервеневший Соболев зарычал, закружился, стараясь сбросить с себя Аньку, да не тут-то было...

...При восходе солнца к загонке Белорецкого подошли агрегаты Холмогорова и Белоусова. Случилось так, что как раз в это время Соболев и Зарницын оказались на поворотной полосе. Вся бригада, таким образом, неожиданно собралась на небольшом участке. Точно по сговору, трактористы, побросали агрегаты и на минутку сбегались в одно место, столпились вокруг Корнея Черных, принялись быстренько закуривать да ругать непогодь.

— Опять подуло! Ну и ветры здесь!

— Голое место! Дуй вовсю!

— Нынче что-то не видать весны!

Кивая на узкие белесые полосы целины среди темно-го половодья пахоты, Корней Черных спросил ребят:

— Ну как, закончим до пересмены?

— Не успеть,— за всех ответил Белорецкий.

— Не успеем к пересмене — надо задержаться на часок, а все же допахать,— предложил Григорий Холмогоров.— Горючего у нас хватит. Нечего гонять сюда лишний раз тракторы. Накладисто будет.

— Поддерживаю,— сказал Черных.— Как другие?

Все были согласны поработать лишний час, чтобы закончить клетку, и быстро разошлись по агрегатам.

VII

Солнце медленно отрывалось от черты горизонта. Порывистый и резкий низовой ветер, казалось, пытался сдирать со степи сухие травы и со свистом выдувал песчаную пыль с пообсохшей кое-где пахоты.

Корней Черных сел в кабину вместе с Белорецким, решив последить за его работой. Когда трактор делал разворот в конце клетки, близ Лебединога озера, Черных оглянулся в окошечко на запад и переменялся в лице.

— Бури бы не было! — тревожно крикнул он в ухо тракториста.

— Песчаной? — переспросил Белорецкий.— Да откуда ей взяться? Везде же еще сыро!

— Из пустынь налетает.

— И часто?

— Не часто, а бывает.

— Тьфу! Ну и места!

Выйдя к поворотной полосе у Заячьего колка, Черных и Белорецкий остановили трактор и с разных сторон выскочили из кабины на землю. Вера Клязьмина склонилась над штурвалом прицепа. Черных разжал ей пальцы, судорожно стиснутые на штурвале, и повел к трактору, чтобы укрыть от ветра.

— Глаза... — с болью прошептала Вера.

— Где же у тебя очки? Почему не надела?

— Позабыла...

Мимо трактора вдруг пронесло Светлану с поднятыми руками. Она с трудом задержалась в сторонке. Чер-

ных схватил ее за руку, затащил в затишек у трактора, закричал:

— Ты зачем так рано?

— А как же? Клетка-то кончается! — ответила Светлана.

Узнав, что Вере запырило глаза, Светлана выхватила из кармана ватника защитные очки и сказала быстро, решительно, но все же, вероятно, неожиданно для себя самой:

— Я готова!

— Лицо вот платком замотай,— сквозь стон посоветовала Вера, срывая с головы темный платок.

Несколько озадаченный внезапным решением юной москвички, Черных выждал, когда Светлана наденет очки и обмотает голову платком, и только затем сдержанно спросил:

— А сумеешь?

С поспешностью, которая не всегда является признаком уверенности, и с досадой на недоверие Черных она воскликнула:

— Да, да, конечно!

Корней Черных молча проводил ее взглядом, пока она шла до прицепа, а Белорецкий почему-то вдруг нахмурился и сказал:

— Ее же ветром снесет!

— Не снесет,— отозвался Черных.

— Если так, ты садись за руль, а я — на прицеп! — выговорил Белорецкий с видом человека, жертвующего собой.

— А ты без чудачеств! — строго осадил его Черных. — У меня свои дела. Садись и трогай!

Вере он тут же скомандовал:

— А ты — живо на стан!

Не прошел трактор Белорецкого и половины гона, как на западной стороне, мягко заштрихованной узенькой полоской хмари, одновременно в нескольких местах появились желтовато-белесые дымки, будто в степной зыбкой дали двинулась в кильватерной колонне эскадра. Через несколько минут на далеком краю степи уже кучерявилась густая завеса.

На поворотной полосе у Лебединого озера Виталий Белорецкий соскочил с трактора и, подбежав к Светлане, испуганно указал на запад.

— Видишь, как заволакивает? Буря идет!

— Не пугай пугливых! — очень беспечно ответила Светлана.

— Да ты что, чудачка? Тебя же снесет с прицепа! Это же буря! — тревожным голосом закричал Белорецкий. — Ты слышишь, что говорю? Пойдем в кабину! Слезай!

— Оставь! Не теряй времени!

— Я не оставлю тебя! Я не имею права!

— Оставь самовольно! Не беда!

— Ты в своем уме? Ты видишь, что идет?

Черная буря необычайно легко, клубясь, все шире и шире покрывая лазурь неба, двигалась на восток. Все, что встречалось на ее пути в степи, в мгновение ока исчезало в желтой, мятущейся мгле: бродил табун лошадей — и нет его, стоял бригадный стан — точно провалился в землю, шумел колок — сгинул, как в сказке... Во мгле, бурлящей от земли до самых высоких небес, бешено кружились шары перекасти-поля и метались несчастные птицы.

Внезапно вместе со станом бригады исчез Заячий колок, а через несколько секунд буря уже неслась над вспаханной целиной. Вокруг трактора все мгновенно затмилось бешено летящей пыльной мглой. Враз померкло небо. Низко стоящее вдали солнце потускнело и превратилось в маленькое бесформенное красноватое пятнышко. Мельчайшую пыль то тянуло со свистом над землей, точно сквозь трубу, то выюжило вокруг трактора и дико завихряло, то вдруг сыпало ее откуда-то с небес...

Светлане трудно было не только работать, но и держаться на прицепе. Временами ее в самом деле едва не срывало с сиденья. В правый бок и в голову сильно хлестало песком. Сквозь платок, которым она прикрыла рот и нос, трудно было дышать. Песчаным бусом быстро запыляло очки...

Светлана не могла бы сказать, как это случилось, что она вдруг, без всяких колебаний отважилась сесть на прицеп, да еще в непогоду, хотя ей уже очень хорошо было известно, как тяжела работа прицепщика. Еще день назад она, вероятно, не сделала бы этого. Но одного вчерашнего дня хватило на то, чтобы всем существом понять, как чудесно жить среди людей с открытым сердцем и обласканной их дружбой. Теперь весь мир, окружавший Светлану, не казался ей таким однообразным,

сереньким, каким был в действительности. Она смотрела на голый, неприглядный колок и видела его полыхающим на ветру молодой, сочной зеленью; она стояла с вешкой среди сухой, выжженной степи, а ей чудились вокруг то цветущие травы, то бесшумные волны золотой пшеницы...

Вскоре встретились и прошли мимо, как в тумане, агрегаты Холмогорова и Белоусова. Увидев согнувшихся на сиденьях прицеппщиков, парня и девушку, густо запорошенных пылью, но все же орудующих штурвалами, Светлана вдруг как бы со стороны увидела и себя на прицепе — до этой минуты все ее внимание поглощало одно лишь дело — и не только не удивилась себе, запыленной, с наглухо обмотанной головой, в огромных очках, но даже обрадовалась. Самой большой для себя бедой Светлана всегда считала свое слабосилие и от этого очень страдала перед людьми. Правда, она и сейчас не чувствовала себя сильной: у нее уже болело все тело, а руки стали бесчувственными и не всегда вовремя справлялись с лемехами. Оттого, что дышать приходилось сквозь платок, с большим усилием, точно свинцом налилась голова. Пыль, набившаяся под одежду и белье, щекотала и царапала тело. Гон утомлял и даже пугал своей бесконечностью. Нет, где же Светлане, которую не зря зовут Светочкой, сравняться с сильными людьми! Однако она работала наравне с ними, у всех на виду, и только одна знала, что ей тяжелее, чем им, во сто крат! Ну и что же?

В конце борозды, которую прокладывали целую вечность, Светлана, все время прятывшая лицо от ветра, внезапно почувствовала, что ее враз перестало хлестать песком, но зато он еще гуще посыпался с небес. Вокруг совсем стемнело. Вспыхнули фары, и стало особенно заметно, как густая пыльная муть почти при полном затишьи оседает на землю. Трактор остановился; около прицепа точно из-под земли вырос запыленный до неузнаваемости Корней Черных.

— Прошла? — срывая с губ платок, изумленно крикнула ему Светлана.

— Прошла! Да как чудно, будто ей крылья обрезали! — весело, возбужденно заговорил Черных, видимо немало переволнованный за время бури. — Хорошо, что хоть так быстро! Напугалась? Небось душа в пятки

ушла? Ну, слезай, довольно, сейчас дождь хлынет. Обложило, темно, — хоть глаз коли!

— Но ведь еще не закончили! — возразила Светлана.

— Чепуха! Остался один круг. Я допашу...

— Нет, нет! Отойдите! Я сама! — заговорила Светлана с таким детским испугом, словно Черных пытался отобрать у нее из рук не штурвал прицепа, а что-то очень и очень дорогое, только что найденное ею в степи.

— Тебя же зальет! — выкрикнул Черных.

— Не засыпало, так не зальет!

— У тебя вон и руки дрожат...

Это замечание, видимо, обидело девушку.

— Отойдите, разве вы не слышите? — закричала она в полный свой негромкий голос. — Не мешайте! Я сама!

Она защищала свое место на прицепе, как иная сильная птица защищает свое гнездо, где уже бьется живая жизнь. Черных не верил глазам и ушам. Наконец-то поняв, что происходит со Светланой, он неожиданно хлопнул ее ладонью по спине и сказал над ее ухом очень счастливым голосом:

— Трогай! Одобряю!

Не прошло и десяти минут, как могучий, буйный, оглушительный ливень хлынул на степь, потонувшую во мгле...

Когда была закончена клетка, Светлана с трудом забралась в кабину трактора и тяжело опустилась на сиденье. Белорецкий намеревался было той же секундой двинуться на стан, куда ушли уже все агрегаты, но, взглянув на Светлану, невольно убрал с рычагов руки: ей надо было дать хотя бы немножко опомниться от шума низвергающейся с неба воды. По этой причине они задержались на краю сплошного черного массива поднятой целины.

Откинувшись на спинку сиденья, Светлана очень медленно размотала с головы промокший насквозь, весь в грязи темный платок, затем грубовато сорвала свой берет, расстегнула ворот ватника.

Мокрая, словно сейчас из воды, с мокрыми кудряшками, облепившими лоб и лицо, она казалась до предела измученной, опустошенной и несчастной.

От жалости к Светлане у Белорецкого даже заняло где-то в груди. «Глупая, глупая девочка! — подумал он

о ней с нежностью.— Да кому нужно здесь твое геройство?» Он решил тут же чистосердечно высказать Светлане все, что думал о ней, когда она, наивная девочка, и в бурю и под ливнем страдала на прицепе. Он был твердо убежден, что люди совершают геройство лишь ради славы; о том, что человеческая душа может испытывать потребность в тяжелых испытаниях, он и не подозревал. Но именно в тот момент, когда он хотел заговорить, Светлана, точно спохватившись, сорвала с лица загрязненные очки, и Белорецкий, взглянув на нее, мгновенно замер: в глазах Светланы ослепительно сияло детское счастье...

VIII

Леониду Багрянову не пришлось воевать за бригаду в Лебяжьем. Добравшись вечером до села, он сразу же попал на заседание правления колхоза. Здесь на весь дом гремел возмущенный голос Зимы. Удивлению Леонида не было границ: Зима кричал о злосчастных сусликах!

По решению правления на утренней зорьке, еще до бури, зарезали подсвинка, нашли несколько мешков картошки, собрали яиц, масла и разной другой крестьянской снеди. Все это вместе с лодкой и сетями Ионыча, который решил порыбачить на Лебедином озере, было погружено на автомашину и отправлено в Заячий колок. С обратным рейсом на колхозной машине велено было приехать в Лебяжье всей ночной смене: для нее с утра готовились бани.

Леонид отправился в степь сразу же после бури.

— Наши-то где встретились? — заговорила с ним Феня Солнышко, когда он появился на стане.

— У озер...

— Узнал их, чумазых-то?

— Едва узнал...

— Песни небось горланят?

— Горланят...

— Явились после этой бури, как черти из болота,— продолжала словоохотливая Феня Солнышко,— все мокрые, в грязи, на ногах едва стоят. А все равно одно озорство. Пришла машина, так что было! Налетели, облепили со всех сторон, а только тронулись — давай горланить песни!

— Молодость,— сдержанно, тоном человека в годах пояснил Леонид.

— А Светочка-то... знаете?

— Знаю...

— Просто чудо!

Вернулся Леонид из Лебяжьего, несмотря на очевидный для бригады успех поездки, не только не в приподнятом, но даже и не в обычном своем деятельном состоянии. Распрягая Соколика, он старался поменьше встречаться с Феней Солнышко. На все ее вопросы отвечал односложно и несколько рассеянно. О том, как началась сегодня пахота на новой клетке, не расспрашивал, что было уже совсем странно. Он даже не приласкал все время прыгающего вокруг него соскучившегося Дружка и был на удивление тих и задумчив.

— Что еще случилось? — меняя тон, спросила Феня.

— Да ничего особого,— без живости ответил Леонид.

— А что такой... чудной какой-то?

— Не выдумывай!

Спутав Соколика на виду у стана, Леонид некоторое время бродил по колку, равнодушно разглядывая, что наделала здесь буря. Одна береза, перезрелая, наполовину сухостойная, подломилась у комля, где у нее было старое дупло, и легла на землю совсем недалеко от палатки. Другая надломилась на высоте человеческого роста, в месте природной раковины; эта утопила кудрявую вершину в пруду. Повсюду в прошлогодней сырой траве валялись и торчали крупные и мелкие березовые ветки, иногда свежие, истекающие розовым соком, тяжелые от обилия плотных сережек. Попалось на глаза и сорванное с высоты круглое, с небольшим лазом, волосистое, хорошо обжитое гнездышко.

«Стыдно вспомнить, ужасно стыдно,— тягостно думалось Леониду.— Без любви, а так потянуло, как в омут...— Он готов был казнить себя любой казнью.— Оказывается, и я из той же породы...»

Но внезапное увлечение оказалось все же бессильным против его любви к Светлане. Леониду даже казалось, что теперь она приобрела какие-то новые свойства. Может быть, сегодня она, эта любовь, совсем и не такая, какой была вчера? Вероятно. Может быть, и он совсем теперь не тот, каким был вчера? Да, именно так и есть.

Но каким он стал? Во всяком случае, он уже научился видеть в себе порочность...

Около часа Леонид то бесцельно бродил вокруг стана, то брался обрубать сучья у сломанных бурей берез. Неизвестно зачем его вдруг потянуло в палатку. Еще от входа он заметил, что в полумраке на его столе свежо голубеет букетик пролески. «Когда же она успела? — ахнул про себя Леонид.— Неужели после бури?» Он быстро прошагал до своего стола, устало сел на табурет и свесил над букетиком русский чуб...

Здесь его и застал Зима.

— Ждал? — быстро спросил он, войдя в палатку.

Леонид очнулся и поднялся у стола.

— Ждал,— ответил смущенно.

— Ну, а к тебе хозяин целины! — заговорил Зима с явно наигранной веселостью, полуоборачиваясь к только что вошедшему Северьянову и намекая на то, что приезд председателя кладет конец всем недоразумениям и разладу между колхозом и бригадой.

— Какой он хозяин! — задиристо произнес Леонид.

— Хороший хозяин! Ты еще молод...

— У хорошего хозяина и собаки сыты.

— Ну, будет, будет! Прикуси язык!

Грубое, красновато-задубелое лицо Куприяна Захаровича, с затаенной болью в каждой морщине, сильно и нехорошо дрогнуло. Одной этой внезапной гримасы было достаточно, чтобы понять: крупный и сильный сибиряк, должно быть, из могучего рода первых покорителей Сибири, чем-то очень серьезно болен, но скрывает свою болезнь от людей.

Однако Леонид, занятый своими думами, не взглянул на гостя и, неожиданно заупрямясь, добавил с ожесточением:

— Не удалось взять измором!

— Будет! — заорал Зима.

Куприян Захарович вздохнул и произнес устало, с болью:

— Зря я поехал сюда...

Некоторое время Зима смотрел на Леонида, плотно сжав губы, с выражением крайнего напряжения на скуластом лице. Потом он медленно опустил большие, все охватывающие перед собой темные глаза.

— Вот ты какой! — сказал он тихо, с изумлением и грустью.— Не ожидал я этого... Не ожидал! Огорчил ты

меня здорово.— И тут же вновь окинул Леонида взглядом, потребовал: — Мирись!

Но упрямый бес ответил за Леонида:

— Погожу...

Лицо Куприяна Захаровича еще раз нехорошо дрогнуло.

— Не трожь его,— сказал он Зиме.

В степь они вышли молча.

Буря не оставила заметных следов на целине, как это случилось в Заячем колке, зато ливень совершил здесь чудо. Старые, засохшие травы, затянутые паутиной и плесенью, были почти начисто смяты и уничтожены; над оголенной, обмытой, молодо чернеющей землей особенно заметно заискрились свежей зеленью оживающие дернины ковыля и типчака, сиреневой ряской заиграла мельчайшая и пахучая цветень богородицыной травы. Серый, войлочный фон целины за одно утро приобрел нежнейший, радующий глаз изумрудный оттенок. Земля, пропитанная влагой и щедро обогретая солнцем, впервые за эту невеселую весну задышала полной грудью. Над целинной далью нескончаемо и волнисто струилось марево. Огромные и расплывчатые силуэты тракторов уплывали по светлой озерной воде миражей в таинственное целинное царство.

— Сказка! — вдруг восторженно сказал Зима.

Не то Зима забылся, очарованный пробудившейся к жизни степью, не то решил, что пора уже всем забыть о стычке в палатке, но только с этой минуты он, хотя его спутники и продолжали молчать, уже не переставал восторгаться красотой степных раздолий. Когда же вышли к большому массиву поднятой целины, он совсем позабыл о всех неприятностях на свете. Лицо его просияло и очень подобрело. Он окинул быстрым лучистым взглядом зыбкий, густой, маслянистый разлив пахоты, от которой шел парок, зачем-то вдруг сорвал с головы старую фронтную фуражку, точно собирался помолиться пахоте, и прошептал изумленно:

— Ах, какая же это красота! Какая красота!

У Куприяна Захаровича вид поднятой целины, вероятно, вызвал противоречивые чувства. Вначале на какое-то время и он оживился и подобрел, но внезапно от какой-то тайной мысли его лицо опять нехорошо дрогнуло, будто он вдруг увидел что-то над темным гребнистым разливом пахоты. Он и на этот раз, кажет-

ся, хотел промолчать, но, судя по всему, догадался, что его молчание обидит Зиму, и сдержанно отозвался:

— Да, земля как масло...

— Я знаю, что ты раньше не мог сюда приехать,— сказал Зима.— А скажи честно: сердце-то небось с трудом терпело?

— Мое сердце все терпит,— ответил Куприян Захарович.

Зима осторожно покосился на Северьянова, промолчал и, надев фуражку, с минуту оглядывал степь, ладонью защищая глаза от ослепительного солнца. Что-то высмотрев своим зорким взглядом в текущем степном мареве, он сказал:

— Кругом идет дело!

— Пахать теперь хорошо,— отозвался Северьянов.

— Что же будет, когда зачернеет вся целина, до самого горизонта?— спросил Зима и поспешил ответить сам себе, словно боясь, что спутники ответят не так, как надо: — Черное море! На линкоре крой!

— Это верно...

— А что будет, когда взойдет пшеница?— размечтался Зима.— Море станет зеленым, изумрудным и совсем бескрайним. Стой вот здесь, на берегу, и песни пой!

— Еще бы...

— А что будет, когда море станет золотым?— почти закричал Зима.— Слышите? Что будет, когда отсюда и до горизонта зашумят золотые волны пшеницы?

— Вот тогда-то мы действительно запоем!— неожиданно мрачно ответил Куприян Захарович.— До тошноты!

Чудесное видение мгновенно померкло перед сияющим взором Зимы. Он сказал сухо:

— Не вздыхать, Захарыч, раньше времени!

— Вздыхается.

— Уберем! Не вздыхать!— продолжал Зима.— Нынче мы получим много комбайнов, подойдут автоколонны, приедут сотни людей... Государство все даст! Все пришлет! Хлеб уберем до единого колоса! А урожай-то нынче, слушай, какой будет! Да здесь вы насыплете горы зерна!

— А-а, что нам-то от этих гор!— неожиданно высоким голосом с горечью воскликнул Куприян Захарович.— Как жили, так нам и жить...

Смуглое лицо Зимы побурело от прилива крови.

— Будет у вас нынче хлеб! Будет!

— Сомневаюсь.

— Но почему же? — не утерпев, спросил Леонид.

Куприян Захарович некоторое время стоял с низко опущенной головой, вероятно ожидая, что за него поторопится ответить Зима. Но этого не случилось, и тогда он вынужден был сам заговорить с Леонидом:

— Что ж ты... и этого не знаешь?

— Откуда мне знать?

И опять Куприян Захарович, что-то выжидая и обдумывая, стоял молча, с низко опущенной головой. Когда же, будто собравшись с духом, он резко вскинул голову, его лицо, темное, задубелое на ветрах, показалось Леониду каменным, и только в широко открытых глазах его стояла жизнь, огневая, но насквозь пропитанная безысходной болью...

— Уйдут от нас золотые горы! — сказал он тихонько.

— Захарыч, да что с тобой? — закричал ему Зима. — Ты успокойся! Что ты говоришь?!

— Отойди! Не трогай!

— Захарыч, так было, но так не будет. Не будет! Не будет! — весь дрожа, потрясая кулаками перед Северьяновым, с горящим взглядом заговорил Зима. — Никогда не будет! Скоро выйдет новый закон. Ты слышишь? Нас запрашивали — мы сказали свое слово. Слышишь или нет? Вводится твердая натуроплата. Сокращаются поставки. Очень сильно повышаются цены на зерно. У вас будет хлеб! Для себя и для продажи. У вас будут полные закрома. У вас будут миллионы с этой целины.

Необычайное возбуждение, в котором находился Куприян Захарович, вероятно, оглушало его: по лицу было видно, что до него почти не доходят слова о новом законе. Но упоминание о миллионах все же задело и режнуло его будто ножом.

— Да зачем нам миллионы с целины? — закричал он, сделав шаг к Зиме и тоже подняв кулаки. — За что? Государство своими машинами и людьми поднимет целину, засеет ее своими семенами... Государство пришлет комбайны, машины и людей, чтобы убрать хлеб. А что мы, колхозники, будем делать на целине? Ничего! У нас нет на это сил. Так что же выходит? Государство сделает за нас все, а мы ни за что ни про что заберем

половину хлеба, да и продадим его государству же по высокой цене? Какая же здесь государству выгода? Нет уж, раз государство все делает — пусть оно и забирает весь хлеб с целины. Вот как надо! Нам не нужны миллионы даром! Оставьте нам земли по нашим силам, дайте нам справедливую цену за хлеб — у нас и без целины будут миллионы!

— Но как же с целиной? — удивился Зима.

Куприян Захарович рубанул рукой наотмашь.

— Заберите!

— Куда?

— В совхоз!

— Но где он, совхоз?

— Создайте! Машины — вот они! Люди — вот они!

— Но совхоз надо строить.

— Стройте!

— А где деньги? На что строить?

— А вот на те миллионы, какие должны попасть к нам ни за что. В кассе они, деньги-то!

От этой простой и великолепной мысли Зима так и онемел. В явном замешательстве он уставился на Куприяна Захаровича и несколько секунд молчал, с изумлением и тревогой разглядывая его лицо, по которому теперь катился градом пот, потом заговорил не своим, жалобным голосом:

— Куприян Захарович, да что же с тобой? Ты нездоров? Ну можно ли так? Ты весь в огне!

— Идите! — попросил Куприян Захарович, растягивая обеими руками полы пиджака. — Я догоню. Постоять мне надо.

— Хорошо. Успокойся. Мы пойдем.

Пройдя сотню шагов кромкой пахоты, Зима быстро оглянулся на Куприяна Захаровича, который стоял, не сходя с места, и держал в руках кисет. Зима горестно потряс головой и не стерпел, чтобы не укорить понуро шагающего рядом Леонида:

— Обидел ты старика. Здорово обидел.

— Сам каюсь, — глухо отозвался Леонид.

— Ему тяжело. Он весь замордован, — грустно продолжал Зима. — Старый партизан! Еще с Колчаком воевал. Его здесь везде знают... Да и на этой войне воевал не хуже других: у него вся грудь в орденах. Ему в миристрах быть. Ума — палата! Знает землю, знает дело...

Развяжи ему руки, заплати хорошо за зерно — он в два года поднимет Лебяжье над всей степью! А мы его все учим, все бьем, все мордуем... А за что? У него десятки выговоров, которых он не заслужил! Его два раза незаконно исключали из партии! Он меньше всех виноват в том, до чего дожило Лебяжье, и больше всех отвечает за это. А что он может сделать? Кто он? Он существует для того, чтобы было на кого в любое время вешать чертей. Только и всего! У нас ведь издавна так повелось, что все валят на председателей колхозов... Почитаешь книги — большинство председателей только и знают, что губят колхозы: то жулик, то вор, то пьяница... Вроде только по их вине и страдают колхозы! А теперь вот заговорили о том, что многих старых председателей, не имеющих образования, надо заменить агрономами.

— Неужели и его снимут? — спросил Леонид.

— Ходит такой слух.

— А он... знает об этом?

— Вероятно. Он все знает.

Будто сговорясь, Зима и Леонид оглянулись и сказали в один голос:

— Курит.

И вновь не спеша зашагали краем пахоты.

— Ах, какая у него умная мысль! — все более оживляясь, вновь заговорил Зима. — Государственная мысль! Да, колхозам надо оставить столько земли, сколько они могут обработать своими силами, с нашей помощью, а все остальные земли — в совхозы. Для государства — огромная выгода. Совхозы больше сдадут хлеба. Да и дешевле он будет! Это же ясно. Но зачем же он горючится так и страдает?

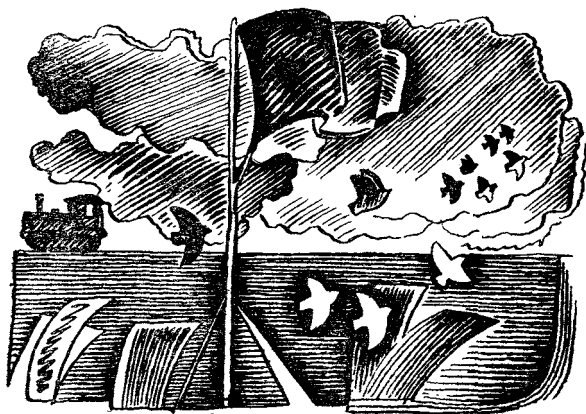
Зима и Леонид, как по команде, вновь быстро оглянулись назад — и обмерли: Куприяна Захаровича не было...

— Сердце! — бледнея, выкрикнул Зима.

Куприян Захарович лежал у края пахоты, головой на гребнистом пласте целины, с широко раскинутыми руками, будто мысленно обнимая все небо с сияющим солнцем в зените...



**ГЛАВА
СЕДЬМАЯ**



Из густого бурьяна на залежи стремглав, но почти бесшумно вылетела матерая линияющая волчица. Остановившись поодаль и слегка избочась, она несколько секунд зорко и настороженно смотрела на Степана Дерябу. Но вот, точно кольнули ее шилом в бок, она разом отпрянула в сторону и мгновенно исчезла в залежных дебрях. Однако не успел Деряба опомниться от неожиданной встречи и сорвать с плеча ружье, лобастая морда волчицы замелькала в помятой полыни по другую сторону межи. «Ох, тварь! Хитрит! Отводит! — догадался Деряба. — Так это ж... где-то у нее тут логово!» Звук взводимого курка вновь сильно отбросил матерую прочь. С бурно застучавшим сердцем, ломая сапогами сухие травы, все время оглядываясь по сторонам, Деряба направился напрямик к тому месту, откуда впервые вылетела вспугнутая волчица...

Через сотню шагов, сделанных в большом напряжении, в ноздри Дерябы вдруг ударило густой псовой вонью, смешанной с душным, гнилостным запахом падали. Деряба даже немного растерялся. Он остановился с выброшенными вперед руками, оглушаемый ударами сердца. «Здесь!» — затрепетала от азарта его душа.

Сначала Деряба увидел среди бурьяна небольшую вытопанную, всю в лежках круговинку, на которой валялись кости, клочья сурчиной шерсти и перья, а потом и волчье гнездо в небольшой ямке под нависшими будыльями свербиги и будяка. На сухой земле, слегка усталанной волосистым типчаком и шерстью, беспокойно стонали и ворочались в плотной кучке, устраиваясь на покой, темно-серые волчата с заостренными ушками и черными ремешками по хребтам. Отделившись от гнезда, два волчонка в светлом шелковистом пуху под темной остью, с очень редким волосом на задних ногах и небольшими белыми пятнышками на груди, играючи грызли и душили друг друга, совсем как щенята.

— Восемь! Восемь штук! — сосчитав волчат одним взглядом, закричал Деряба и, оглядевшись по сторонам, бросился к логову.

Быстро хватая и пряча волчат в пустой вещевой мешок, Деряба вдруг услышал невдалеке шорох и, вскинув голову, обомлел: впереди, в пяти шагах, в сумеречи бурьяна торчала лобастая и остроглазая звериная морда. Выронив из рук волчонка, Деряба крикнул сквозь зубы, схватился за ружье, которое держал наготове зажатым меж колен, ошалело вскочил на ноги выстрелил вдаль, где уже успела согнуться волчица.

— Ух, тварь! — выкрикнул Деряба. — Еще лезет!

Завязав мешок, где кое-как уместились семеро копошащихся, изредка взвизгивающих волчат, и закинув его за плечо, Деряба взял восьмого волчонка, самого крупного, в руки, прижал к груди и, все время оглядываясь, быстро зашагал залежью на запад, в сторону побуревшего за последние дни Заячьего колка.

Волчица безумно металась на некотором расстоянии позади человека, уносящего ее детенышей. Но вот кончилась залежь. Оказавшись на чистой целине, волчица внезапно припала в ковыле, рядом со следом человека, судорожно проползла немного на животе, поцарапала землю лапами, впервые тихонько застонала, а потом надолго, очень надолго замерла с горящим, немигающим взглядом...

В Заячий колок Деряба пришел за час до пересмены. Ночная смена, ездившая сегодня в Лебяжье, в баню, спала богатырским сном. Леонид Багрянов в сопровождении Дружка ходил от трактора к трактору по новой клетке. Дед Ионыч и Петрован повезли лодку и сети на Лебединое озеро. На стане нешумно бодрствовали только поварахи.

Феня Солнышко знала Дерябу еще по Залесихе и, естественно, встретила незваного гостя весьма сухо. Она даже сумела сдержать свое любопытство, когда увидела в его руках волчонка. Стараясь сократить разговор с гостем до предела, Феня едва кивнула головой на его приветствие и сообщила:

— Дружки-то твои работают. Туда пойдешь?

— Нет, дождусь здесь... Скоро ведь?

В ответ Феня Солнышко только кивнула головой на запад: дескать, разве не видишь, где солнце? Стараясь разговорить ее, Деряба показал на протянутой руке волчонка.

— Видишь, кого нашел?

— Вижу, — сдержанно ответила Феня.

— Полный мешок. Вон что делают!
— Тебе везет.
— Счастье,— самодовольно объяснил Деряба.
— На даровщину счастья не бывает.
— Рассуждаешь ты! — воскликнул Деряба, криво ухмыляясь.— Больше двух тысяч отхвачу — мало? Чем же это не счастье?

— Нашел счастье — в волчьем логове! Не много же тебе надо!

— Я не жадный.

В знак того, что разговор о счастье Деряба считает оконченным, он на какое-то время опустил глаза, затем, стараясь показать характер, спросил развязно:

— Моя-то зазноба где?

— Спит. Она в ночной...

— Толкни ее в бок, а?

— Нельзя. Не время.

— Выдыхлась небось?

— Некогда ей было! После ночи — сразу в Лебяжье, в баню, а приехали — шум да гам; едва успокоились и улеглись.— Феня коротенько, горестно вздохнула, подумала и нехотью сообщила:— У нас тут сегодня большая беда: председатель колхоза в одночасье помер.

— Здесь? От чего же?

— Известно, от сердца.

Из приличия Деряба покачал головой.

— Вот я и говорю: уходил бы ты отсюда, подальше от греха! — продолжала Феня Солнышко, скрестив руки на высокой груди и маленькими темными глазками пронзая гостя в упор.— Понимать должен, тут все теперь в сильном расстройстве, а у бригадира — у того совсем темно на душе... Зачем тебе здесь, да особо в такое время? Что тебе приспичило? Бригадир-то ведь запрещал тебе являться сюда... Ну и не лезь на рожон. Не малый.

Лицо Дерябы, одутловатое, облупившееся от солнца и с заплывшими глазками, за то короткое время, пока говорила Феня Солнышко, странно побурело, словно он, таясь, боролся с удушьем. Но все же Деряба, опохмелившийся сегодня в меру по причине нехватки водки и окончательно протрезвевший за день, удержался от окрика и ответил Фене довольно мирно, хотя и угрюмо:

— Попрощаться мне с дружками надо.

— Вон что! Уезжаешь, что ли?

— Уезжаю, Москва ждет.

— Мы по радио слышали,— съязвила Феня с самым невинным видом.— Прямо помирает Москва от тоски по тебе. Ну, что ж, дорожка накатана. Зазнобу-то с собой берешь?

— С собой!

Оглядевшись, Деряба направился в конец пруда. Разговор с острозыкой и беспощадной поварихой все же так взбесил его, что он до боли сжал челюсти и, ступая, с силой ударял подошвами сапог о землю, будто стараясь сделать ей больно. Выбрав среди берез место с таким расчетом, чтобы удобно было наблюдать за всем станом, он без всякой предосторожности бросил наземь ружье, а затем мешок с волчатами — те вякнули в несколько голосов на весь колок и со скуленьем закопошились в мешке... Совсем недавно Деряба держал в мыслях похвастаться волчатами перед бригадой, но теперь у него неожиданно пропала всякая охота потешать здешнее общество. Зачем-то осмотрев со всех сторон, особенно с брюшка, запотевшего в руках волчонка, он взял его за полуголые задние лапки и, размахнувшись, с силой ударил головой о комель старой, шершавой березы...

Запах крови всегда странно возбуждал Дерябу. Убивая волчат одного за другим и обдирая их, он все больше и больше ожесточался и наконец почувствовал приближение того мрачного, грозного состояния духа, которое временами бывало у него в последние годы. «Тихо! Тихо! — скомандовал Деряба сам себе. — Назад!» Весь день он тосковал по водке, но теперь, зная себя, мог только радоваться, что трезв.

Белые березы медленно розовели. Одно время тракторы рокотали совсем близко, иногда у самой опушки колка, но постепенно их рокот отдалился и стих — все они ушли в дальний конец клетки, делая последний круг. В колке после их ухода отчетливо загремела на тысячу ладов веселая птичья разноголосица — пичуги торопились что-то обсудить еще до вечерней зари.

Ударив о комель березы четвертого волчонка, Деряба вдруг услышал позади голос Аньки:

— Ой, да что ты делаешь!

Вероятно, ее все-таки разбудила Феня Солнышко.

— Иди сюда! — позвал Деряба, бросая волчонка на землю рядом с окровавленными шкурками.

— Не пойду я туда!

— Испугалась? Нервы слабые?

Обтерев руки о мешок, Деряба подошел к Аньке, сел рядом под березой у пруда, опустив с обрывчика ноги, приблизился к ней, заглядывая в лицо.

— Ой, да от тебя псиной несет! — брезгливо отстраняя его локтем, тихонько сказала Анька.

— Не от меня — от волчат.

У Дерябы уже закипели на языке ядовитые слова, но он все же сдержался, и Анька, в свою очередь заглянув ему в лицо, удивленно спросила:

— А ты никак трезвый, а?

— Как ангел! Сам себе противный.

— Где ж ты пропадал со вчерашнего дня?

— Блудил.

— Блуди-ил?.. Ну, а ночевал-то где?

— Теперь под каждым кустом ночуй.

— Холодно же еще ночью-то...

В голосе Аньки звучало недоверие.

— Ревнуешь? — осклабясь, спросил Деряба. — Думаешь небось, забрел куда-нибудь к сибирячке? Ха-ха! Где ее найдешь в степи? Не страдай! Верно говорю: свалился замертво под куст и проспал до утра, а сегодня едва оклемался да вот набрел на логово...

Анька вздрогнула, должно быть, со сна.

— Значит, в Москву едешь? — спросила она на удивление равнодушно, поправляя косыночку, которой были стянуты ее пышные кудри. — А что же... на курсы?

— Отказали, — солгал Деряба.

Анька прижалась спиной и затылком к березе, в спокойном и слегка меланхолическом раздумье приподняла худощавое лицо с очень сочными губами. Ни в ее лице, ни даже во взгляде не видно было никаких следов обычного оживления и кокетства, которое не покидало ее в обществе мужчин. Она была на удивление проста и сдержанна.

Деряба очень обрадовался ее равнодушию. В его ближайших планах для Аньки решительно не находилось места. В Заячий колок Деряба пришел только затем, чтобы встретиться с друзьями, а совсем не ради

нее. Он никогда и никого еще не любил. Никакой любви не было у него и к Аньке, хотя он иногда устраивал ей даже сцены ревности, как это делают все люди. Однако отношения с Анькой не только обеспечивали ему известные удобства в холостяцкой жизни, но и весьма приятно отвечали той особой хищнической страсти, которая давно уже ядом разливалась в его душе. «Похоже, я отвалюсь от нее без шума»,— подумал Деряба и, склонясь к Аньке, вроде бы заигрывая, потрогал пальцами кудряшки у ее виска. Поехать вместе в Москву не предложил, что все же было рискованно, а лишь осторожно спросил:

— Ну, а как ты? Надумаешь со мной?

— Нет, не надумаю,— ответила Анька немедленно и очень решительно.

После такого ответа Деряба мог безбоязненно изображать себя обиженным в самых своих лучших чувствах, что он и не замедлил сделать.

— Надоел, значит? На другого потянуло? — спросил он, слегка отстраняясь от Аньки.— Все этот... идейный гад... охмуряет? Может, он тебе сразу на два платья отвалил?

— Дурак ты! — ответила Анька.— Чего ему задаривать меня? Он только мигни — перед ним ни одна девка не устоит. Парень что надо! Работает — весь горит! Залюбуешься! Да и сердце имеет.

— Ого, вон как запела! Ты ему это спой.

— Он не любит хвалебных песен.

— Ну, ласковую спой. Колыбельную.

— Ему без меня ее споют. У него вон какая невеста! Как зорянка!

Все шло как нельзя лучше, но Дерябу это уже почему-то не радовало — в душе его волной тумана вновь поднималось то ожесточение, какое он испытывал, разбивая волчатам головы.

— Значит, не едешь со мной? — переспросил он немного погодя, но уже мрачным тоном.

Анька вдруг резко обернулась к Дерябе:

— А кто ты такой мне, чтобы я ездила с тобой туда-сюда? Ну, кто? Скажи? Как ты меня вот тут — в душе — называешь? Скажи! Что молчишь?

Естественно, Дерябе нечего было ответить — оставалось сделать вид, что ему больно слушать ее глупые слова... Затем он угрюмо спросил:

— Выходит, вся наша любовь лопнула?

— А разве промеж нас была любовь? Нет, Степан, никакой любви у нас с тобой не было! — заговорила Анька, явно решив резать правду-матку. — Я ведь помню, какая она бывает... Не на земле живешь — в облаках. Соловьиной песней она звенит в душе! — Анька разом прижала руки к пышной груди. — Помню, хорошо помню! За нее на смерть пойдешь! Вот сегодня... не помешай я Ваньке Соболю — он обязательно убил бы Костю. Налетел — света белого не видит. А все из-за Тони... Вот это любовь!

— Вам нравится, когда из-за вас ребята убивают друг друга, — заметил Деряба.

— Нравится! Вот раньше, бывало, дуэли были...

— Что ж ты тогда помешала Соболю?

— С испуга.

Через минуту Деряба дотронулся до колена Аньки.

— Значит, любви не было? Что же было?

— Одно распутство, — отрезала Анька, похоже решив облегчить свою душу прямою. — Мне это теперь вспомнить невозможно. Глядеть на себя не могу. Совсем, дура, потеряла совесть и стыд! А все — от тоски... Затосковала я по семейной жизни. Хуже нет такой тоски!

— Ты здесь, на целине-то, не хватила белены?

— Нет, голова моя как стеклышко!

— Поумнела, стало быть? А с чего?

— На чужую любовь гляючи...

Близ северной опушки колка вновь уже слышался рокот тракторов. Анька оглянулась на солнце и затем быстро поднялась на ноги, сказала:

— Сейчас пересмена. Ты тоже уходи. Приедешь в Москву — подумай о жизни. Советую.

— Гонишь?

— Не мозоль людям глаза! Уходи!

Деряба поймал Аньку за руку, потянул к себе, намереваясь, видно, обнять на прощанье, но Анька, обернувшись, уперлась растопыренной ладонью в его грудь и прошептала со стиснутыми зубами:

— Не трогай. Не лезь.

Не дав Аньке даже отойти от пруда, Деряба схватил следующего волчонка за задние ноги и с ожесточением, уже похожим на бешенство, начал раз за разом хлестать им о комель березы...

...Тракторы один за другим потянулись с клетки на стан. На машинной базе, близ поблескивающих на вечернем солнце бочек, собралась вся бригада. Около часа там перекликались разные голоса, раздавался смех, звякало железо, изредка ревели моторы... Когда же скрылось солнце и тракторам настала пора уходить со стана, поднялся невообразимый гам. Воткнув в землю нож, Деряба невольно прислушался: по отдельным выкрикам можно было понять, что бригада насадала на Ваньку Соболя за его ссору с Костей Зарницыным. «Заваривается тут каша!» — подумал Деряба. Он ожидал, что вот-вот начнется драка, но вдруг на базе все стихло, а через минуту дружно зарокотали все тракторы. Когда они ушли в степь, а дневная смена потянулась к палатке, мимо пруда, мелькая между берез, в глубину колка быстро прошел Ванька Соболев. Он ругался на каждом шагу и, оглядываясь назад, злобно бросал бригаде:

— Понаехали, гады! Хлюсты поганые! Шантрапа!

День, начавшийся черной бурей, закончился удивительно тихой, охватившей большую край неба и очень нежной вечерней зарей. В степи на заре уже не звучала, как совсем недавно, многозвучная симфония: кочующее птичье царство за последние дни схлынуло в северные дали, а те птицы, что остались на гнездовье, уже разбивались на пары и начинали таиться у своих гнезд. Зато теперь всю наслаждались свободой и счастьем тысячи тысяч жаворонков; их трогательно журчащее пение струилось над степью даже после захода солнца, до полной темноты. А в колке, тоже охваченном зарей, было уже призрачно: по розовым стволам берез скользили какие-то тени, иногда между деревьями, мгновенно изворачиваясь, быстро проносились какие-то ночные птицы...

От палатки, где слышался приглушенный шумок ужинавшей смены, отделились и двинулись вдоль пруда две фигуры. Деряба сразу узнал: закадычные и покорные дружки! Хаяров и Данька принесли хлеба и миску отварной картошки с жареной свиной. Деряба с жадностью набросился на ужин, а дружки тем временем принялись осматривать единственного оставшегося в живых волчонка.

— Что вы там галдели? — спросил Деряба.

— Соболя первенства лишили, — ответил Хаяров.

— На самом деле? За что?

— Он и верно выскочил в передовики, а вся рожа в пуху,— ответил Хаяров.— Сначала засадил трактор на солонце — вся бригада из-за этого потеряла полночи. Утром сегодня из-за ревности на Костю Зарницына кинулся, а вот сейчас — под мухой. Ездил в Лебяжье, ну и клюкнул там, да и с собой прихватил. Проспать не успел, задумал опохмелиться, а много ли надо с похмелья? Его и заметили на пересмене. Ну и начался грохот!

— Что же с ним сделали?

— Лишили первенства и сняли на ночь.

Деряба неожиданно задумался и долго молча трудился над миской, даже не оглядываясь на друзей,— видно, чем-то очень и очень заинтересовала его печальная история Ваньки Соболя. Тогда Хаяров, в сумерках особенно похожий на грека, потянулся к Дерябе и заговорил:

— Его сняли, а нас вот не сняли. Увидал Багрянов нашу работу, побелел весь, затрясся как припадочный, а все-таки, черт, стерпел! Обругал, конечно, здорово, заставил перепахать — вот и все. Послушались, дураки, тебя: целые сутки чертоломили!

Деряба не терпел замечаний.

— Ничего, не сдохли же!

Хаяров придвинулся к Дерябе еще ближе.

— Дальше что? Смываемся?

Деряба не успел ответить: послышались шуршащие шаги по сухой траве. От палатки шел Леонид Багрянов. Деряба выхватил из рук Хаярова волчонка и развалился под березой в позе независимого, но мирно настроенного человека. Поглаживая волчонка, он слегка погрозил друзьям перстом и скомандовал почти беззвучно:

— Тихо.

Леонид остановился, не дойдя до Дерябы и его друзей, расставил ноги, как перед боем, и спрятал за спиной, под накинутаю на плечи кожанкой, стиснутые в замок руки. Некоторое время он молча всматривался в развалившихся под березой приятелей темным, исподлобным взглядом: за последние сутки он был так растравлен жизнью, что мог взорваться от малейшей случайной искры. Дышал он тяжело, поводя грудью, словно только что выбрел из непроходимого болота, и когда

наконец-то заговорил, немало надивил приятелей странным, хрипловатым голосом:

— Пришел все же, да? А зачем?

Такое начало грозило близкой катастрофой.

— Не брызгай слюной! Сейчас ухожу,— ответил Деряба независимо и дерзко, но по необъяснимой для самого себя причине втайне чего-то опасаясь со стороны Багрянова.

— Ребят сманиваешь, да? — продолжал Багрянов.

— Пробовал сманить — не вышло. Не едут со мной. Не веришь? А вот спроси сам.

Но Багрянов не желал ввязываться в разговоры.

— Прочь! — крикнул он негромко. — Чтобы и духу твоего здесь не было!

Когда он скрылся за палаткой, Деряба покачал головой, ухмыльнулся во все лицо и с облегчением сказал:

— Разъярился-то, а? Как бугай! Глаза ничего не видят. Так и рвется поднять на рога. Ну и бешеный! — Он вдруг поднялся с волчонком в руках и объявил: — Все! Я ухожу!

— А мы? — робко осведомился Данька.

— Вы остаетесь. Уже сказано.

— Да ты что? Тоже взбесился? — спросил Хаяров.

— Не ныть! Ставлю печати!

Деряба потребовал отыскать для него какую-нибудь корзинку. Со всеми предосторожностями она была отыскана среди охотничьих и рыбацких снастей Ионыча, привезенных сегодня из Лебяжьего. Это была пестерька из ивняка для подсадной утки. Деряба сунул в нее волчонка, закрыл крышку суковатой затычкой и, осмотревшись в быстро сгущающихся сумерках, осторожным, кошачьим шагом прошел мимо притихшего стана за вагончик, где над зарослями желтой акации поднимался молодой березняк. Здесь Деряба, командуя одними жестами, заставил приятелей согнуть перед ним молодую березку с курчавой вершинкой. Через минуту корзинка с волчонком уже висела высоко над землей, совершенно скрытая от глаз в бурых, облепленных сережками безовых ветвях.

...Вскрете Деряба, зайдя на кухню напиться, объявил Фене Солнышко, что отправляется напрямиком, без дороги, на станцию Кулунда, и быстро скрылся в вечерней степи...

Это был первый невеселый вечер в Заячьем колке. Смерть Куприяна Захаровича до крайности встревожила бригаду. На стане не стихали разговоры о неожиданной беде; от нее не могли отвлечь ни скандал с Ванькой Сободем, ни появление Дерябы. Все сходились на одном, а именно, что бригадир зря вгорячах пустил слух о какой-то своей вине в смерти председателя колхоза — пожилой, много переживший Куприян Захарович, конечно же, мог умереть в любое время и где угодно... И вместе с тем все с горечью сознавали, что эта смерть, особенно тем, что случилась она после известной ссоры, да еще у Заячьего колка, не может не наложить особого отпечатка на дальнейшие взаимоотношения лебяженцев с бригадой.

В этот вечер на стане не горел костер. Устраиваясь на ночлег в полутьме, только при свете огня в топившейся железной печке, ребята без конца судачили:

— Вот и пойдет зуб на зуб! Слышал, как сегодня Ванька Соболев кричал? Понаехали, кричит, гады!

— Здесь многие так орут.

— А теперь и того пуще орать будут.

— Житье! Как на горячих угольках.

Но больше всех тревожилась Светлана.

С тем счастьем, что явилось ей сегодня в бурю, ей хотелось жить да жить, и вдруг эта внезапная смерть. Откуда она взялась в весенней степи? Настала ночь, все на стане успокоилось, улеглись спать, и только Светлана не могла справиться со своей тревогой. Она видела: Леонид сегодня сам не свой. Сразу же после перемены он ушел на новую клетку, к тракторам: ему хотелось побродить одному в ночной степи.

Светлана сидела перед небольшой лампешкой, прикрыв свет от спящих подруг абажуром из газеты, и очень торопилась закончить скучные учетные дела бригады, а мысленный взор ее неотступно следовал за Леонидом, задумчиво бродившим средидвигающихся в темноте огней. «Что же ты наделал? Зачем ты наговорил на себя?» — говорила она ему вслед. Но Леонид все шел и шел дальше в ночь, не оборачиваясь...

Около полуночи Светлана, часто прислушиваясь, отчетливо уловила звуки конского топота и ржанья. «Ко-

ни дерутся, что ли?» — подумалось ей. Но тут же она решила, что кто-то приехал из Лебяжьего и ищет в темноте по опушке колка бригадный стан. Светлана быстро оделась, схватила фонарик и выскочила из вагончика.

Луна еще не взошла. Вокруг глухая темень. Пройдя немного тропкой в сторону палатки, Светлана остановилась и направила свой фонарик в степь — на дорогу из Лебяжьего. Из освещенной темноты на нее вдруг глянули большие, стеклянно-зеленоватые глаза. Светлана крикнула что было сил, выронила из рук фонарик и воистину без памяти наугад бросилась в сторону палатки. С разбегу она налетела на свисающее отвесно жесткое полотнище брезента, разом рухнула перед ним на колени и в совершенном отчаянии, громко плача, начала обшаривать и царапать его пальцами, ища вход. Но полотнище всюду было цельным и упругим. По другую сторону его вдруг кто-то заворочался и сильно застонал. Светлана еще раз крикнула что было сил и лишилась чувств. Она уже не слышала, как за брезентом сонный хриплый голос спросил тревожно:

— А-а? Что такое? Кто тут?

На крик Светланы из вагончика повыскакивали одетые во что попало простоволосые босоногие девушки. Невдалеке из травы сильно и косо, в сторону степи, бил во тьме свет фонарика. Марина Горчакова схватила его, крикнула:

— Светочка, где ты?

Из палатки шумно повалили парни.

Светлану нашли недалеко от входа. Дрожащую, ослабевшую, ее ввели в палатку и усадили на чью-то кровать против затухающей железной печки. Только здесь, осмотревшись вокруг со слезами испуга на глазах, Светлана в ответ на все расспросы едва ответила непослушными, бледными губами:

— Волки...

В палатке поднялся шум. Одни бросились выпытывать у Светланы подробности, другие, поверившие ей безоговорочно, начали вытаскивать ружья и патроны (многие молодые романтики отправлялись в тот год на Алтай не иначе как при оружии, что прибавляло им весу в своих же глазах!). Не успели горячие головушки отправиться на борьбу против волчьей осады, как в палатке появился Леонид Багрянов. Размахивая ружьями,

парни наперебой стали рассказывать бригадире, что вокруг стана бродит волчья стая.

— Какие весной стаи? — проворчал Леонид. — Уберите ружья!

Ему освободили место рядом со Светланой. Он прижал ее голову к себе, погладил рукой плечо, спросил:

— Что же ты видела?

— Волчьи глаза, — шепотом ответила Светлана.

— А самого волка видела?

— Нет, только глаза.

— Почему же ты уверена, что это был именно волк?

— Я не знаю почему, но я уверена.

Леонид угрюмо хохотнул и сказал:

— Одна лиса всех взбулгачила!

— А у лисы... тоже так... горят глаза?

— Конечно!

Поблизости на стане раздался визг, а через секунду что-то лохматое круглым комом влетело в палатку, закружилось, заметалось по полу туда-сюда и, наконец, ударилось под ноги людям, которые уже с криками бросились врассыпную от печки. В темноте слышались выкрики, стоны, скрип сеток на кроватях, звон посуды...

Леониду не сразу удалось успокоить бригаду и уверить всех, что в палатку влетел Дружок. Встряхивая его за загривок, он выкрикивал раз за разом:

— Вот он, вот, смотрите!

Зажгли огонь, и все разглядели Дружка. Зажатый между ног Леонида, он быстро, затравленно озирался по сторонам.

— Значит, верно она сказала, — заключил Ионыч, кивнув на Светлану. — Это волчица бродит. Детей ищет.

Леониду поневоле пришлось промолчать.

— За детей она горло вырвет. Мать! — с оттенком одобрения продолжал Ионыч. — Мы как-то вдвоем с кумом, в молодые годы, напали с собаками на логово... Господи, что было! Только ключья от наших собак! А нам и стрелять-то в суматохе нельзя... Мой куманек, спасибо ему, все-таки ухитрился, пырнул ее ножом в бок. Ну, слава богу, тогда добились.

Встав на одно колено у печки, Ионыч начал укладывать на затухающие угли дрова. По всей палатке, осо-

бенно там, где сидели девушки, все еще слышались облегченные вздохи: что и говорить, перепугал Дружок здорово! При всеобщем молчании послышался робкий девичий голосок:

— А долго они... волчат ищут?

— Всяко бывает,— охотно отозвался Ионыч, продолжая сидеть у печи на одном колене, в очень удобной для беседы позе и, несомненно, внутренне уже оживляясь от охотничьих воспоминаний.— Одна вскорости забудет, а другая чересчур долго страдает. Как и у людей. У нас к одному охотнику повадилась ходить — отбою не было. Волчат он давно удушил и шкурки сдал, а она все ходит и ходит. Очень настырная и отчаянная была! Только чуток стемнело — она уже крадется из бора, а если время к полночи — крутится у самого дома. И так все лето! Сколько разов стреляли по ней!

Рассказ Ионыча никого не утешил. Ребята смолчали, а среди девушек пополз шепоток:

— Вот еще беда!

— А может, эта забудет?

— Жди! Вон как лезет.

Стараясь лишний раз щегольнуть перед девушками, Федя Бражкин разрядил ружье, дунул в стволы и заговорил с дедом тоном заправского охотника:

— А много у вас тут... волков-то?

— Ми-илый, до черта! — отрываясь от печки, ответил Ионыч.— В наших местах их всегда было много, а уж во время войны расплодилось — тьма! Да какие у нас волки! Во! Нигде нет таких! Это от ученых даже известно. По пять пудов весу, побожусь! У нас, сами видите, волкам одно приволье. Живи и разбойничай: степь! Охотников мало, да и охота за ними мудрая. Это зверь хитрый. В капкан его поймать трудно. На падаль идет плохо. Лучше всего брать его летом. Затаишься, бывало, вечером и слушаешь. Когда засветятся звезды, прибылые с голодухи-то и начинают подвывать: торопят отца-мать с добычей. Тут и засечешь, где их логово! Ну, а если прибылые молчат, побаиваются подавать голос, то сам начинаешь вабить...

— Подвывать,— пояснил девушкам Федя Бражкин.

— Верно. Вот так.

Встав на колени у печки, Ионыч зажал двумя сред-

ними пальцами мясистый нос, сложил ладони рупором, для чего ему потребовалось спрятать под сивую бороду большие пальцы, и молча оглядел своих слушателей, призывая их ко вниманию. В палатке установилась полная тишина. Ионыч вдруг нагнул к полу большую, кудлатую, серую от седины голову и завыл матерым волком — сначала низко, глуховато, гнусаво, а потом, постепенно поднимая голову и выпрямляясь, все более высоко, сильно, протяжно, до жути уныло и тоскливо... Закончил он вой отрывисто, резко откинув голову назад и подняв глаза к потолку. Все невольно вздрогнули в полутьме, а Дружок неожиданно вырвался из рук Леонида и шмыгнул под кровать.

— С ума сошел, дед! — крикнула Феня Солнышко. — Ты всех волков созовешь! Ведь они же близко!

— Ужас! — вздрагивая, прошептала Светлана.

— Отвык, плохо вышло, — пожаловался Ионыч. — Да и начин надо делать в землю. Тогда вой будет глухой, тоскливый... А потом в небо, чтобы версты на три слышать было. Ну, прибылые тут же с радости и забрежут на все голоса...

Неугомонный Федя опять полез к деду:

— А как же их зимой-то в степи берут?

— Раньше, бывало, мы их просто брали, — отвечал Ионыч. — На конях гоняли. Самое милое дело! Выпадет снег, выезжаем в степь. Стронем стаю с лежек — и пошел во весь дух! Кони у нас были резвые, азартные, даже злобные на зверя — сами гнали. Больше десяти верст ни один матерый, бывало, не уходил, а если снег глубокий — на пятой версте уже сядет и высунет язык. Тут, знамо, соскакиваешь с коня и идешь... Подходишь, стало быть, — и р-р-раз чумкарем по башке! Р-р-раз! Он и готов.

Опережая Федю Бражкина с вопросом, он пояснил:

— Чумкарь — дубина такая...

— А если она ломается? — спросили из круга девушек.

— Такого случая отродясь не бывало, — ответил Ионыч. — Для чумкаря мы брали березки с корнем, и чтобы корень был шаром, вроде кулака. Настоящее железу! Любой череп берет!

Вспомнив что-то забавное из своей охотничьей практики, дед Ионыч одиноко посмеялся и сообщил:

— А иной раз ради потехи и живьем брали!

Леонид Багрянов, любивший охотиться с детства, в состоянии той мрачноватой задумчивости, какая не покидала его весь день, безотчетно заслушался деда, но вдруг спохватился и, решив остепенить рассказчика, проговорил недовольным голосом:

— Ну вот, начались охотничьи рассказы!

— Нет, паря, я врать не умею,— ответил Ионыч.— Если говорю — чистая правда. Не веришь? А ты вот послушай.

— Да ведь спать же надо!

Но молодые охотники заступились за деда:

— Выспимся! До утра далеко!

— Пускай говорит! Говори, дед!

— Ну, вот, брали мы их, бывало, таким манером, как при охоте с борзыми,— продолжал Ионыч.— Вот подходишь ты, стало быть, к загнанному волку, а он весь хрипит, туда-сюда глазами зыркает, язык кусает, хочет броситься на тебя, а зад поднять не может! Начисто выдохся. Тут ему и суешь в пасть-то струнку!

— А это еще что? — выкрикнул кто-то из того угла, где поблескивали ружейные стволы.

— Вот такая палка.— Ионыч отмерил ладонями в воздухе расстояние в две четверти.— На конце у нее — бечевка, а еще лучше — ремешок. Волк — злобный зверь, он соберется с силой и хватает струнку мертвой хваткой. И держит. Не отдает! Вот тут-то и не зевай! В один секунд обмотай ему морду бечевкой и затяни! Ну, а уж если не прозевал, успел сострунить волка — он твой, вяжи ему ноги!

— Ну, все, все! Довольно! Спать! — заговорил Леонид со строгостью и поднялся.— Все по местам!

Он взглянул на девушек, давая понять, что это в первую очередь относится к ним, и здесь встретился взглядом со Светланой. Та легонько, с надеждой потянулась навстречу его взгляду и проговорила быстро, жалобно и искренне:

— Я боюсь!

— Отогнали бы,— сказала Феня Солнышко с укоризной.— Ведь она же где-то близко!

Новое напоминание о волчице окончательно допекло Леонида. Он стиснул зубы и произнес негромко, но с остервенением:

— Вот тварь!

С разгоряченным взглядом он двинулся к выходу из палатки, крикнув в сторону ребят с ружьями:

— А ну, пойдём!

Над Заячьим колком в скором времени прогремело несколько выстрелов. В палатку Леонид вернулся очень мрачным, а ребята, особенно те, которым удалось стрелять, в большом веселом возбуждении. Они наперебой стали рассказывать, что своими глазами видели, как волчица выскочила из березняка у вагончика, и дивились ее дерзости.

— Вот бешеная! — воскликнул Федя Бражкин.

— А может, она и на самом деле бешеная, — медленно проговорил Ванька Соболев из темного угла; до этого он отмалчивался на своей кровати, должно быть раздумывая над своей вечерней схваткой с бригадой.

Леонид резко повернулся на голос Соболева, сердито спросил:

— Ты что, еще не проспался?

— Я давно проспался.

— А что же ты бредишь? С чего ей беситься?

— Известно, с тоски. По детям тоскует.

— С тоски не бесятся. Бесятся от особого вируса.

— А вот поживешь здесь, тогда узнаешь, как еще бесятся-то с тоски! — ответил Соболев невозмутимо. — Вон спроси у деда.

— Довольно! Слышали!

Дрожащими от волнения руками Леонид вытащил из пачки папиросу, торопливо закурил и сказал строго, не глядя на Соболева:

— Если проспался, иди работать!

Не ответив, Соболев начал одеваться в темноте.

— Лютуешь? — спросил его Леонид.

— Не знаешь, чем досадить? Ишь ты, напугать vadумал! А мы, да будет тебе известно, не из пугливых!

Увидев, что Соболев достает из чехла ружье, Леонид негромко, но все же прикрикнул:

— Клади ружье на место! Не запугивай!

— Я не запугиваю... А что ты со мной сделаешь, если я сам боюсь? — вызывающе ответил Соболев, продолжая свое дело. — Значит, кругом волки, а я должен так идти? С голыми руками? Рисковать? Сам-то небось с голыми руками и до уборной вон не пойдешь!

— Врешь, я куда угодно пойду! — очень обидевшись, крикнул Леонид.— Мне вот нужно идти искать коней... Так думаешь, я побоюсь без ружья?

Он схватил с гвоздя на подпорке, у которой стоял, длинный кнут, подаренный ему дедом Ионычем,— кнут был сделан из тонкого сыромятного ремешка, с рукоятью из таволожника — железного дерева степи. Потрясая зажатым в руке кнутом, он прокричал перед всеми:

— Вот я с чем пойду!

Но упрямый Ванька Соболь, увлекшись своим злобым замыслом, так и не послушался бригадира. Зарядив ружье, он вышел из палатки молча, но за палаткой немедленно дал волю своей злобе:

— Понаехали, храбрецы! Командуют! Учат!

— Лютует,— согласился теперь Ионыч.

— Эта лютость может завести его далеко,— сказал Леонид.

Проводив девушек в вагончик, он вернулся к палатке и, присев у обеденного стола, кинул на него кнут...

Медленно всходила луна. Взошла она, на удивление, совсем близко от Заячьего колка и показалась Леониду даже и не луной, а каким-то большим светилом, впервые появившимся на небосводе,— огромный малиновый диск его сразу же облил степь, погруженную в непроглядную темь, зловещим светом. Березы вдруг засветились во мраке, точно белые кости. Так и повеяло над степью былинной стариной. Непрестанно слышался то близкий, то далекий рокот моторов, постоянно напоминавший о новой жизни степи, а Леониду почему-то настойчиво думалось, что вот-вот мимо стана с оглушительным гиканьем и свистом проскачет, сотрясая землю, конница печенегов, а вслед ей из белого костяного леса во все горло прохочет сова... Дурацкие, бредовые мысли! Но Леониду вдруг стало от них нестерпимо тоскливо и тошно. Да, вот в таком состоянии, как сейчас, он мог бы сделать что угодно! Он мог бы, например, вскочить на Соколика, догнать где-нибудь в степи Дерябу и на виду вот у этого светила застегать его кнутом насмерть! «Зачем я только поехал сюда? — неожиданно с горячайшим раскаянием подумал Леонид.— Как ведь все хорошо-то было в Москве! Все!» Перед взором Леонида в зареве разноцветных огней вдруг встала

преддраздничная Москва. Шумит принаряженная к Первомай столица, колышется по центральным площадям людское море... А не лучше ли быть каплей в том море, чем озером в этой глухой, былинной степи?

Спал Леонид очень тревожно и по привычке поднялся, лишь успела заняться тихая степная зорька.

Кони обычно паслись в низинке, что восточнее Заячьего колка. Сейчас их там не было. «Неужели на Лебяжье ударились, на залежи?» — подивился Леонид. Он повернул от стана на юг и зашагал вдоль кромки колка, где уже слегка проторилась на целине новая дорога. Но не успел он сделать и полсотни шагов, как из обтрепанных зарослей желтой акации наперерез ему вылетела линияющая, с опавшими боками, большелобая волчица.

Безотчетно защищая кнутом грудь, Леонид остановился и на время затаил дыхание, а когда слегка отхлынула невольная дрожь, очень строго и сердито взглянул в немигающие глаза матерой. Он ждал, что волчица вот-вот, струсив, бросится опрометью прочь: во всех прочитанных книгах писалось, что волки боятся человека. Но прошла секунда — волчица не изменила позы и не оторвала от него взгляда. Прошла еще секунда... Она стояла как изваяние! Прошла еще секунда... Глаза ее все больше впивались в него, как стрелы. У Леонида вновь мелко-мелко задрожали руки. Внезапно шагнув вперед, он во всю силу хлестнул кнутом по земле. Волчица разом отпрянула назад, но не так уж далеко и тут же в один прыжок бесстрашно заняла свою прежнюю позицию. Это пока еще не напугало, но достаточно удивило и встревожило Леонида. Он вдруг подался всем корпусом вперед и вновь с бешенством хлестнул кнутом по земле. Но волчица на этот раз даже не отпрянула. Она лишь разом осела на задние ноги, почти коснувшись сухой травы, а затем, несколько раз щелкнув клыками, в свою очередь шагнула вперед. «Да ты что? — мысленно закричал ей Леонид. — На самом деле взбесилась?» Мысли его работали лихорадочно, но он еще не знал, что делать. Ему известно было, что разъяренному хищному зверю нельзя показывать спину, — нападение почти неизбежно. Значит, отступать? Пятиться? А если кто увидит со стана? Не оберешься сраму! Что же остается? Сделать еще шаг вперед и, может быть, достать кнутом по

волчьей морде? Может быть, матерая все же струсит и убежит? Нет, не похоже: приглушенное рычание волчицы с каждой секундой становилось все более озлобленным, на ее губах закипала слюна, а глаза уж полыхали огнем...

Сердце Леонида сильно забилося. Еще ночью он возненавидел Дерябу и волчицу, появившуюся у стана, одной, неделимой ненавистью — вроде как бы соучастников единого злодейского замысла. Теперь его ненависть возросла. Но Дерябы не было сейчас перед Леонидом, и потому за все надлежало отвечать одной волчице. Наверняка зная, что произойдет, он тем не менее вновь шагнул вперед и с внезапно искаженным лицом закричал, замахиваясь на волчицу кнутом:

— А-а, су-ука!

В тот же момент и волчица, сторожившая каждое движение своего врага, всем телом метнулась вперед, в воздух, точно сорвавшись с крюка, который держал ее у земли, и без ошибки поймала пастью рукоятку кнута. Леонид рванул рукоятку к себе, но волчица впилась в нее зубами намертво; упираясь и пятясь, она стала со злым рычанием мотать и вертеть головой. Она неистовствовала, стараясь овладеть единственным оружием человека. Она так изворачивалась всем телом и так крутила головой, что ременный кнут сам собой вдруг обвился вокруг ее морды. В тот же миг почти автоматически сработала левая рука Леонида: она схватилась за кнут, разом натянула его до отказа и в два счета обвила вокруг свободного конца рукоятки, у самых губ волчицы! В азарте борьбы волчица на сотую долю секунды опоздала почуять опасность; она успела рвануться назад, но не успела разжать пасть: челюсти ее были уже крепко стянуты тонким сыромятным кнутом, а оба конца рукоятки, которую она держала за клыками, теперь уже находились в руках человека. Собрав все силы, пружиня все мускулы, она взметнулась на задние ноги. Леонид отшатнулся назад, но все же устоял и тут же услышал, как из ноздрей волчицы в лицо ударили горячие струи. В глазах Леонида сделалось темным-темно. Он не видел даже ноздрей волчицы, из которых било жаром. Он видел лишь глаза волчицы...

От стана долетел дикий крик и топот. Леонид очнулся, увидел перед собой морду волчицы и вдруг так

крутнул ее голову справа налево, что у нее хрустнули шейные позвонки,—она сорвалась с ног и вместе с Леонидом грохнулась на землю. За время борьбы пальцы Леонида так прикипели к концам рукоятки, что, и падая, он не выпустил их; на счастье, он сразу же всей грудью навалился на бок волчицы—она застопалась, как под ножом, и бешено забила в воздухе задними ногами...

Рядом раздался истошный вопль Ионыча:

— Ми-илый, да ты ж ее сострунил!

— Вяжи-и-и!

III

В центре стана на чистом месте заранее был врыт в землю и закреплен на растяжках высокий, гладко оструганный сосновый шест, привезенный из Лебяжьего. Теперь на нем подняли новенький флаг сочного алого цвета. Утренний ветерок, всегда будто поторапливающий степь пробуждаться на зорьке, немедленно подхватил флаг и начал весело, с шумком полоскать его в чистом воздухе. А потом выглянуло солнце, и флаг весь вспыхнул и еще сильнее затрепетал, зашумел, точно летящее над степью пламя.

— Вот и нарядили степь!—с гордостью произнес Ионыч.

Горячий, шумный флаг неожиданно зажег в душе Леонида удивительное чувство волнения и восторга. Нечто похожее он испытал однажды на войне, когда его родной бригаде вручалось гвардейское знамя. Взгляд Леонида внезапно стал лучистым. В эту минуту он забыл обо всем, что мучило его совсем недавно.

— Это хорошо сказано!—воскликнул он, а потом, вздохнув, продолжал задумчиво:—Ну что ж, одни поднимают флаги на вершинах гор, другие—в ледяных пустынях...

Разгадывая мысли Леонида, Ионыч заметил:

— Здесь тоже не просто поднимать!

— Я вот о чем сейчас думаю...—продолжал Леонид.—Сколько же таких вот флагов поднимется сегодня на всех целинных землях! Не меньше, чем в Мо-скве! Да, нарядим степь!

Ионыч оглянулся на соструненную волчицу, которая лежала поодаль, и тронул Леонида за локоть:

— Гляди, как мечется!

Подойдя к волчице, он опустился на одно колено возле ее морды и заговорил:

— Что, серая, не по нраву красные-то флаги?

...Искать коней Леонид ушел с чувством стыда за свои мысли, которым дал волю нынешней ночью.

Пригнав коней к южной опушке колка, Леонид повстречал встревоженно-серьезного Петрована. Легко было догадаться, что в бригаде новые неприятности.

— Опять новости?

— Дерябины дружки уходят,— хмуро ответил Петрован.

Вопреки ожиданиям Петрована бригадир воспринял неприятную весть весьма сдержанно, лишь слегка побледнел да сдвинул брови...

— Позавтракали? — поинтересовался он, трогаясь с места.

— Завтракают.

Приладясь к шагу бригадира, явно одобряя его сдержанность, Петрован заговорил с возмущением:

— Знамо, дураки. Думают, так мы и заплакали. Не заплачем! Скатертью дорога!

Хаяров и Данька сидели на чурбанах у палатки поодаль от стола, за которым заканчивала завтрак дневная смена. Вещевые мешки лежали у их ног. Они дымили папиросами, с неприятным чувством выжидая, когда всего удобнее будет встать и уйти со стана.

Леонид вымыл руки, присел у края стола.

— Заправились в дорогу-то? — спросил он беглецов.

Тон его голоса, спокойный, немножко грустный, поразил Хаярова и Даньку, которые не рассчитывали, конечно, уйти из бригады без шума и скандала. Они ответили обрадованно, в один голос:

— Все в порядке!

— Куда же идете? — поинтересовался Леонид.

— А туда же... на Кулунду,— глядя в землю, ответил Хаяров.

— Догонять Дерябу?

— Его не догонишь! Одни поедем...

— Что же не вместе собрались?

— Вчера не было надумано.

— Почему же сейчас надумали?

— Утро вечера мудренее.

Леонид помедлил, меряя беглецов взглядом.

— Темните, да?

— Зачем? — смелся, возразил Хаяров. — Поумнели за ночь.

— Хочешь сказать: какая же тут жизнь среди волков?

— Мы их сострунивать не умеем.

Леонид обернулся к сидящим за столом:

— Темнят!

Все молча уставились на Хаярова и Даньку.

— Деряба ушел — так и надо: ему здесь делать нечего! — опять заговорил Леонид, обращаясь к беглецам. — А вот вам, по-моему, полный расчет здесь жить: степные ветры хорошо продувают мозги.

— Ветры здесь с пылью, — пробурчал Хаяров.

— Кто такой Деряба? — продолжал Леонид, будто рассуждая сам с собой. — Самый настоящий хищник. Двуногий из волчьей породы. Во время войны ему жилось трудно, да? Всем жилось трудно. Но одни находят радость даже в трудной, а все же человеческой жизни и ни за что не расстаются с ней, а другие — вроде Дерябы — становятся хищниками. Вскоре они узнают, что жизнь хищника только издали кажется легкой, а на самом деле труднее трудной: всюду гонят, преследуют, педают никакой волюшки... Однако стать хищником легко, а вернуться в человеческую семью трудно. Деряба как раз из тех, которые не возвращаются: хищническая страсть у него уже в крови... — Леонид неожиданно зябко передернул плечами. — Вы ничего не замечали за Дерябой в последние дни? У него какой-то странный взгляд: вроде бы страдает от тяжелой-претяжелой тоски. Не замечали? Я думаю, ему надоело промышлять по мелочам. На большое дело его тянет. Преступники, как и пьяницы, страдают запоями. У Дерябы вот такой запой, вероятно, и начинается. А чем же ему здесь, в степи, свою страсть утолить? Вот он и бросился в Москву. В большом городе — что в большом лесу.

Федя Бражкин сердито засопел и спросил:

— И откуда только берутся такие, как Деряба?

— За войну развелось их много, — ответил Ионич.

— Да, за войну и послевоенные годы много хищни-

ков наплодилось, и не только в лесах и степях,— согласился Леонид.

— Но почему? — с наивным видом спросил Федя.

Леонид нахмурился и уклонился от прямого ответа.

— Они живучи и плодовиты куда больше, чем мы думаем,— сказал он после небольшой паузы.— Ошибаемся мы, здорово ошибаемся, делая вид, что их у нас немного, Ложный стыд! Хищникам только этого и надо: легче преступничать и плодиться.

— Мало их сострунивают! — сказал Ионыч сердито.

— Таких не сострунивать, а обкладывать надо! Воспитаешь их как раз! — поднявшись у стола, горячо заговорил Ибрай Хасанов.— Посадят в тюрьму воришку — выходит вор, посадят хулигана — выходит бандит. Они там друг от друга учатся. И почему, скажи пожалуйста, раньше срока выпускают таких из заключения? Посадят на десять лет, а он отсидит два года — и опять на воле! Зачем такая скидка? Нет, сиди, зверюга, весь срок, сколько заслужил. Вот теперь по амнистии всех без разбору распустили... Какой такой порядок? Все тюрьмы пусты.

— Свято место не будет пусто,— заметил Ионыч.

— Знаю, соберут обратно! Как не собрать? — все более горячился Ибрай.— Но пока собираешь, они еще больше расплодятся! А сколько горя принесут людям! У нас, в Казани, только и слышишь: здесь убийство, там убийство... Житья нет! А надо так сделать: за смерть — смерть! Вот какой закон надо!

Друзья-беглецы весь этот разговор слушали по-разному: Хаяров все время смотрел в землю, стараясь показать, что слушает пустую болтовню только из вежливости и занят исключительно своими мыслями; белобрысый Данька, наоборот, все время сидел со слегка оторопелым выражением на остроносом птичьем лице, а когда Ибрай сказал свои последние слова, из его груди нечаянно вырвался жалобный вздох. Хаяров тут же сердито толкнул его локтем в бок и решительно поднялся на ноги:

— Ну, мы пошли!

— Идите, кто вас держит? — ответил Леонид.— У нас свой разговор. Идите, но знайте: вас не будут судить, как судили дезертиров с фронта, но презирать будут не меньше! Вы не от нас дезертируете — вот от че-

го! — Он указал рукой на флаг.— Оттуда, где поднят наш флаг, могут бежать только трусливые и подлые люди! Таких нам не надо. Скатертью дорога. На все четыре!

Беглецов долго провожали молчаливыми взглядами. Они шли намеренно неторопливым шагом, не оборачиваясь, и только когда за пахотой повернули в сторону Лебединого озера, Федя Бражкин удивленно произнес:

— Ушли все же!

— Не пойму, зачем они оставались на ночь? — задумчиво проговорил Леонид.

Из зарослей акации поблизости от вагончика быстро вышел Петрован — без шапки, со взъерошенным белым чубом и с пестерькой в руках. Он поставил пестерьку у ног бригадира и сказал:

— Вот, глядите!

Все будто онемели, увидев в руках Петрована волчка.

— Они,— сказал парнишка, кивая в степь.

Внезапно побледневший Леонид взглянул на фигуры удаляющихся беглецов — казалось, они медленно уходят в землю — и сказал:

— Теперь все ясно.

— Из одной стаи! — с сердцем воскликнул Ионыч.

С новой клетки к стану двинулся один из тракторов. Он приближался быстро, рокоча ровно, сильно, легко, и вскоре до опушки колка, где плескался красный флаг, дошла от него по земле легкая дрожь...

Разгорелся этот день, будто ради праздника, на удивление быстро и знойко. В обычное время утренний ветерок затих, и тогда над безбрежной зыбкой степью, впервые крепко пригретой жарким и ослепительным солнцем, бесшумными и чистейшими волнами разошлось половодье — марево. Степь превратилась в мир чудес: в даях незаметно рождались тихие и светлые, как слеза, озера; таинственные лесистые острова стояли в воздухе, не очень высоко над землей: голубыми айсбергами уходили в неведомое тракторы; пасущиеся на целине кони казались огромными, могучими мамонтами... Все потеряло реальные очертания, стало расплывчатым,

силуэтным, призрачным; все возникало и исчезало, как бывает только во сне.

Это была весенняя сказка земли и солнца.

Нет, степь не была безмолвной. Тысячи тысяч жаворонков, неугомонных, голосистых, горячих, возносясь в лазурную высь, пели так серебристо и сладостно, с таким упоением, что чуть не замертво падали в травы. Но на смену им с земли все время взлетали, исступленно трепеща крылышками, другие не менее азартные певцы. Неисчислимый хор народных любимцев звенел над всей степью страстно и неумолчно. Невзрачных, сереньких певцов почти невозможно было найти глазом в сверкающей вышине, и потому казалось: здесь поет весь воздух.

А вскоре и того волшебней стала степная сказка. От западной черты горизонта, опять-таки неуловимо, поднялись в раздольное, беспредельно высокое небо и тронулись на восток легчайшие, пенисто взбитые, неземной белизны облака. Озаренные солнцем, они плыли над степью, украшенной флагами, овейной теплынью и обласканной нежнейшей песней, очень медленно и величаво. Дух захватывало у всякого, кто смотрел с земли на это новое чудо в степи...

IV

В саманной халупе Иманбая у Лебединого озера, где теперь валялось рыбацье барахлишко Ионыча, беглецы устроили привал. Сбросив на земляной пол вещевой мешок, Хаяров прежде всего тщательно осмотрел, обшарил и обнюхал все углы и закоулки халупы: он не рассчитывал найти здесь что-либо ценное, но не мог отказать себе в том особом удовольствии, которое всегда доставляло ему изучение незнакомой обстановки. Потом он присел у очага, покопался палкой в золе и заключил:

— Огня не зажигал. Хитер!

— Может, он и не ночевал здесь? — с какой-то надеждой спросил Данька.

— Ночевал. Я чую: псиной пахнет.

У Даньки вытянулось лицо.

— У него же шкурки, — пояснил Хаяров.

— Ах да... — И Данька уронил голову.

— Ты что киснешь? — строго спросил его Хаяров.

— Боязно мне, — вздрогнув, ответил Данька.

— Смотри, я тебе поною! — Хаяров погрозил дружку смуглым волосатым кулаком; белки его глаз при резком повороте головы блеснули в полумраке холодной, влажной белизной. — Дурацких разговоров напугался? Заячья твоя душа!

— Не хочу я туда...

— Пойдешь! У нас без демократии!

Хаяров хотел быть по отношению к Даньке, особенно наедине, точно таким же, каким по отношению к нему был Деряба.

Долго оставаться в халупе Иманбая нельзя было: могли нагрянуть Ионыч и Петрован осматривать сети, а то и ретивые охотники из ночной смены — поразвлечься на озере. Покинув вскоре саманушку, Хаяров и Данька поднялись из низины, где сияло Лебединое озеро, на сухую возвышенность, хорошо обогретую солнцем, и здесь, распластавшись на целине, слушая неумолчный концерт жаворонков и бездумно наблюдая за плывущими в высях белоснежными облаками, молча провалялись до полудня.

Поднял их голод. К станции Кулунда нужно было двигаться теперь строго на север, но Хаяров, выкурив папиросу и осмотрев степь, повернул на восток, туда, где степная даль ограждалась черным гребешком соснового бора. Немного погодя Данька, сутулясь, потащился было следом, но через полсотни шагов, точно запнувшись, со стоном растянулся на земле.

Бесполезно прождав около минуты, Хаяров, свирепо сузив глаза, вернулся к Даньке и, прицелясь, безжалостно саданул его носком сапога в бок. Данька вскрикнул от боли, перевернулся на спину, насколько позволил заплечный мешок, и поднял для защиты руки.

— Погоди, не бей!

Через час они встретили табун пасущихся коней, а потом приблизились к северному берегу озера Бакланье, которое тянулось, разбиваясь на отдельные плесы, прячась в камышовых чащобах, до самой Черной проточины. Недалеко от землянки из дерна, у которой стояла телега, были развешаны на кольях для просушки старенькие, изъеденные молью кошмы и белым дымком от сухого коровья дымилась печурка. Беглецов встретил сам Иманбай. Не здороваясь, лишь оглядев незна-

комцев дремотным взглядом степного луня, высохший, чернолицый Иманбай скрюченным пальцем дал знак следовать за ним и, круто повернувшись на каблуках, пошел тропой к озеру. Несмотря на теплынь, Иманбай, как всегда, был в рыжей жеребковой шубе и лисьей шапке. Он шел походкой старого конника, не оглядываясь на гостей. У берега он поднял полы шубы и осторожно побрел чистым мелководьем.

Данька с явной растерянностью посмотрел на Хаярова. Взгляд его говорил: «Куда он ведет?» Но Хаяров сделал рукой движение, дающее понять, что надо полностью полагаться на волю черного старика. В тысячный раз вздохнул Данька за сегодняшний день, ступая в воду...

За полосой воды множество старых троп, всячески извиваясь и перекрещиваясь, уходило к озеру сначала сыроватым кочкарником, поросшим осокой и кугой, а потом и камышами. Чем дальше от берега, тем выше, гуще и непроходимей становились озерные дебри. Кое-где буйным ветрам удалось осилить и повалить камышовые заросли, точно выстлать коврами отдельные круговины. В других местах камыши сильно помяло снегами. Пробраться здесь было невероятно трудно. Очень скоро Иманбай и дружки-беглецы оказались в такой глухой крепи, что потеряли из виду солнце: вытянув руку, даже концами ружейных стволов нельзя было достать метелки толстого высохшего камыша. Здесь уже начиналась плотная, многолетняя, но местами все же оседающая под ногой лабза.

Над головами беглецов, едва не касаясь метелок камыша, вдруг проплыл с широко распростертыми крыльями седой болотный лунь. С испуга быстро присев на тропе, Данька в молитвенном порыве прижал руки к груди и промолвил жалобно:

— Да куда же мы?

Одним взглядом Хаяров сорвал его с места.

Впереди легонько свистнул Иманбай. Через секунду-другую издали донесло ответный свист. Сходя с тропки, черный старик впервые заговорил, махая рукой в сторону озера:

— Иди прямо.

Лабза становилась все более зыбкой. Одолев еще метров пятьдесят трудного пути, Хаяров и Данька оказались перед небольшой полянкой, где на толстом слое

поваленного ветром камыша среди раскиданных для просушки шкурок волчат лежал вверх лицом Степан Деряба.

— Как дошли? Не наследили? — спросил он, поднимаясь.

— Одни пташки видели! — похвастался Хаяров.

— Садись! Жрать охота? Вот еда...

Дерябу явно обрадовала верность приятелей. Но настроение его сразу же испортилось, как только он узнал, чем кончилась затея с волчком. Он отвернулся от приятелей и, хмурясь, с минуту следил за юркой серой птичкой, с тивканьем снующей в верхнем ярусе сухих зарослей камыша.

— Дальше, — потребовал он негромко.

Рассказ о том, при каких обстоятельствах его дружки расстались с бригадой, окончательно расстроил Дерябу. Помедлив, он переспросил внезапно охрипшим голосом:

— Значит, обзывает меня, идейный гад?

— Обзывает, — ответил Хаяров.

— Даже за человека не считает?

— Точно.

— Ишь ты, гад!

Похоже было, что Дерябу вдруг схватило удушье, а он изо всех сил старался скрыть это — так странно вспухло и побурело его одутловатое лицо. Маленькие оловянные глазки Дерябы в этот момент превратились в совершенно белые горошинки. Наконец он шумно выдохнул, раздувая ноздри, и сграбастал Даньку пятерней за плечо.

— Ты что так уставился на меня?

— В твои глаза заглядывает, — пояснил Хаяров.

— А зачем?

— Багрянов замутил ему куриные мозги.

— Чем? Выкладывай!

— У тебя и взгляд-то теперь, говорит, особый, — ответил Хаяров, втайне опасаясь за последствия своей откровенности.

— Чем это особый?

— Ну, страдаешь ты, говорит, от какой-то тоски.

— Опять же... особый запой у тебя, — робко добавил Данька, пытаясь осторожноенько освободиться от Дерябиной руки.

Деряба вдруг захохотал так оглушительно, что где-

то недалеко — знать, там было плёсо — всполошились утки: послышалось испуганное кряканье, хлопанье крыльями, плеск воды. Когда на плесе стихло, Деряба спросил Даньку:

— Поверил?

Тот ответил уклончиво:

— Сам не знаю.

Некоторое время Деряба, косясь, приглядывался к Даньке; казалось, еще секунда — и «шеф» оглушит маленького, тщедушного паренька рыжеватой медвежьей лапой. Но все обошлось как нельзя лучше: Деряба неожиданно опрокинулся навзничь, разбросил в стороны руки и уставился невидящими глазами в небесную, слегка позеленевшую к вечеру высь. Даже Хаяров, знавший Дерябу хорошо, не мог понять, что происходит в его мрачной, ожесточенной, мстительной душе.

— Вообще он скисает, — заговорил Хаяров, решив выложить все новости до конца. — Замутили ему мозги, он и начал скулить... Все время, щенок, домой тянет!

— А что же делать тут? — заговорил Данька и моментально взмок от своей решимости.

— А слово?

— Снимите слово, — тихо, умоляюще попросил Данька.

— Один поедешь?

— Один.

— Слышишь, шеф, как он скулит? — спросил Хаяров Дерябу. — От своего слова, щенок поганый, отрекается!

— Смоемся скоро, — не меняя позы, пообещал Деряба.

— Когда это — скоро? — быстро спросил Данька.

— Ну через неделю...

— Я не могу, не могу! — Даньку затрясло, точно от озноба. — Отпустите! Снимите слово! Не гожусь я с вами!..

Деряба медленно поднялся, что-то искал глазами по сторонам. Хаяров не сомневался, что трусливый Данька будет избит сейчас до полусмерти. Не желая быть свидетелем жестокой расправы, он сообщил:

— Я уже бил его...

Данька тоже понял, что должно сейчас произойти, и, ткнувшись головой в камыш перед Дерябой, легонько заскулил от ужаса:

— Не бей! Отпусти!

— Не трясись! — сердито, но на удивление сдержанно заговорил Деряба. — Не держу я тебя... Катись к чертовой матери! Зачем ты такой нужен? В ногах путаться? — Он кивнул в сторону берега. — У этого старика есть парень. Вечером оседлаете с ним коней... Не вывалишься из седла? Парень проводит до самой станции. Утром будешь в поезде. А перед тем зайдешь на почту и пошлешь телеграмму моей Аньке. Ты слушаешь или нет? Встань и слушай! Телеграмму пошлешь от меня лично. Доедешь до Омска — пошлешь другую, доедешь до Свердловска — третью... Ну, а из Москвы само собой...

— О чем же телеграммы? — спросил Данька, все еще не веря в свою свободу и втайне ожидая от Дерябы какого-нибудь подвоха.

— Про любовь. От меня лично. Сможешь?

— Про любовь я сочиню!..

— Гляди, сочиняй как следует! Денег не жалеи!

Стараясь показать Хаярову, что отныне он на равной с ним ноге, и тем самым еще более привязать его к себе, Деряба спросил его с самым серьезным видом:

— Одобряешь?

Хаяров охотно клюнул на лесть.

— Насчет телеграмм? Одобряю. Хитро!

Даньке были даны указания не только на дороге, но и на целые две недели жизни под Москвой. Потом все надолго примолкли: неожиданный разлад каждого погрузил в раздумье. Данька думал о том, как ему возвратиться домой тихо и незаметно, как избежать попреков за бегство с целины; Хаяров — о том, что ему следовало бы уехать сейчас в Москву, подальше от беды, да слишком крепко спелся он с Дерябой, приходится тянуть песню до конца; самого же Дерябу серьезно занимали рассуждения Багрянова о его жизни.

С первой же встречи Леонид Багрянов странно смутил воображение Дерябы, что всегда оставалось его большой тайной. Чем же смутил? Дерябе вообще нелегко было понять это, а тем более откровенно признаться в этом себе самому. Он упорно сопротивлялся горькой правде. Но даже и у Дерябы не хватило сил устоять перед ней. А правда заключалась в том, что его ровесник Багрянов, на долю которого в детстве выпало нужды и горя не меньше, чем на его долю, в свои двадцать

пять лет стал настоящим богачом: он многое знал, многое умел делать, у него была своя цель, своя вера, свои интересные мысли. Это вынужденное тайное признание неожиданно обернулось настоящей бедой для Дерябы. Как это ни странно, но он впервые особенно отчетливо осознал, что случилось с ним в жизни. Он, бесспорно, мог быть тем, чем был его одноклассник Багрянов, а был в сравнении с ним жалким нищим. Никогда Деряба не признавался себе, что завидует судьбе Багрянова, но безотчетно, несомненно, завидовал ей и именно из-за этой зависти люто возненавидел Багрянова, а заодно и нестерпимее, чем когда-либо, озлобился против всех и вся, не зная точно, кого винить в своей нищете. И ему, естественно, захотелось чем-нибудь унижить Багрянова, как-то развенчать его перед людьми и тем самым хотя бы в малой степени отомстить кому-то за себя. Это желание, не утихая, давно уже волновало и разжигало страсти Дерябы.

— А ведь он правду сказал: тошно мне, тоскливо! — признался вдруг Деряба с непривычной для приятелей грустью. — Только он здорово ошибается: свою тоску я могу разогнать и не в Москве, а вот здесь.

— В камышах? — мрачновато съязвил Хаяров.

Деряба махнул рукой наотмашь.

— В степи.

— А зачем в камыши залез?

Деряба укоризненно покосился на верного друга, давая понять, что теперь необходимо соблюдать осторожность при Даньке, и ответил со смехом:

— Выпь захотел послушать.

— А-а, выпь! — отозвался Хаяров, поняв намек Дерябы.

После неловкой паузы Деряба переспросил:

— Значит, хищником меня обзывает? Вот гад! А я так тебе скажу: он и его дружки — тоже хищники, только мелкие. Так себе, степные хорьки! Зачем я сюда поехал? Да я почуял, что здесь можно легко пожить: то хапнуть подъемные, то обжулить кого-нибудь в суматохе. А Багрянов и его дружки? Да тоже почуяли, что здесь рубли-то подлиннее, чем в Москве, да и славой побаловаться можно. Я хапал обеими лапами, вот так, а они боязливо, да лишь то, что дается легче. Попадет какая-нибудь льгота или надбавка, они и рады-радешеньки! Словом, где суслика, где мышонка... Они толь-

ко трепаться умеют, что поехали сюда как патриоты! Откажи им сейчас в побрякушках да в почете — только пылью понесет от их патриотизма! Или, скажем, объявись на целине разные трудности. Где они теперь? Их нету. Одни разговоры. А вот объявись они на самом деле — все идейные врассыпную! Да без оглядки! Ручаюсь! Или, скажем, припугни их чем-нибудь пострашнее волчицы — и всю бригаду Багрянова как ветром отсюда сдует!

Легонький предвечерний ветерок будто ласковой рукой поглаживал камыши. На ближнем плесе все чаще слышались осторожное зовущее побрякивание, посвистывание и плеск воды: птица выходила на кормежку из камышей, спускалась с лабз. Первыми пошли в небо стайки чирков и шилохвости.



**ГЛАВА
ВОСЬМАЯ**



За два праздничных дня степь обогрелась на горячем солнышке и обсохла, а сегодня с утра во многих местах потянулись над ней волнистые белые дымы. Пользуясь долгожданным ведром, сибиряки и новоселы пустили огонь по бурьянистым залежам.

Люди, посланные выжигать степь, немало дивовались огню в это утро. Вначале огонь, казалось, боялся дремучих залежей, подолгу вертелся в нерешительности на одном месте, хотя люди всячески помогали ему броситься вперед. Он осторожно, с опаской лизал языком травы, выбирая те, которые помельче, и нередко в страхе, точно рыжий котенок, припадал к земле перед стеной бурьяна. Но через какое-то время, осмелев, делал внезапный прыжок, потом другой и третий, заскакивал в залежную крепь и начинал бушевать в ней, набирая в борении все больше сил и отваги. А вскоре вдруг разом вздымался где-нибудь над залежью, как золотой зверь, и тогда уже нигде не было ему преград: он метался туда-сюда по степи, разъяренно, с оглушительным треском топчя непролазные залежные дебри, он гонаясь за лисами вокруг их нор, распугивал веселые заячьи выводки, засыпал пеплом птичьи гнезда, где уже лежали первые яйца... Позади разбушевавшегося огня оставался его широкий, черный, дымящийся след.

Сразу же после пересмены Леонид засобирался в Лебяжье — на похороны Куприяна Захаровича. Подсторожив, когда Леонид после завтрака вышел из палатки покурить, Светлана бесшумно приблизилась к нему, прижалась к его руке и заговорила:

— Степь-то! Вся в огне!

Леонид дымил задумчиво и молча. Безнадежно пытаясь развеселить его, Светлана шутливо напомнила о его снах:

— Во сне-то так же вот горела?

— Ярче, — ответил Леонид странным тоном, который уже не раз пугал Светлану.

Нечего и говорить, за последние дни много бед свалилось на голову Леонида. Светлана понимала, что ему не до нее, и потому не искала встреч, зря не попадалась

на глаза. Для всей бригады праздник был не в праздник, а для Светланы и того хуже. Но все это как ни трудно, а можно бы пережить, да вот беда: Светлане как-то показалось, что Леонид уединяется не столько для того, чтобы в одиночку пережить все неприятности, сколько потому, что стыдится и избегает ее...

— Тревожно мне,— вновь заговорила Светлана.

Леонид вдруг замер и молчал около минуты.

— Чего же ты боишься?— спросил он, понимая, что должен это спросить, но очень боясь своего вопроса.

— Всего боюсь,— ответила Светлана, помедлив, явно не решаясь говорить откровенно.— Всего на свете!

В Леониде все дрогнуло и застыло: по тому, как ответила Светлана, видно было, что боится она не всего на свете, а лишь одной страшной для нее беды.

— Почему же ты всего боишься?— спросил Леонид.

— Я не пойму, что случилось со мной,— отвечала Светлана.— Я и на самом деле всего боюсь. Мне все кажется, что ты вот-вот что-то сделаешь или что-то скажешь...

— Ты устала,— перебил ее Леонид.

— Странно ведь, да?— продолжала Светлана.— Но почему все же мне так кажется? Раньше этого не было.

— Отдохни, усни,— хмурясь, посоветовал Леонид, зная, что говорит совершенно ненужные слова.

Светлана поняла, что он собирается уходить, и промолчала, о чем-то думая и сожалея. Потом тихонько попросила:

— Не ездил бы ты...

Леонид обрадовался новому повороту разговора, хотя и этот поворот не мог быть для него приятным.

— А почему?— спросил он быстро.

— В селе шумят очень,— оглянувшись на палатку, ответила Светлана шепотом.— Два дня гуляли, а ведь пьяные знаешь какие? Одного тебя вьют в его смерти.

— Знаю,— ответил Леонид.

— Зачем же едешь? Пошли кого-нибудь.

— Именно потому и еду, что шумят. Пусть скажут в глаза, что думают обо мне.

— Что могут сказать тебе пьяные?

— Мало доблести прятаться в кусты.

— Да в чем твоя вина? — едва не закричала Светлана.

— К сожалению, вина есть.

— Ты наговариваешь на себя!

— Напрасно ты, маленькая, защищаешь меня от самого себя.— Леонид ласково прижал Светлану к себе.— И напрасно думаешь, что я копаюсь в своей душе. Не та натура! Но я уже достаточно нагляделся, как люди губят друг друга. У нас еще очень много неоправданной жестокости, черствости, недоброжелательства. Мне это теперь, после его смерти, хорошо видно. Многому научила меня эта смерть! Мне Зима рассказывал, как здесь частенько ни за что ни про что «прорабатывали» и «били» Куприяна Захаровича на собраниях, давали ему выговоры. А вот теперь все будут, конечно, оплакивать покойного. У нас, слава богу, не принято говорить о покойниках гадости, а кто и скажет — того презирают. Да, все наговорят у гроба много хорошего о Куприяне Захаровиче. И никто, конечно, не будет чувствовать себя виновным в его смерти!

Лицо Светланы, выражавшее только испуг, вдруг сурово застыло от какой-то внезапной мысли.

— Я боюсь за тебя,— сказала она строго.

— Ты в самом деле трусиха!

— С кем же ты едешь? Один?

— С Ванькой Сободем.

Это было для Светланы громом среди ясного неба.

— Да ты что? — едва выговорила она.

— Успокойся, так надо.

Еще вчера, подбирая в уме спутника на похороны, Леонид после долгих раздумий неожиданно остановился на кандидатуре Ваньки Соболя. Во-первых, предложение поехать в Лебяжье могло не только обрадовать Соболя, если учесть, что в праздничные дни он не смог побывать дома, но и польстить ему: как-никак, а поездка носила официальный характер. Во-вторых, в пути Леонид собирался спокойно, дружески поговорить с Сободем и разуверить его в том, что Костя Зарницын имеет какие-то виды на Тоню, на что он имел поручение от самого Зарницына. Все это могло успокоить буйную

ревность Соболя и примирить его с бригадой, а успокоившийся, примирившийся Соболю как местный человек мог очень и очень пригодиться в сегодняшней поездке в Лебяжье.

Из палатки вышел с папиросой в зубах Ванька Соболю. «Не тревожься!» — сказал Леонид Светлане глазами и, кивнув на прощанье, направился к Соболю.

II

Ванька Соболю, проработавший в связи с бегством Хаярова и Даньки подряд две смены, хотя и проявил интерес к поездке, но тут же, зевая, сказал:

— Спать охота, вот беда!

— А мы на рыдване поедим, — рассудил Багрянов. — Вздремнешь в дороге.

Через полчаса они уже ехали в Лебяжье. Прежде всего Леонид решил дать Соболю возможность уснуть: разговор предстоял серьезный, деликатный, его можно было начинать лишь при условии более или менее умиротворенного настроения Ваньки.

Но у Соболя почему-то сон как рукой сняло. Он долго ворочался, укладываясь так и сяк на рыдване, и наконец, оправдываясь перед бригадиром, проворчал:

— Поварихи наложили тут! Разве уснешь?

— Давай сюда пестерки, — предложил Леонид. — Клади пиджак под голову. Вот так, правильно. Ну, пробуй, как?

— Теперь хорошо.

Соболю сделал вид, что всячески силится уснуть и, конечно, вот-вот уснет: прикрывая глаза, притих и даже дышать стал сонно. Однако он и думать не хотел о сне. Пока Багрянов разговаривал по рации с Женей Звездиной, а Соболю запрягал Соколика, произошел случай, после которого Соболю было не до сна.

А произошло вот что. Уложив в рыдван пестерки и мешки для продуктов, Феня Солнышко ушла на кухню, а Тоня почему-то задержалась у рыдвана и стала будто бы проверять, как уложено кухонное барахло. Соболю осторожно поглядывал на нее из-за морды коня.

Прошла неделя после той ночи, когда началась пахота и когда Соболев, растравленный ревностью, оскорбил Тоню, намекнув на ее близкие отношения с Костей Зарницыным, и тем самым увеличил счет ее обид. Всю эту неделю Соболев и Тоня, живя на одном стане, ухитрились не встречаться один на один. Лютуя от своей ревности, Соболев за это время ни разу даже не подумал о том, что обязан извиниться перед Тоней. Так вот и шло: чем дальше в лес, тем больше дров. Обиды цеплялись одна за другую. Им не видно было конца.

— Кладешь свою амуницию и даже не спросишь, повезу ли я ее? — отважился вдруг заговорить Ванька Соболев, все еще прячась за мордой коня.

— Не тебе везти, — негромко ответила Тоня.

У Соболева дух захватило: такое начало разговора остро напомнило встречу с Тоней в степи. Через минуту он потянул к себе вожжи, и тут его словно пронзило: на конце одной вожжи отчетливо почувствовалась Тонина рука.

— Дело есть, — сказала Тоня, решительно поднимая взгляд на Соболева, который в растерянности не знал, что делать с вожжой.

— Какое дело? — то горя, то холодея, спросил Соболев.

— Побывай у нас, узнай, не приехала ли Катя...

Соболева поразило не столько поручение Тони, сколько то, каким тоном оно давалось — тоном доверия и дружбы. Но коль скоро свершилось одно чудо, Соболеву захотелось, чтобы тут же свершилось и другое: некоторое время он ждал, что Тоня вот-вот произнесет какие-то особенные, важные слова. Но Тоня промолчала и отвела в сторону свои большие ясные глаза. Что ж, не все сразу! Благодаренье богу, что хоть немного-то отошло ее сердце!

— Ладно, я побываю, — пообещал Соболев, едва не задыхаясь от счастья и надежды.

Так разве же мог уснуть сейчас Ванька Соболев?! Причтворяться засыпающим и то ему было нелегко. Конечно, этот короткий разговор с Тоней — только начало примирения. Но ведь лиха беда начало! Воображение Ваньки Соболева работало всюду, создавая самые чудесные картины новых встреч с Тоней, их воскресающей любви.

Не подозревая, что Соболев хитрит, Леонид Багря-

нов все это время не тревожил его даже взглядом. «Лег замертво»,— думал он о Соболе. Но в одном месте рыдван так тряхнуло, что Леонид забеспокоился, обернулся и, увидев лицо Соболя, изумленно воскликнул:

— Ты что, еще не спал?

— Сейчас усну,— ответил Соболю, чувствуя, что наконец-то наслаждался мечтами всласть, изрядно притомился, разомлел на солнышке и теперь может уснуть.

— Какого ж ты дьявола собирался так долго?

— Думал.

— Тьфу, нашел время!

Очень скоро Ванька Соболю действительно уснул, да так крепко, что, как ни встряхивало его в рыдване, как ни мотало из стороны в сторону его голову, лежащую на пиджаке, он знай себе храпел, как столетний дед. И обливался потом в сто ручьев не столько от солнечного пригрева, сколько от напряжения, с каким исторгал храп всей грудью. Время от времени Леонид оборачивался назад, с удивлением поглядывал на Соболя и поражался его завидной способности спать. «Силен!»— думал он с усмешкой. Но постепенно его удивление стало сменяться тревогой. У озер, когда до Лебяжьего оставалось совсем недалеко, Леонид окончательно потерял надежду на то, что Соболю проснется без его помощи. Время не терпело— надо было будить парня.

Но это оказалось весьма нелегким делом. Леонид дергал Соболя то за ноги, то за руки, тряс за плечо, кричал над ухом, а тот в ответ лишь блаженно чмокал мокрыми губами, безотчетно защищался, как мог, да опять храпел всей грудью. Остановив Соколика, Леонид, стиснув зубы, раза два встряхнул Соболя изо всех сил. Только тогда он открыл осоловелые ото сна глаза.

— Помер ты, что ли?— с досадой заговорил Леонид.— Да проснись ты, ради бога, поговорить надо!

— Да, да, надо,— вяло согласился Соболю, совершенно не понимая, с чем соглашается, и тут же вновь закрыл глаза.

Из низины дорога поднималась на выгон, еще немного— и откроется Лебяжье у темного мыса соснового бора. Время уходило, и Леонид, обождав немного, вновь принялся будить Соболя— то ласково-сдержанно, обходи-

тельно, а то и с ожесточением. Соболь просыпался лишь на секунды, чтобы промычать или произнести два-три бессмысленных слова, но с каждым разом проявлял все больше раздражения, и вскоре дело кончилось тем, что он, поднявшись в задке рыдвана, заорал на Леонида злобно-плачущим голосом:

— Какого ты черта? Отвяжи-ись!

— Да пойми ты, дубина, поговорить надо!

— Надоели мне... ваши разговоры! Осточертели! — дико косясь, огрызнулся Соболь, спросонья он помнил лишь то, что Багрянов в последние дни часто ругал его.— Опять учить, да?

— Не учить — мозги вправить.

— Мне? Значит, дураком считаешь?

— Обожди ты, чудак, выслушай!

— Иди ты от меня к чертовой матери!

Ругаясь, Ванька Соболь соскочил с рыдвана и, пока Леонид останавливал Соколика, успел растянуться под кустом таволожки, близ дороги, подложить под ухо шапку и прикрыть глаза.

Внезапная смерть Куприяна Захаровича в самом деле очень осложнила отношения лебяженцев с бригадой Леонида Багрянова. Куприян Захарович жил на виду у всего Лебяжьего. Односельчане хорошо знали, как трудна была его жизнь. Но все, что пришлось пережить ему за долгие годы, — и войны, и разрухи, и другие беды, личные и колхозные, — все это, поскольку не привело к катастрофе, считалось теперь как бы не имевшим прямого отношения к его смерти. Прямое отношение, по мнению лебяженцев, имели лишь самые последние события, а именно: приезд новоселов, разные хлопоты и заботы, связанные с освоением целины, и, наконец, больше всего — скандал с бригадой Багрянова. «Если бы не этот случай, он бы еще жил да жил!» — убежденно толковали они по всем избам, на всех перекрестках.

Одним словом, лебяженцы видели причину смерти Куприяна Захаровича там, где хотели ее видеть, — в данном случае дало себя знать то приглушенное недовольство новоселами, которое существовало в Лебяжьем. Правда, открыто здесь никто и нигде не выступал против освоения целины. Но дома лебяженцы давали пол-

ную волю языкам. Никто из них не сомневался в огромной общегосударственной пользе задуманного дела. Но, не зная еще, какие готовятся законы о заготовках и закупках зерна, лебяженцы не могли видеть очень-то большой пользы для своего села от освоения целины, тогда как неудобства и лишения были для них совершенно очевидны. Особенно тревожило то, что под распашку уходили все лучшие пастбища и сенокосы. Сибирякам, привыкшим к раздольям, не легко было понять, как можно держать много скота на клочках солончаков да каких-то сеяных трав, которые плохо растут в засушливой степи. Вместе с тем лебяженцев раздражали излишняя шумиха, поднятая вокруг молодежи, поехавшей осваивать пустующие земли, и чрезмерное внимание, какое требовалось оказывать ей везде и во всем. Вот почему скандал с бригадой Багрянова для лебяженцев освещался особым светом. За Куприяном Захаровичем они не видели решительно никакой вины. Они рассуждали так:

— Подумаешь, история! Расшумелись!

— Раз ели суслятину, значит, по душе была...

— Да ведь живы все! О чем шум?

— Они живы, а его нет...

А тут еще из Заячьего колка неизвестными путями проник в Лебяжье слухок, что-де сам Багрянов, не выдержав, повинулся в смерти Куприяна Захаровича. Случилось это в первый день Майского праздника, когда почти в каждом доме, как ни жилось худо-бедно, появились на столах водка или самогон и брага. Нельзя сказать, что этот слух подействовал возбуждающе на всех лебяженцев, но все же нашлись здесь и горячие головушки: подвыпив сверх меры, эти люди с негодованием заговорили о новоселах.

Больше всех не только в своем доме, но и на улице горячился и шумел Орефий Северьянов, племянник Куприяна Захаровича, непутевый, занозистый и горластый парень, отсидевший недавно, не без помощи своего дяди-покойника, в тюрьме за хулиганство. Этот лоботряс и задира, бывало, на чем свет стоит поносил Куприяна Захаровича за то, что тот притеснял его за безделье, но теперь, желая понравиться односельчанам, вдруг позабыл все обиды и больше других убивался по дяде.

— Они сгубили м-моего дядю! Т-такого человека! —

кричал он всюду.— Понаехали, хапалы, со всего света! То им дай, другое дай! Р-разносолы им надо! Не нравится — вон! На все четыре! Плакать не будем! У нас и так пашни много!

На другой день, как положено, гулянье не утихло — не утихли и шумные разговоры о цовоселах. Орефий Северьянов горланил даже пуще прежнего и, случалось, подбивал на это других пьяных. Светлый весенний праздник, таким образом, был омрачен в Лебяжьем не только смертью Куприяна Захаровича, но и чрезмерным возбуждением, даже озлобленностью против приезжих молодых людей, все эти дни ради праздника с особенным рвением работавших на целине.

На виду было уже все Лебяжье. Леонид ехал, избегая смотреть на село, и думал о себе с необычайно суровой прямоотой, что стало удаваться ему только в последние дни.

«Если жить с таким дурным характером, много еще бед натворю,— думал он.— И зачем я только уродился таким?»

Но уродился-то он, конечно, совсем другим. Разве он был вспыльчив? А кого обижал? Кому говорил резкие и грубые слова? Ничего этого не было. Когда же появился у него дурной характер? Неизвестно. Одно ясно и памятно: совсем-совсем другим стал он после тяжелой болезни в деревне Загорье, где узнал о гибели отца. Молодым некогда следить за собой: у них много более важных дел. Долго не следил за собой, не видел себя со стороны и Леонид Багрянов. И только в последние годы стал иногда замечать дурные стороны своего характера и дурные поступки. Несколько раз уже он говорил себе, что будет сдерживать ребячью горячность, постарается стать мягче, добрее с людьми. Но он не всегда помнил о своем слове. И вот обидел пожилого, умного человека. Но ведь именно эта обида, может быть, и опрокинула его навзничь в степи?

Смерть Куприяна Захаровича была второй, самой памятной смертью в жизни Леонида. Она заставляла непрестанно думать об осиротевшей семье Куприяна Захаровича, о судьбе его родного села, о его родной степи, о его мыслях перед кончиной... Все эти дни у Леони-

да было одно, может быть странное, но совершенно неотразимое желание: он хотел взглянуть на лицо Куприяна Захаровича в гробу. Ему думалось, что он прочтет что-то особо важное в его навечно застывших чертах, такое, что обязательно надо запомнить на всю жизнь.

Со стороны Лебязьего вдруг долетел знакомый стукоток мотоцикла. Леонид взглянул вперед и увидел Хмелько. Как обычно, она летела на предельной скорости, то и дело взлетая вместе с мотоциклом над землей. Чую недоброе, Леонид остановил Соколика и прыгнул с рыдвана.

Заглушив мотоцикл, Хмелько сказала суховаато:

— У меня важное дело.

Леонид впервые видел ее такой серьезной, встревоженной и даже чем-то испуганной. Он потребовал:

— Говори!

— Тебе не надо появляться в селе.

— Почему же? Я еду на похороны!

— Поздно. Его уже похоронили.

— Как похоронили? Не может быть!

— Поздно,— повторила Хмелько твердо.— Сейчас все село собирается на поминки.

— Так я побуду хотя бы на поминках.

— Но ведь туда тебя не приглашают?

Леонид потемнел и медленно сжал челюсти.

— Понимаю,— проговорил он глухо.

— Ты не страдай,— сказала Хмелько мягче.—

На поминках будет много пьяных. Зачем их раздражать?

— Кто не пускает меня в село? — вдруг спросил Леонид.

— Не горячись. Тебе не советуют.

— Кто?

— Все наши руководители.

— Ид-диоты! — сквозь зубы выговорил Леонид.— Они клеветуют на все село. Разве народ сейчас такой?

— Народ не такой, а среди народа всегда найдутся люди вроде Орефия Северьянова,— заметила Хмелько.

— Что он может сделать, ваш Орефий?

— Сама слышала: он угрожает.

— Иные любят грозиться!

— Он может и сделать.

— Паника! Может, ты одна испугалась?

— А почему бы мне и не испугаться? — спросила Хмелько с вызовом. — Да, я боюсь!

У нее внезапно перехватило горло. Она взглянула на Леонида совершенно беспомощно, по-детски.

— Ну, вот что!.. — сдаваясь, заговорил Леонид. — Я беру твой мотоцикл, а ты садись на Соколика и возвращайся в село. Коня передашь Ваньке Соболю. Он будет на поминках. Пусть везет продукты. И самое главное — сдай на почту вот это письмо.

Хмелько взяла из рук Леонида письмо.

— В Центральный Комитет? О чем?

— Тут его мысли о целине, о совхозе, — ответил Леонид.

— Куприяна Захарыча?

— Да.

На дороге в село показались два всадника. Это были Иманбай и Бейсен. Они тоже ехали на похороны.

III

От боли так раскальвало голову на части, что Ванька Соболю несколько секунд тяжело стонал. Вдруг он услышал, что совсем рядом кто-то мощно сопит. Соболю открыл глаза и, увидев, что вокруг темным-темно, поспешно, с испугом приподнялся, упираясь ладонями во что-то мягкое, вероятно в расстеленный под ним ватный пиджак. Разве сейчас ночь? Но почему ночь, когда должен быть день? Да и где он? Что с ним? И, наконец, кто это сопит рядом с ним в кромешной темноте?

Ванька Соболю начал панически обшаривать место, где он лежал. В это время вблизи кто-то оглушительно фыркнул — у Соболя так и обмерло сердце. Наконец он догадался, что около него конь, а сам он скорее всего в рыдване. Да, да, так и есть. «Где же вожжи?» — мелькнуло безотчетно в гудящей голове Ваньки Соболя. Он опять начал шарить вокруг себя, но вожжей в рыдване не нашел — вероятно, они упали и обмотались вокруг ступицы. Потому конь и стоит. Куда же он, Соболю, ехал? В Заячий колок? Нет, он не помнил, чтобы ехал в степь. Но сейчас он был, конечно, в степи. Вон вдали,

в разных местах низко над землей, вспыхивают, колыхаются и мерцают красноватые огни, а в воздухе густо пахнет гарью. Стало быть, близко палы. Огонь бушевал в степи весь день, вырвался из-под власти людей, разошелся по раздольям широко-широко, да и сейчас не может уgomониться — мир сгинул во мраке, а огонь все мечется, все выскивает и выскивает бурьянистые залежи.

Значит, он все-таки ехал в Заячий колок?

Кое-как Ванька Соболев слез с рыдвана. Он угадал: вожжи действительно обмотались вокруг ступицы, да так, что их, вероятно, не распутать в темноте. Соколик со свернутой набок, к одной оглобле, мордой стоял на целине, но дороги перед ним не было. Так что же, он заблудился в степи? Не мудрено. Молодому, неопытному коню ничего не стоит сбиться ночью с дороги, совсем недавно едва обозначившейся на целине. Соболев еще раз пошарил вокруг рыдвана: под руку попались дернины типчака и мелкое разнотравье. По всем приметам выходило, что Соколик, пока не упали с рыдвана вожжи, успел вывезти его далеко в степь. Возможно, Заячий колок совсем уже близко. Но где же он? Где? В какой из четырех сторон?

Молчала окутанная теменью степь. Как ни привычен к ней был Ванька Соболев, но и ему жутковато стало от ее необычайной тишины и от тех огней, что блуждали по ее раздольям. Хотя бы какая-нибудь ночная птица окликнула да взмахнула крылом над головой! Но где там! Знать, ни одной живой души в этой черной пустыне, один он, Ванька Соболев, да неразумный Соколик, еще не знающий, как опасно сбиваться здесь с пути.

Но ведь надо было что-то делать!

Ванька Соболев опустил на колени у правого переднего колеса рыдвана. Ой, и трудно же распутывать измазанные дегтем вожжи! Но во много раз труднее — обрывки дневных воспоминаний; они как нити в спутанном мотке: концов много, а за какой ни потянешь, весь моток запутывается еще больше. Невероятно, мучительно трудно! Однако плачь, а распутывай, разнесчастный ты Ванька Соболев!

Вначале Ваньке вспомнилось, как он ездил днем на Соколике по всему Лебяжьему. Как это могло случиться? Ведь он, Соболев, соскочил с рыдвана и лег спать у

дороги в степи, а Багрянов один уехал в Лебяжье. Ах да, его разбудили и увезли в село ребята из бригады Громова. Потом хоронили Куприяна Захаровича. Где же его хоронили? Вроде бы не на кладбище, а в центре села? Нет, в центре села Хмелько отдала ему Соколика, а вокруг стояла толпа. Похоронили в конце концов Куприяна Захаровича или нет? Да, конечно, похоронили, иначе не было бы и поминок в его доме. А поминки были, это точно. Рядом с Ванькой за столом сидел Орефий Северьянов. Одну поллитровку водки Орефий сразу же незаметно для людей опустил в карман своих брюк, а над двумя стоящими на столе сделал на виду у всех ограждающий жест ладонью. «Живем!» — шепнул он тогда Ваньке. Почему же их, так подружившихся за столом, колхозники связывали и обливали водой? За что? Нет, сначала они с Орефием ругали Багрянова и всех новоселов за то, что они погубили Куприяна Захаровича, а когда их стали одергивать — полезли в драку. Вот как было дело. Но почему они, после того как их облили водой, пели песни? Ерунда какая-то: песни на поминках! Ох и Орефий! Ох, Орефий! Это ведь он запевал. Ну, а потом что же? Отпустили их? Значит, отпустили, если они с Орефием да его дружками ездили в рыдване по селу... Где же этот проклятый Орефий и его друзья? Как они отпустили его ночью в степь?

Где-то вдаль прогремели выстрелы. Соболь оторвался от вожжей и долго, окован от страха и досады, соображал, где прогремели эти выстрелы, в какой из четырех сторон. Но нет, совсем отказалась работать его дурная голова! Кто же мог стрелять ночью в степи? И отчего такая стрельба? Опять у Заячьего колка? Но ведь волчица уже убита...

Никогда в жизни Ваньку Соболя не пугало одиночество в степи — ни днем, ни ночью. Но теперь ему стало очень тревожно. На счастье, ему вскоре удалось распутать вожжи. Едва он сел в рыдван, как застоявшийся Соколик тронул вперед и Ваньке немного полегчало оттого, что он куда-то едет, а не стоит на злополучном месте.

Соболю оставалось одно — довериться Соколику; невольно думалось, что если он смело идет вперед, то, значит, чует путь. Но вскоре Соболь спохватился: «Куда же я еду-то?» Он вновь начал осматриваться по сторонам. Но что можно было увидеть сейчас в степи? Те-

мень да огни. И вдруг Соболев резко натянул вожжи. Почему Соколик идет туда, где много огней? Ведь у Заячьего колка не должно быть палов — там нет залежей.

«Дурак ты, дурак!» — обругал он Соколика и круто повернул его вправо, в сплошную тьму.

Он ехал без дороги долго, очень долго — под колесами рыдвана все стелилась и стелилась целина. Черной пустыне не было ни конца ни края. Но вот под копытами Соколика вдруг зачавкала грязь, а колеса рыдвана врезались в землю. «Солончаки!» — ахнул про себя Соболев, останавливая коня. Зная, что на целинном отрезке пути в Заячий колок нет солончаков, Соболев после минутного раздумья повернул Соколика обратно и некоторое время принимался бездумно дергать одной правой вожжой. Незаметно для себя он сделал большой круг по целине. Когда Соколику надоело крутиться на одном месте, он потянул из рук Соболева вожжу, и Соболев покорно отдал ее, уже наверняка зная, что плутает в степи безнадежно.

Впереди в кромешной тьме вдруг показался гребень огненной лавины. Намотав вожжи на руки, Ванька Соболев около минуты оторопело наблюдал, как растет, поднимается лавина на его пути. Только потом он догадался, что это всходит луна. Но почему она показалась в этой стороне?

Повернув назад, Соболев вдруг ясно расслышал, как далеко впереди снова прогремели выстрелы. «Правильно, там Заячий колок!» — сказал себе Соболев и хлестнул Соколика вожжами, заставляя его бежать рысью, твердо веря, что скоро, очень скоро закончится его ужасное блуждание среди ночи.

В стороне, но не так уж далеко, с силой, пронзили тьму два снопа света. Машина? Откуда она? Нет, это, конечно, трактор: огни двигались не быстро. Но почему трактор здесь, перед Заячьим колком? Ведь бригада пашет за колком! А может быть, он давным-давно миновал бригадный стан и плутает где-нибудь поблизости от Лебединого озера? Вот оказия! Да, стыдно будет признаваться новоселам, что блуждал в степи, но делать нечего — надо ехать к трактору. Интересно, кто же пашет? Только бы не Костя Зарницын.

Вскоре шум трактора стал слышен ясно. Соболев остановил Соколика, по его расчетам, прямо у пахоты. Соскочив с рыдвана, он взял коня под уздцы, боясь, что

тот испугается шума и света, и попутно ощупывал ногой землю, чтобы не оступиться случайно в борозду. Но поблизости, как ни странно, не было пахоты. Куда же и зачем идет трактор чистой целиной? И почему делает такие зигзаги?

Внезапно Соболя и Соколика ослепило светом тракторных фар. Соколик завертел головой, зафыркал и начал пятиться назад. Останавливая и успокаивая коня, Соболю некоторое время не мог следить за приближающимся трактором, а когда наконец глянул в его сторону — трактор проходил уже мимо. Но то, что увидел в эту секунду Соболю, будто током пронзило его с головы до пят и намертво пригвоздило к земле. Из раскрытой дверцы кабины свисала над гусеницей кудрявая голова.

Не помня себя, Соболю закричал во весь голос, во всю силу своей груди и, путаясь в вожжах, повалился на землю.

— Это Соболю! Соболю!

— Вяжи его, ребята!

— Где же другие? Куда делись?

Безумно озираясь на окружавших его ребят с ружьями и фонариками, Соболю несколько раз порывался заговорить, но так и не смог. Его молчание, вероятно, еще более разгневало ребят: вокруг поднялся невообразимый галдеж. Так ничего и не сказав, Соболю обессиленно прижался к земле и замер с отчетливой мыслью, что вот и пришел его конец.

Соболю сидел в палатке на своей кровати и при слабом свете лампешки, висевшей на столбе-подпорке, разглядывал свои грубые, вымазанные в дегте руки — они; будто каменные, лежали на коленях. Он никак не мог понять, чем вымазаны руки, и все хотел спросить об этом Белоусова, который, насупясь, сидел с ружьем у печки, полной сверкающих углей. Но и теперь Соболю не смог пошевелить губами: с той минуты, как его схватили ребята в степи, он еще не сказал ни единого слова.

По всему стану не стихала беготня, поблизости слышались человеческие голоса, у самого колка гудели мо-

торы и лязгало железо, а Соболев решительно ничего не слышал, хотя и напрягал слух, стараясь уловить хотя бы тончайшую, как паутинка, нить, связывающую его с родным миром. Ему точно уши заложило, да так, что не дай бог! Его охватило безмерное, беспросветное отупение — тяжкий сон с открытыми глазами.

Он не заметил, как вошла Тоня. На ее плечи была накинута большая черная шаль. Тоня вошла как тень, остановилась поодаль и с минуту, не шелохнувшись, всматривалась в Соболева. Потом она бесшумно приблизилась к нему и опустилась на колени, чтобы ему удобнее было видеть ее лицо.

Тяжкий сон, владеющий всем существом Соболева, не дал воли его радости, когда он увидел Тоню. Эта радость лишь на мгновение блеснула в его глазах, да тут же и погасла. Он взглядом показал Тоне на свои руки, лежавшие на коленях, и взглядом попросил ее объяснить, отчего они черные. Тоня схватила его руки, сложила вместе и, лаская своими теплыми ладонями, ответила шепотом:

— Ты не бойся, они в дегте...

Он вдруг приподнял голову и, сдвинув брови, посмотрел в полусумрак, поверх головы Тони. Вероятно, он вспомнил, при каких обстоятельствах измазал руки в дегте.

— Я не верю! Слышишь, не верю! — вдруг заговорила Тоня с силой, но почти шепотом, смотря в лицо Соболева и взглядом требуя от него, чтобы он слушал внимательно. — Они говорят, что ты привез кого-то из Лебязьего. Неправда! Я не верю! Я не могу поверить! Ты не такой, я знаю... Да скажи ты мне, ради бога, хоть одно слово! Ну, скажи!

Соболев стал силиться понять Тоню и вдруг вновь приподнял голову и сдвинул брови. Через несколько секунд он впервые с усилием разжал губы и шепотом, как говорят смертельно ослабевшие люди, спросил:

— Костю?

Тоня кивнула ему головой.

Капли пота покатались со лба Соболева.

— Я знала, что ты не виноват! — захлебываясь слезами, воскликнула Тоня и вдруг принялась быстро-быстро целовать руки Соболева, пахнущие чистым березовым дегтем. — Прости меня, прости! Я злая, нехорошая! Я измучила тебя! Прости! Но теперь все, все будет хоро-

шо. Ты слышишь меня? Тебе трудно говорить, да? Ну, ладно, ладно, ты молчи... Ты только кивни мне легонечко головой... Вот так! Вот и ладно. Теперь, бедный ты мой, все, все у нас будет хорошо! Ты скоро вернешься, и мы будем всегда вместе. Ты слышишь? Кивни мне еще. Ты испугался очень. А ты не бойся, тебе ничего не будет! Ты не виноват. Я сама поеду в милицию и докажу... Ведь я видела, каким ты уезжал в Лебяжье. Ты уже знал, что я тебя простила. Ты уже верил мне. Так разве ты мог?

И она вновь принялась целовать его руки.

За это время в палатке собралась большая группа парней. Прислушиваясь к словам Тони, парни молча рылись в своих вещах, гремели гильзами, вытаскивали из чехлов и собирали ружья. Но вот горячий Ибрай Хасанов, услышав последние слова Тони, гневно крикнул:

— Он все мог! Он давно зуб точит!

Тоня быстро обернулась, ответила Ибраю твердо:

— Замолчи, он не виноват!

— Не виноват, а где он был, ты знаешь?

— Знаю. Вон там, за колком!

— А зачем он там оказался?

— Заблудился, только и всего!

— А может, кого-нибудь привез с собой?

— Отсохни у тебя язык! — отрезала Тоня.

Ребята любили Тоню, и не только за красоту, но, полагать надо, и за ее открытое недружелюбие к непутевому Ваньке Соболю. То, что увидели они теперь, было для всех полной неожиданностью. Такая крутая перемена не только удивила ребят, но и оскорбила, — выходило, что Тоня злонамеренно порывает со всей бригадой в очень важном вопросе. На Тоню градом посыпались гневные слова:

— Ничего не знаешь, а тоже защищать!

— Нашла кого миловать!

— Ясно, он подвез и указал!

— Все улики, голубушка, налицо!

— А вот долютювался! Ему говорили...

— Все вы тут заодно!

— Ну довольно, — решительно проговорил Леонид, выходя из угла, где стояла его койка. — Нечего заниматься пустой болтовней! Разберутся без нас. Все готовы? На каждый трактор есть оружие?

— Есть!

— Кому нужна картечь?

— Дай мне,— попросил Ибрай Хасанов.

— И мне,— добавил Краюшка.

Багрянов начал раздавать патроны.

— Значит, нас будут здесь убивать, а мы поднимаем целнину? — спросил Белорецкий нервно.

— Будем поднимать! — ответил Леонид резко.

— С оружием в руках?

— Ну и что же!

Багрянов быстро вышел из палатки. За ним двинулась ночная смена. Толпа направилась к северной опушке колка, где стояли согнанные сюда тракторы. Ребята шли молча и бесшумно, как ходят обычно на ночных маршах солдаты. Вороненые стволы их ружей поминутно вспыхивали под лунным светом.

Через некоторое время близ стана вновь зарокотали тракторы бригады Багрянова и, вонзаясь во тьму клинками света, двинулись на свои загонки. А ночь, глухая, бездыханная, все еще плотно окутывала землю. И степь все еще горела...

IV

Всю ночь после убийства Зарницына тревожно было в Заячьем колке. Никто и не помышлял о сне. Парни из дневной смены то шушукались по углам палатки, то выходили толпой наружу, чутко прислушивались к отдаленному рокоту тракторов и шорохам ночи, иногда брали в руки топоры да дреколье и сторожко обходили бригадный стан; девушки закрылись в темном вагончике на засов и притихли, как птицы в непогодь.

Хуже всех было в эту ночь Светлане.

Еще утром, провожая Леонида в Лебяжье, она потеряла покой и твердость духа. Ревность, вновь тревожившая ее уже несколько дней, тут вдруг ошеломила! Она впервые отчетливо увидела, что Леонид стыдится ее, и поняла, что какую-то тайну, а может быть, и грех он прячет от нее в своей душе.

Некоторое время она металась по стану, нигде не найдя себе места, а потом вдруг бесцельно бросилась в глубину колка. После той бури, когда Светлана собира-

ла здесь букетик лазоревой пролески, прошло всего три дня. Но и за этот короткий срок в колке случились большие перемены. Правда, березы все еще ослепительно сверкали своей обнаженной белизной, но на их ветвях уже осторожненько приоткрывались набухшие почки, полные нежного зеленого света, отчего казалось, что березы начинают тишайше куриться едва уловимой для глаза дымкой. А на земле, пользуясь тем, что деревья еще не заслоняли листвой небо и солнце, повсюду брызнули ранневесенники — ветреница, медуница, мать-и-мачеха. На пригорках виднелись и куртинки сон-травы, изящными фонариками висели на ее крохотных стебельках крупные темно-лиловые цветы. А в воздухе, насыщенном солнечным теплом и тончайшим ароматом первоцветов, стоном стонало азартно работающее мушиное царство.

Светлане вдруг вспомнились слова Фени Солнышко; она сказала однажды, что настоящая весна приходит лишь с появлением «ключей весны». Это баранчики. Светлане они хорошо знакомы: их можно встретить по всем березовым рощам Подмосковья. Так где же они, эти чудесные золотые цветы-ключи, которыми природа, по присловью, отворяет дверь настоящей весне? Им тоже пора быть. Где они? Быстро скользя взглядом по сторонам, Светлана прошла редким березняком более сотни шагов, но нигде не приметил знакомых цветов. «Значит, не настоящая еще весна,— подумала она с горечью, замедляя шаг.— Вот так и у него: не настоящая,— подумалось ей тут же о Леониде.— Была бы настоящая — никто не оторвал бы его от меня». Словно испугавшись чего-то, она поспешила на стан.

Совсем неожиданно — время шло только на полдень — вернулся Леонид. Светлану не поразили ни его раннее возвращение, ни мрачный вид. Она будто захлебнулась, увидев его на мотоцикле Хмелько. Встречались! Они встречались! Эта мысль опалила ее сознание, и весь остаток дня и весь вечер она думала только о загадочной встрече Леонида с Хмелько, только о своем горе. Она боялась спросить Леонида, отчего он вернулся рано да к тому же на чужом мотоцикле. Более того, увидев что Леонид порывается заговорить с ней, она постаралась уклониться от встречи. Лишь под вечер Светлана узнала от Фени Солнышко, что произошло. Но она не хотела слушать и Феню Солнышко. Они встречались

встречались, были вместе, и это главное, самое главное, что произошло сегодня и что могло произойти когда-либо! К полуночи, когда над Заячьим колком грянула беда, Светлана так была расстроена, что уже не жила, а лихорадочно металась в чужом, страшном мире, где все горит вместе с этой степью, где нечем дышать, где никто не поймет ее горя, где нет ей жизни...

Трагическая гибель Кости Зарницына не только ошеломила и потрясла измученную до предела Светлану, как это случилось со всеми в бригаде, но и повергла ее в ужас: здесь, где она живет, оказывается, может свершиться любое зло; люди здесь так жестоки и безжалостны, что не знают любви и верности, у любого они могут вырвать из сердца счастье, любого безвинно убить... Все, все может случиться в этом мире, где повсюду блуждают во тьме огни и все пропахло дымом, как на огромном пожарище!

На рассвете, выйдя из вагончика вместе с Феней Солнышко, Светлана увидела Леонида среди толпы парней у палатки. Из первых же фраз, долетевших до нее, она поняла, что Леонид собирается ехать с тяжелой вестью в Залесиху — на станцию и в милицию.

— Взял бы кого-нибудь с собой.

— Один съезжу.

— Тогда хоть ружье возьми.

— Ружье возьму.

— А может, подождешь, когда солнце взойдет?

— Ждать нельзя.

Отвечал Леонид кратко, сурово.

Рождалось безветренное и пасмурное утро. Воздух над степью был густо насыщен дымом и запахом гари. Однако уже нигде не видно было огней: знать, выжгли за ночь все дотла. Впервые не звенели вокруг птички голоса. Но зато отовсюду из степных далей сегодня почему-то особенно хорошо слышался рокот тракторов, и невольно думалось, что их куда больше в работе, чем было вчера.

Каждая секунда казалась сейчас Светлане часом.

И хотя, как всегда, Леонид почти моментально почувствовал ее близость и моментально встретился с ее

взглядом, она не испытала ни малейшей радости. За ночь она так уверовала в свое несчастье, что теперь ничто не могло успокоить ее. Она казалась себе самой обиженной женщиной в мире. Она не плакала только потому, что слезы за ночь уже скипелись в душе в один железный камень.

Для нее эта встреча прошла будто во сне.

Светлана не слышала, с чего Леонид начал разговор с ней, когда они неизвестно как очутились вдвоем в стороне от Заячьего колка, Она и не могла ничего слышать — она готовилась высказать ему все, что уже говорила тысячу раз прошедшей ночью. И слова-то были простые, а как трудно вспоминались они сейчас и как нелегко их было произнести! Но ничего не поделаешь — нужны были именно эти слова, и никакие другие. Не в силах смотреть, как Леонид держится за руль *ее* мотоцикла, не в силах слушать какие-то наказания, она наконец-то выкрикнула совершенно ослабевшим от горя голосом:

— Я не могу здесь жить, Леонид! Не могу!

Рука Леонида как ужаленная оторвалась от руля мотоцикла. Он мгновенно догадался, почему Светлана вдруг выкрикнула эти слова. Но тут же у Леонида мелькнула мысль: может быть, он все же ошибается, думая, что Светлана подозревает его в неверности? Может быть, ее слова вызваны злодейским убийством Зарницына?

— Светочка, милая, ты не бойся,— заговорил он, пытаясь привлечь к себе отступившую на шаг Светлану.— Я уверен, убийцы буду очень скоро пойманы и наказаны. И все уладится, честное слово!

— Я не могу здесь жить,— полушепотом повторила Светлана, так и не позволив Леониду обнять себя.

— Тебе страшно здесь?

— Мне стыдно здесь.

Кровь ударила в лицо Леонида, опалила глаза. Да, конечно, Светлана подозревала его в измене. На несколько секунд он онемел.

— Мне очень стыдно,— повторила Светлана, увидев, как Леонид оглушен ее словами, и думая, что он не до конца понял их смысл.— Я тебе всегда говорила: только одного мне не вынести, только одного!..— добавила она поспешно, боясь, что вот-вот совсем лишится голоса.

Леонид склонил перед Светланой голову и выговорил глухо:

— Я ничего не сделал дурного...

— Ты позоришь меня! — выкрикнула Светлана в отчаянии.

— Что ты говоришь? Опомнись! Откуда ты взяла? — заговорил Леонид, пытаясь схватить ее за руки. — Ты очень расстроена, вот у тебя и мысли такие... Успокойся, обожди немного, и я тебе все расскажу.

Только теперь она посмотрела ему в лицо.

— Значит, все же есть что рассказать?

— Но совсем не то, что ты думаешь!

— А что же есть, что?

— Светочка, милая, мне ведь сейчас некогда... Ты сама знаешь, как дорога мне каждая минута. Ну, какой сейчас разговор? — отвечал Леонид и с каждой секундой все яснее чувствовал, что допустил оплошность, не вовремя обмолвившись о своей тайне.

Светлана слушала его с большим напряжением и тревожным вниманием.

— Ты так побледнела! — растерянно заметил Леонид, пугаясь за Светлану. — Успокойся, ведь ничего же дурного не было.

— А что же было? — спросила она одними губами.

— Светочка, милая, но я не могу вот так сразу и в двух словах! Не могу! Это нужно объяснить, иначе ты не поймешь. Но было совсем не то, что ты думаешь! Совсем не то! Совсем не то!

— Но что же было? Что было?

За ночь Светлана убедила себя, что верит в измену Леонида, но, оказывается, на самом деле ничуть в нее не верила. Только вот сейчас она поняла, чего это стоит — поверить в измену!

— Что было? Что? Что?

— Ах, Светочка, успокойся, перестань!

— Ты ее любишь?

— Да нет же, нет!

— Ты лжешь!

— Я не лгу.

— Докажи!

— Но чем? Как?

— Дай слово, что уедешь отсюда.

— Совсем?

— Совсем! Навсегда! Тогда я поверю.

Леонид вздрогнул, лицо его вдруг стало не только суровым, но даже злым, а на виске сильно забились жилки.

— Я готов доказать это чем угодно! Хочешь, руку отрублю? Хочешь? — заговорил он сквозь зубы, двигая скулами; глаза его зажглись. — Но уехать отсюда я не могу. И ты этого не требуй. Не надо. Как я могу уехать с земли, политой нашей кровью?

Его так взволновало неожиданное требование Светланы, что он тут же в горячах допустил еще одну оплошность, о которой после горько пожалел. Не простившись со Светланой, он дал газ, вскочил на мотоцикл и стремглав понесся по неприглядной степи, над которой неохотно поднималось пасмурное утро.

Не помня себя вернулась Светлана на стан.

Все парни, измучившись за ночь, легли вздремнуть до завтрака и пересмены, чтобы хоть немного набраться сил к началу работы: недалеко от палатки, над которой едва курился дымок, в одиночестве сидел на чурбане с березовым стягом в руках Виталий Белорецкий.

— Зайди, — сказал он Светлане.

Она почему-то послушно повернула в сторону палатки, хотя и не испытывала никакого желания встречаться сейчас с кем-либо, а тем более с Белорецким.

— Садись, — предложил ей Виталий, уступая место на чурбане.

Она опустилась на чурбан, а он, опершись на стяг, будто старик на посох, глядя в степь, скорбно сообщил:

— Сторожу. Мне всегда везет.

Не дождавшись отклика, продолжал ироническим тоном:

— Как налетят бандиты — я их вот этой дубиной! Одного, другого, третьего... Всех уложу! Будет им тут братская могила!

Светлана продолжала молчать. Белорецкий, взглядевшись, заметил, что она плачет без слез.

— А ты думала! — протянул он с усмешкой.

— Что думала? — шепотом спросила Светлана.

— У них уж вон все имущество общее!

Светлана сжалась, как от удара. «Все видят! Все

знают!» Она вся напряглась, чтобы подняться, но не смогла. Виталий Белорецкий сел на краешек чурбана.

— Уедем отсюда,— предложил он негромко.

— Куда? — с испугом спросила Светлана.

— Домой, в Москву.

Да, ведь есть на свете Москва, а в ней родной дом... Там никто и никогда не обижал ее, никто и никогда! Как хорошо там было! Как хорошо! Как легко жилось с матерью да с отцом! И Светлане впервые за всю жизнь на Алтае так захотелось в Москву, что дышать стало невмочь.

— А чего тебе здесь ждать? — говорил Белорецкий над самым ее ухом.— Разве что у них на свадьбе погулять охота? Тогда жди.

В глазах потемнело. Опять по степи, как и ночью, огни, огни, огни, и в глухой тишине доносится издали рокоток мотоцикла.

— А мне здесь ждать нечего,— продолжал Белорецкий.— Я уеду. Сегодня же. Ну чего мне, скажи на милость, ждать? Чтобы и мне кишки выпустили на этой целине? Да пропади она пропадом! Не жалко. Подумаешь, рай земной! Тут только сусликам и жить. А проживи лето — и сам обрастешь шерстью, тоже начнешь себе нору рыть. Ты погляди-ка, какая жуть кругом. Ни один художник не нарисует. Красок таких нету на палитре. Что степь, что небо — одна тошнота. «Соли здесь много!» Да на кой дьявол мне горы соли? Тут и без того солоно! Много у нас сказочников вроде Зимы. А когда здесь на самом деле что-нибудь будет? Когда рак свистнет, вот тогда, пожалуй, посидишь здесь у телевизора. А пока того и гляди покажется тут древний Мамай с войском. Едешь, едешь по степи на вонючем тракторе, и такая тебя тоска возьмет, хоть падай, зубами рви всю эту целину в клочья! Вот до чего осточертела! Скажешь, очень уж скоро? Да, конечно... А я знал, что это такое — целина? Представления не имел. И вел себя как самый последний баран. Куда стадо — туда и я, вот и весь мой энтузиазм. А что до тебя, то, если говорить откровенно, я так и знал, что у вас с Багряновым ничего не получится. Ты не для него, Светочка, нет! Он дядя грубой породы. Волкодав.

Светлана сидела, будто окаменев.

— Я уже все обдумал,— сказал Белорецкий потише.— Скоро подойдет бензовоз, так ведь? Вот я и попро-

шу шофера, чтобы он подкинул нас до станции. Хорошо заплачу — подкинет, а денечка через три мы в Москве! Документы вышлют потом, куда они денутся? Нам хлеба всегда хватит. Зашел в магазин — и выбирай по вкусу. Коммунизм надо строить прежде всего в Москве. На нее со всего света смотрят. А сюда он и без нас когда-нибудь дойдет.

Светлана внезапно поднялась на ноги и, не обмолвившись ни словом, направилась к вагончику, — вероятно, она ничего не слышала из того, что говорил ей Виталий Белорецкий. Но Белорецкого это не смутило.

— Собирайся, не теряй времени!

Но Светлана и не думала о сборах. Забывшись в свой уголок в вагончике, она уткнулась в подушку и замерла. Не поднялась она, чтобы в свое время пойти замерять вспашку ночной смены, не поднялась, когда прибыл бензовоз, хотя и слышала его гудки и знала, что только ей положено принимать горючее. Время шло, того и гляди могли подойти на заправку тракторы, надо было немедленно встать, немедленно! Но у Светланы не дрогнул ни один мускул — все в ней замерло, и, кажется, навсегда. Думала ли она о чем-либо? Нет, прошлое и настоящее неслось в ее сознании стремительным весенним потоком, подхватывая и хороня в своих волнах все, что попадалось на пути. Приходили люди, стояли над ней и, вздыхая, уходили. Ну и что же? Пусть смотрят. Пусть думают о ней что угодно. Ей все безразлично. Жизнь ее кончена.

Вскоре явился Виталий Белорецкий.

— Горючее слили, — сообщил он и шумно, облегченно выдохнул, давая понять, что это стоило ему немало труда. — Помощник бригадира пашет — расписалась сама Феня Солнышко. Уговорил. А куда она это горючее денет? В кашу много не пойдет. Ну, как ты тут, готова?

Увидев, что Светлана и не собиралась в дорогу, он начал хватать и укладывать в чемоданчик и рюкзак ее вещи. Светлана не противилась. Зачем? Пусть укладывает.

Набежали в вагончик девушки-подружки из дневной смены, должно быть, бросили свой завтрак. Девушки зашумели было, начали уговаривать Светлану не покидать бригаду, но на них с яростью накинулся Белорецкий.

— Что вы лезете не в свое дело? Что вам надо? — кричал он и, кажется, силой выталкивал девушек из вагончика.— Сколько вам объяснять? Все уже сказано!

Светлане больно было оттого, что Белорецкий выгоняет подружек, но остановить его не было сил. Надо бы крикнуть, а как крикнешь, когда все в тебе обмерло? Видно, тому и быть.

Через несколько минут бензовоз с ревом летел по степи, увозя ее невесть куда. Но не все ли равно? Пусть летит, сколько у него есть сил, хоть в кромешный ад!

Светлана не отдавала себе отчета, как долго они ехали по степи. Она не слышала, о чем иногда переговаривались шофер Скворцов и Белорецкий, не отвечала на их обращения к ней; уцепившись обеими руками за сиденье, чтобы не подбрасывало на ухабах, она все время сидела с закрытыми глазами — так лучше, когда не знаешь и знать не хочешь, куда едешь.

Но вот бензовоз остановился, и Светлана вдруг слышала разговор двух спутников.

— Дальше не могу,— твердо сказал Скворцов.— У меня каждая минута на учете. И так рискую... Если я опоздаю, знаешь что будет? А мне нет никакого расчета расставаться с этой баранкой.

— Я заплачу,— угрюмо пообещал Белорецкий.

— Всех денег не загребешь.

— Куда же нам дальше?

— А вот прямо этой дорогой.

— Ее и не видно.

— Да уж что и говорить, отсюда дороги не торные,— ответил Скворцов, должно быть не очень-то одобряя бегство москвичей из степи.— Ну, ничего, не заблудитесь! Так вот прямо и валяйте. Сначала попадетесь колодец с журавлем, потом кошары, а уж дальше казахский аульчик. Там отдохнете, а к вечеру будете на диком берегу Иртыша.

— На станцию надо бы!..

— Туда мне совсем не с руки.

Скворцов и Белорецкий вылезли из кабины и отошли назад — снять привязанные у бака чемоданчики и рюкзаки. И оттуда вновь послышались их голоса:

— А как на Иртыше? Ходят там пароходы?

— Должны ходить.

— Пристань-то близко?

— В ауле спросите, как идти.

И здесь все, что обмерло в Светлане, все вдруг ожило. Значит, они едут не на станцию Кулунда, а на Иртыш? На тот самый, про который поется в песне? А оттуда в Москву? Странно, она и не знала, что со степи можно отправиться в Москву по воде. Значит, до Омска на пароходе, а там на поезд? Ах, этот Виталий! Это он придумал такой маршрут, когда Скворцов отказался везти их на станцию. Но почему он ведет себя так, словно боится погони? Кто их может догонять? Неужели он думает, что их догонит Леонид? Неужели?

Светлана быстро открыла глаза. Боже мой, где же они, где? Может быть, все это бред? Вокруг бензовоза, пока хватало глаз, лежала выжженная дотла степь, а над ней висело низкое хмурое небо. Черная пустыня без каких-либо признаков жизни занимала весь мир. Да разве есть в этом мире дороги? Разве может катиться здесь вольнолюбивый Иртыш?

Подойдя к кабине, Белорецкий сказал:

— Что ж ты сидишь? Выходи.

— Зачем? — испуганно спросила Светлана.

— Пешком пойдем.

— А где мы?

Белорецкий не ответил — он уже примерялся, как удобней нести свои вещи. Светлане ничего не оставалось, как сойти на опаленную огнем землю.

Долго шли они черной степью-пустыней.

На огромных площадях залежей палы оказались сплошными — все сухое разнотравье выгорело до корней, не уцелело ни единой былинки. Огонь пировал здесь буйно и весело. Вся земля была покрыта, будто кошмой, слоем золы и пепла. Тропа, по которой шли Белорецкий и Светлана, едва угадывалась по небольшой извилистой ложбинке, выбитой конским копытом. От земли, обожженной огнем, и от теплой травяной гари исходили душные, раздражающие горло и грудь запахи. На целинных участках огонь обошел низинки, где было сыро, и оставил кое-где в целости небольшие полоски и куртины. Но небольшие клочки уцелевшей целины не изменяли общего фона пала. В выгоревшей степи было сумеречно, безмолвно и жутко.

Шли они молча.

Виталий Белорецкий оглядывался назад редко: он избегал встречаться взглядом со Светланой, он боялся

ее внезапных, простых, но невероятно трудных вопросов, которые она начала задавать, ступив на опаленную землю.

Светлане не очень-то хотелось разговаривать с Белорецким. Ее волновали сейчас не десятки, а сотни, тысячи вопросов, очень важных, очень серьезных, от которых бросало в жар. Разве способен ответить на них Белорецкий? Уж лучше задавать их самой себе. С каждой минутой поток вопросов нарастал и нарастал, как это случается с горным потоком, когда сильно припечет солнце. Светлана все с большей тревогой осматривала степь, ставшую за ночь пустыней, все торопливей искала в ней что-то растерянным взглядом, все ждала чего-то на каждом шагу. Вскоре ей стало так трудно идти, так тяжело вдыхать запах травяной гари, что она бросила на дороге сначала чемодан, а потом и рюкзак. Но и теперь ей не полегчало. Пеплом были запорошены не только ее сапоги, но и юбка и кофта... Светлана шла, поднимая ногами прах целины, прах самой земли целинной, и ей казалось, что она несет его не только на своей одежде, но и в своей душе.

Однако какие бы вопросы ни задавала себе Светлана, ей все время казалось, что существует самый большой, самый главный, самый страшный вопрос, который она вот-вот должна, даже обязана задать себе среди этого беспредельного степного пала.

Наконец-то после долгого перерыва оглянулся Белорецкий. Загорелый, худой — в чем душа держится, с тоненькой птичьей шейей, весь в грязном поту, он показался сейчас Светлане совсем незнакомым.

— Где же твои вещи? — удивленно крикнул он Светлане. — Ты что, все бросила?

Белорецкому она ответила кивком головы, а себе одним словом, от которого ей стало горше, чем от травяной гари:

— Все.

Через какое-то время, не то через час, не то через два, они оказались на довольно большом участке уцелевшей от огня целины. Белорецкий решил устроить здесь привал. Измученная Светлана едва дотащилась до места отдыха. Она сразу же свалилась на землю, рассыпав вьющиеся волосы по ковылю, и впервые за всю дорогу спросила себя вслух:

— Зачем же я уехала? Зачем?

Теперь она знала, что это и есть тот самый большой, самый главный, самый страшный вопрос, который она должна была рано или поздно задать себе сегодня...

V

После смерти Куприяна Захаровича Леонид, в сущности, уже был тяжело болен, и ему стоило немалых усилий переносить свою болезнь на ногах. По всем законам, которыми жив на земле человек, он должен был свалиться, узнав о гибели своего лучшего товарища и друга. Но в те несказанно тяжелые минуты где-то в тайниках его существа могуче сработала некая запасная пружина, о существовании которой он не подозревал, и он удержался на ногах. Жизнь тут же ударила Леонида еще раз, да к тому же в самое сердце. Он будто врос по колено в землю, что-то с невыразимой болью надорвалось в его душе, но он и теперь устоял! Это было уже чудо из чудес. Откуда взялась в нем эта волшебная пружина? У каждого ли человека она есть? Он устоял, но в душе его было темным-темно, как прошлой ночью в степи, и в ней так же горело.

Около полудня, когда следствие шло полным ходом, Леонид, возвращаясь на стан, задержался в дальнем конце пруда. Опираясь на комель березы, он надолго засмотрелся в темную зеркальную гладь. Где сейчас Светлана? Возвратясь из Залесихи с Краснюком и милиционерами и узнав о ее бегстве, Леонид хотел было, оставив все дела, немедленно броситься в погоню. Но когда взялся за мотоцикл (на нем только и можно было ее догнать), сразу же понял, что его попытка будет совершенно бесполезной: Светлана ни за что не вернется, вновь увидев его на мотоцикле Хмелько. Где же она сейчас, глупенькая, несчастная девочка?

Леонид вздохнул и присел на обрывчик под березой.

Его отыскал здесь Петрован. Сообщил:

— Суслик тебя ищет.

— Какой суслик? Ах да... Где он?

— Сюда идет.

Илья Ильич Краснюк все эти дни нет-нет да и вздрагивал, вспоминая о своем первом посещении бригады.

Не случись убийства Зарницына, не скоро бы ступила здесь его нога. Но сегодня никак нельзя было избе-

жать поездки в Заячий колок. Впрочем, он поехал сюда не только по долгу службы.

У Ильи Ильича, хотя он и грозился жене доказать свою способность работать в деревне, было единственное заветное желание — как можно скорее покинуть степь. Однако перспективы возвращения в город были пока что весьма призрачны. «Выручить» его мог лишь большой провал на целине. Но откуда ему случиться, если триста молодых новоселов как одержимые во сне и наяву грезили огромными массивами вспаханной земли? Они работали день и ночь, презирая все трудности. И ни в одной из новосельских бригад, как назло, не происходило никаких серьезных происшествий, вина за которые хотя бы косвенно могла упасть на директора станции. И вдруг эта трагедия в Заячем колке. «Теперь снимут, — с неприятным и неопределенным чувством решил Краснюк. — Раз я директор — за все отвечаю. У нас так заведено. Но как снимут?» Предстоящее освобождение не столько радовало, сколько пугало Краснюка: он боялся, что дело может разыгаться так бурно, что ему не отделаться одним выговором, а придется выложить партийный билет. Поэтому он рассчитывал, воспользовавшись поездкой в Заячий колок, заранее принять необходимые меры защиты, чтобы до известной степени ослабить предстоящий удар по своей персоне.

Подождав, пока скроется Петрован, Краснюк опустился на край обрывчика, рядом с Багряновым. Леонид, так и не обернувшись на него, высматривал что-то в темной глубине пруда.

— Это тоже ваша затея? — негромко, но с оттенком раздражения спросил Краснюк, обиженный неучтивостью молодого бригадира.

— О чем это вы? — не поворачивая головы, спросил Леонид, стараясь говорить ровным голосом, хотя уже догадался, что новая схватка с директором неизбежна.

— О вашей затее с оружием.

— Вы всегда почему-то плохо думаете о бригаде, — грустно заметил Леонид. — Просто удивительно!

— Хотите сказать, что это затея всей бригады?

— Это не затея, а совершенно необходимая мера предосторожности, — возразил Леонид. — Что в ней страшного? Чем она напугала вас?

- Да что вам здесь — фронт?
- Не фронт, но и не канцелярская тишь.
- Это паника!
- Зря вы... У нас нет никакой паники.

— Паника началась в вашей бригаде сразу же, как только стало известно о гибели Зарницына.— Губы и ноздри Краснюка передергивались сильнее обычного, что было признаком крайнего раздражения.— А вы, вместо того чтобы пресечь панику, взяли за оружие. Своей мальчишеской выходкой вы только поддержали и разожгли панические настроения в бригаде! И вот вам результат — еще двое сбежали.

У Леонида до ломоты в скулах стиснулись зубы. Ответил он после длительной паузы, лишь когда почувствовал, что полностью справился с собой:

- Тут не в этом дело.
- В чем же?
- Тут особое дело.

— Вам нечего сказать, Багрянов! — торжествующе произнес Краснюк.— А дело проще простого: из-за вашей глупой выдумки начался развал бригады.

Леонид впервые оглянулся на директора.

— Какой развал? Что вы говорите?

— Полный развал! Но это еще не все. Что будет, если слух о том, что вы пашете с оружием в руках, разойдется по степи? Может быть, вы хотите, чтобы паника, как зараза, распространилась и на все соседние бригады?

— Слушайте, вы...— заговорил Леонид сквозь зубы, глядя на директора невидящим взглядом.— Зачем вы пришли?

— Я пришел сказать вам, чтобы вы немедленно убрали с тракторов и спрятали свои дурацкие дробовики! Вот и все!

— Я не могу этого сделать.

— Почему?

— Тогда бригада в самом деле может разбежаться. Вот будут пойманы убийцы — и все ребята сами спрячут ружья.

— Но я приказываю убрать!

— Уберите сами.

— Повторяю: я приказываю!

— Дайте письменный приказ.

Краснюк сорвался с места.

— Я знаю, вы плюете на мои приказы,— сказал он, обтирая платком розовое потное лицо.— Я приказал убрать отсюда вот этого мальчика, а он все еще здесь...

— Он сын бригады,— сказал Леонид, продолжая сидеть в прежней позе усталого человека.

— Это тоже романтика?

— Нет, суровая жизнь...

Разговор явно подходил к концу, и Краснюк, удивляясь не столько упрямству, сколько неожиданной сдержанности молодого бригадира, делавшей его вдвое сильнее, бесцельно потоптался на месте.

— Нет, это неслыханно! Поднимать целину с оружием в руках! — заговорил он, не зная, что делать.— Но ведь об этой глупейшей затее могут узнать в районе, а то и в Барнауле!

— Вон что! — воскликнул Леонид с холодной усмешкой.— Вы боитесь, как бы не влетело вам от начальства?

— Мне нечего бояться! Вам надо бояться! — уже прокричал Илья Ильич.— На этот раз я не потерплю вашего самоуправства и приму необходимые меры. Никто больше — только вы один виноваты во всем... Не затейте вы ссору с колхозом, не было бы и этой трагедии.

Леонид медленно поднялся со сжатыми кулаками.

— Еще что скажете?

— Узнаете из приказа.

VI

Все четыре дня, пока тело Кости Зарницына не было предано земле, над степью хмурилось и плакало небо. Занепогодилось уже утром, какое не пришлось встретить белокурому весельчаку бригады, а после полудня незаметно спустился тихий, печальный, обложной дождь. С того часа стало быстро темнеть, и вскоре люди не знали, что и думать, — явно раньше срока наступила ночь. Бесконечной, томительной совсем не весенней, а, скорее, осенней показалась эта ночь бригаде. Под утро дождь стих, заметно посветлело, и всем неволью подумалось, что над горизонтом вот-вот заиграет, как речка на каменистом перекате, аленькая зорька, и все в мире зокреснет в ожидании солнца. Но восток вымер, как пустыня, и солнце не вернулось к земле. Не тучи, а

сплошная темная лавина двигалась с запада, заслоняя весь небосвод, и вновь полило, да на этот раз с ветром — налетела водяная вьюга. Правда, она скоро затихла, но зато повеяло стужей. Ничего, решительно ничего не осталось в степи от весны! Вовсю властвовала холодная, унылая, до боли сжимающая тоской людские души сибирская осень.

По подозрению в убийстве Зарницына были арестованы Орефий Северьянов и два его приятеля-собутельника, а также Ванька Соболев, которого считали соучастником преступления. Следственные органы не могли, конечно, делать какие-либо преждевременные заключения, и потому большинство людей не только в Заячьем колке, но и в Лебяжьем с убежденностью решили, что виновность всех арестованных очевидна и уже доказана. Оснований для такого заключения было более чем достаточно.

Злодейское преступление ошарашило все Лебяжье. Выходило так, что недоброжелательство, которое несомненно существовало в селе подспудно, а открыто дало себя знать после внезапной смерти Куприяна Захаровича, способствовало разжиганию темных страстей убийц. Не могли не вспомнить лебяженцы, что никто из них не одернул вовремя по всей строгости злонравного Орефия Северьянова. Черное пятно, таким образом, ложилось на все село.

Большая группа лебяженцев вслед за милицией появилась в Заячьем колке, чтобы разделить с бригадой Багрянова ее страшное горе и попытаться наладить отношения заново, на новых началах. Однако бригада держалась с лебяженцами хотя и не враждебно, но и не очень-то мирно. Отлично понимая, что нельзя винить в убийстве всех жителей Лебяжьего, бригада тем не менее рассудку вопреки испытывала к селу в какой-то мере отчужденность и недоверие. Между бригадой и селом все же легла та ночь, когда горела степь.

Следом за лебяженцами в Заячий колок валом повалило разное начальство не только из Залесихи, но и из далекого районного центра. У всех вдруг оказались здесь очень срочные и важные дела. Приезжие бежало конца расспрашивали о Косте Зарнице и обо всем что в бригаде запомнилось о трагической ночи. Они хледили по стану толпами, многозначительно хмурились

шушукались, делая вид, что заняты раскрытием тайны злодейства.

Нельзя, однако, сказать, что от «уполномоченных» не было никакой пользы. По их инициативе действительно были приняты самые разносторонние меры по улучшению условий жизни бригады: из Лебяжьего навезли много разной снеди, у пруда, словно по щучьему велению, появилась банька, районная кинопередвижка показала одну из хороших картин тридцатых годов, из Залесихи прислали большой рулон новых плакатов и десятка два книг, всей бригаде выдали заработанные деньги. А тут появилась и лавка-фургон, где можно было купить недорогие вещи, и не только для лета, но и для зимы, и не только для взрослых, но и для детей. Все это, вероятно, можно было сделать гораздо меньшим количеством людей, но в конечном счете большого греха в том не было.

Местные власти собирались похоронить Костю Зарницына в Залесихе — подальше от бригады, чтобы поскорее забылась его трагическая смерть. Но бригада Багрянова настойчиво потребовала похоронить товарища недалеко от стана, в открытой степи, чтобы вокруг его могилы уже нынче летом заколыхалось золотое море пшеницы.

— Еще одна затея! — брюзжал Краснюк.

— А что в ней плохого? — спросил его Леонид.

— Да как вы не понимаете?! Это всегда будет напоинать...

— Вот и хорошо, — ответил на это Леонид. — Могилы бойцов никогда не страшат и не расслабляют волю. Я знаю это по войне... У могил бойцов воля только заляется.

— Но здесь даже кладбища нет!

— Теперь будет... Где селится человек, там все олжно быть.

Хоронили Костю Зарницына седьмого мая, во время ечерней пересмены, при заходе солнца. На похороны еожиданно съехалось со всей ближней округи много ебят-новоселов. Представители местных властей схва-лись за головы. Втайне они принимали все меры к то-у, чтобы слух о зверском убийстве не разошелся широ-о по степи: боялись паники среди приезжей молодежи. о разве удержишь такой слух? Особый вид степной

связи, метко названный казахами «длинным ухом», давно действовал вовсю.

Одновременно с гробом Зарницына в Заячий колок были привезены газеты, в которых молодые новоселы прочитали Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении смертной казни за убийство. По этому случаю в бригаде оживленно заговорили:

— Ко времени. Будто о нашей беде узнали!

— Таких бед, видно, немало случается...

— Конечно, затем и Указ издали!

Леонид Багрянов не расставался с газетой, где был напечатан Указ, даже у могилы. Когда ему разрешили сказать прощальное слово, он в большом волнении долго шелестел газетой, безотчетно свертывая ее так и сяк.

— Говори,— поторопили его сзади.

— Ты слышал когда-нибудь, дорогой наш Костя, как шумит пшеница? — заговорил Багрянов, едва поборов удушье, но все равно очень глухо, будто из-под земли.— Возможно, и не слышал... Ты ведь вырос в Москве. Но теперь всегда будешь слышать, как она шумит... Каждое лето!

Это прозвучало клятвой.

Уже темнело, когда люди расходились от свежей могилы. Двое, остановившись по пути к стану закурить, заговорили задумчиво и доверительно:

— Теперь отсюда ничем не уеду.

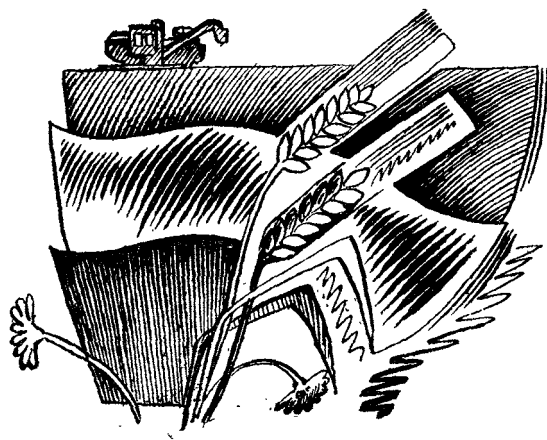
— А разве думал?

— Думалось.

Ночью потянуло нестерпимой зимней стужей, а на рассвете по всей Кулунде разбушевалась памятная там до сих пор лютая северная пурга. Она бесновалась до полудня, остановила все тракторы, посрывала немало бригадных палаток, раскатала пустые бочки, в колках повалила березы. Когда же пурга стихла, люди увидели, что вся степь, от края до края, покрыта холодным белым саваном: не пурга лютовала — сама смерть...



**ГЛАВА
ДЕВЯТАЯ**



Снег исчез как в сказке, и уже на другой день после бешеной пурги в степи прочно установилась очень солнечная, очень теплая погода, какой еще не было этой весной на Алтае. Вся даль потонула в струистом волшебном мареве: земля наконец-то дышала полной грудью. Вновь появились птицы, и над степью послышались их милые голоса.

Но над бригадой Багрянова уже нависла новая беда.

Заканчивалась вторая неделя пахоты. К счастью, даже по очень влажной целине тракторы шли хорошо, а сырая дернина резалась как масло. Бригада подняла три клетки кряду — шестьсот гектаров, — дошла до границы, за которой начинались земли бригады Громова, и теперь полосовала плугами четвертую клетку за западной опушкой Заячьего колка. Бригадный стан с колком, таким образом, оказался в прямом углу, образованном огромным массивом пахоты. Теперь никто уже не сомневался, что бригада, даже и без самого мощного трактора, выполнит план весенней вспашки.

Однако поднятая бригадой целина пока что не вскармливала ни одного пшеничного зерна. Еще в первомайские дни, когда солнце впервые обсушило землю, бригада приступила было к дискованию, боронованию и прикатыванию катками пахоты. Первая клетка уже тогда была полностью подготовлена к севу. Но начать сев так и не успели: колхоз не подвез семена вовремя. А какой же сев в непогоду?

Так уходили лучшие сроки сева. В обычные годы к середине мая сев заканчивали все южные районы Кулунды. Бригада об этом хорошо знала, а потому не могла не волноваться за судьбу поднятой целины. Удастся ли засеять ее пшеницей в считанные дни, когда еще можно сеять при запоздалой весне? Этот вопрос не давал покоя всей бригаде.

Утро десятого мая Леонид Багрянов встретил с единственной мыслью: сеять, сеять и сеять! День и ночь! Не теряя ни одной минуты! Не успело взойти солнце, а Леонид уже ходил вокруг сеялок, осматривая их со всех сторон, и читал то вслух, то про себя когда-то полюбившиеся стихи Мартынова о Ермаке.

Неслышно подошел Ионыч.

— Ты что тут бормочешь? Молитву от дождей?
— Стихи про Ермака,— ответил Леонид.— Он ведь первый сеял в здешней степи.

— Ермак Тимофеевич?

— Сеял!

Ионыч покачал кудлатой седой головой.

— Долго же держится наша целина!

— Теперь не удержится,— сказал Леонид.— Ну, а как с погодой, Ионыч? Не вернется?

— Кто ее знает!— ответил старик.— Нынче прямо-таки невиданная весна! Не помню, когда уж и была такая... От атомных бомб, сказывают, мочит-то так, а? Верно или нет? Не знаешь, стало быть... Ну, а ты что же, скорей за сеялки? Да, уходит время, уходит! Теперь бы уж зеленеть надо пшеничке-то! Что ж ты думаешь делать?

— Сеять,— ответил Леонид.

— Не пойдут твои сеялки, бригадир! Еще сыровато!

— Будем пробовать! Авось и пойдут!

— Не терпится?

— Только вот подвезут ли сегодня семена?

— Подвезут,— твердо ответил Ионыч.— Обещано. Ты не думай, Леванид, люди все понимают...

Утро всех радовало. Небосвод был чист и блистал, будто шелковый, солнце слепило глаза, по степи струилось быстротечное марево.

Вскоре после пересмены в Заячий колок пришла колхозная автомашина с семенной пшеницей. Леонид Багрянов встретил шофера приветливой улыбкой и, выхватив из его рук накладную, несколько секунд, казалось, любовался ею: да, семена есть, есть, теперь можно начинать сев!

— Пшеницу не ешьте!— говорил в это время шофер.— От себя не советую. Агрономша поливает семена какой-то гадостью. В бутылках у нее эти... бактерии в жидком виде.

— А-а, знаю!

Леонид взглянул в сторону автомашины, стоявшей поодаль, и прищурился, как иной раз охотник на охотничьей тропе.

— Это кто еще?— спросил он удивленно.

Минуту назад из кабины автомашины вылезла Тоня— вернулась из Залесихи, где была по делу Соболя. Те-

перь же в кузове машины, на мешках с зерном, стоял человек городского вида, в ядовито-зеленой шляпе, и тряс полы своего дерюжной выработки модного пальто.

— Лектор,— со вздохом сочувствия ответил шофер.

— Тьфу ты! — проворчал Леонид.

— Замучили?

— Покою не стало!

— Агитработа.

Лектор далеко не сразу сошел на землю. Не выпуская из рук огромного портфеля-чемодана из желтой кожи, в богатейшей никелевой оправе, он потоптался сначала у одного борта, потом у другого, все заглядывая и заглядывая на колеса, обляпанные грязью. Наконец он решительно продвинулся к кабине, где и нашел самый наудобнейший путь на землю.

У машины уже стоял Леонид Багрянов.

— Вы здешний бригадир, как я полагаю? — заговорил приезжий, быстро охорашиваясь.— Очень, очень приятно! — Улыбался он светло и радостно.— Очень рад встретиться с вами... вот на этих... целинных просторах! Ах, как здесь необозримо!

И только после всего сказанного, убедившись, что он понят правильно и его добрейшие намерения совершенно ясны, лектор элегантно раскланялся и отрекомендовался:

— Лектор Марченко.

Вопреки первому впечатлению Леониду все больше и больше нравился этот лектор. Несмотря на свою природную смешливость и слабость по части моды, это был, вероятно, очень непосредственный, милейший человек, а главное — твердо верящий в то, что приехал в степь делать великое дело. Леонид дружелюбно подержал в своей жесткой ладони нежную руку лектора и спросил:

— Из Барнаула?

— Что вы, я из Москвы! — На округлом лице лектора высоко поднялись тонкие, девичьи дужки бровей.— Что вы, молодой человек! — повторил он весело, с удовольствием и со значением.— Я от нашего Общества... Впрочем, инициатива была моя... Я рад оказать необходимую помощь молодым энтузиастам освоения целины.

— Понятно. А тема вашей лекции?

Лектор Марченко многообещающе улыбнулся, веро-

ятно втайне добродушно потешаясь над молодым бригадиром, которому, конечно, и невдомек, какое счастье выпало его бригаде. Затем он сообщил с самой изысканной вежливостью:

— Тема моей лекции такова: «Что должны знать молодые новоселы о жизни в целинной степи».

— О, это интересно! А конкретнее?

Лектор помедлил, кокетливо закатил светленькие глазки и потом с достоинством уточнил:

— Как уберечься новоселам от очаговых болезней.

— Вы врач? — с легким удивлением спросил Леонид.

— Эпи-деми-олог, — выговорил Марченко отчетливо, но несколько неопределенно, однако не без намека на то, что он где-то значительно выше, чем обычные врачи.

— А есть они у нас тут, эти очаговые болезни?

— Конечно! В том-то все и дело!

Леонид невольно оглянулся по сторонам.

— Самое подходящее место для них, молодой человек! — сказал Марченко, проследив за взглядом Багрянова. — И лес, и целинная степь, и озеро с густой растительностью.

— Ну что ж, послушаем! — согласился Леонид; он торопился начинать сев, ему недосуг было вести лишние разговоры. — Только вот что, товарищ лектор, сейчас у нас некому слушать вашу лекцию, на стане бодрствуют всего-навсего пять человек... Какая же это для вас аудитория?

— Но где же остальные? — Нетерпеливый лектор так и рвался вперед.

Леонид не мог сдерживать улыбки.

— Одна смена работает.

— Да, конечно, конечно...

— Другая укладывается спать...

— Да, да, да! — проговорил лектор, досадливо хмурясь. — Совершенно верно!

— Так что, товарищ лектор, придется вам обождать, пока люди выспятся. Побродите по целине, осмотрите наши очаги.

— Помилуйте, молодой человек, но я должен ехать дальше! — живо запротестовал Марченко. — Меня будет ждать машина. Вы знаете, какой у меня огромный маршрут? Лекцию должны прослушать тысячи новоселов! Это очень важно! Очень важно!

Леонид пожал плечами, раскинул руки.

← Но ведь я, товарищ лектор, не имею права заставлять слушать вашу лекцию людей, которые работали всю ночь! У них же глаза слипаются. Они же валяются с ног.

Марченко выпрямился и воскликнул:

— Они будут слушать мою лекцию, уверяю вас!

— Хорошо, идемте спросим,— вдруг согласился Леонид, решив, что только личная встреча лектора с уставшей сменой заставит его смириться.

Ночная смена докуривала папиросы перед сном, сбрасывала грязную одежду и обувь, раскрывала постели и вяло, сонно переговаривалась. Тяжела, ох тяжела ночная работа на тракторах и прицепах! Утром свет не мил. Хоть трава не расти! Спать. Только спать. Никто и не взглянул на лектора, когда он появился в палатке. Никто и слова не промолвил, когда бригадир объявил, что приезжий лектор желает прочитать лекцию о том, как уберечься новоселам в степи от очаговых болезней.

Но Марченко проявил завидную выдержку в этой тяжелой обстановке. Увидев, что все стены палатки завешаны плакатами, с которых смотрят сусличьи морды, он решительно прошагал вперед и решительно уложил свой портфель-чемодан на край стола. Заговорил он на удивление весело и оживленно:

— Прекрасно! Пре-крас-но! И много у вас, дорогие товарищи, вот этих самых сусликов? Кто мне скажет?

Никто из смены не желал говорить о сусликах.

— Прекрасно! — повторил Марченко.

— Они здесь не считаны,— ответил наконец за всех Петрован, оказавшийся на этот случай в палатке.

— Но все же? Как много их норок?

— Да сплошь!

Марченко оглянулся на Леонида, подняв брови.

— Я так и знал.

Петрован, втайне страдавший оттого, что, по его мнению, оказался главным виновником в печальной истории с сусликами, осторожненько подсел к портфелю-чемодану Марченко и, весь порозовев, заговорил:

— Товарищ лектор, а они вредные, эти вредители?

— В каком смысле? — не поняв, спросил Марченко.

— Для желудка.

— А разве вы их едите?

— Ну, было дело...

— То-ва-ри-щи! — вытаращив глаза, протянул Марченко.— О, ужас! — И он сел.

Многие из ночной смены уже давно прислушивались к словам лектора. Незаметно они начали медлить с окончанием своих дел. И кто-то, увидев, как потрясен лектор, вдруг заговорил из дальнего угла:

— Чем же их мясо заразное? Оно же ведь на огне жарилось!

— Да не мясо! — страдающе морщась, ответил Марченко.

— А что же тогда?

— Товарищи, товарищи! — спохватясь, с укоризной заговорил Марченко.— Вы же знаете порядок: вопросы задаются после лекции.

— Ну что ж, ребята, послушаем? — предложил Леонид.

— Пусть говорит,— недружно, с раздумьем, но все же отозвались некоторые парни.

И вот Марченко уже стоял у стола в лекторской позе.

— Вы приехали сюда, дорогие товарищи, чтобы освоить и обжить пустующие целинные просторы.— Так начал он свою лекцию.— Вы смелые, отважные люди. Вы не побоились трудностей, которые неизбежны во всяком великом деле. Вами гордится вся наша страна. Честь вам и слава! Но вряд ли вы, дорогие друзья, знаете, что угрожает вашей жизни на целине. Вы думаете: здешние ветры и стужи, отсутствие хорошей воды и теплого жилья? О нет! Вам угрожает другое... Вам угрожают болезни. Очаговые болезни.

Слушатели располагались в самых различных позах на своих кроватях, поодаль от стола, посматривали на лектора со скукой и все еще не могли оставить недоделанные перед сном дела: один зачем-то копался в рюкзаке, другой срезал мозоли на ногах, а третий, не стеснясь, забрался пятерней под грязную рубаху и с наслаждением чесал бок...

— Советские ученые,— продолжал Марченко, не смотря ни на что настроенный весьма оптимистически,— давно уже установили, что в безлюдных, еще не освоенных местах есть очаги болезней диких животных, опасных и для человека. Наш крупнейший ученый, знаменитый Павловский, назвал их болезнями с природной

очаговостью. За несколько лет самоотверженного труда исследователей очень многие очаги сейчас достаточно хорошо изучены. В степях Алтая и Казахстана, как теперь определенно известно, существуют очаги разных болезней: клещевых сыпнотифозных лихорадок, клещевого возвратного тифа, комариного энцефалита, лейшманиозов, туляремии... Где же эти очаги?

Марченко улыбнулся, будто собираясь чем-то осчастливить своих слушателей, и вдруг разом поднял руки, указывая на плакаты.

— А там, где живут вот эти грызуны!

— Суслики? — ошарашенно переспросил Петрован.

— Да! — ответил Марченко. — Впрочем, — продолжал он, — где много и других зверьков: хомяков, сурков, хорьков, ласок, тушканчиков, водяных крыс, мышей... Дело в том, что где много позвоночных, там еще больше их паразитов.

— Клещей? — спросил Петрован, который пока что был, несомненно, единственным слушателем, живо интересующимся лекцией.

— Да, клещей, — ответил Марченко. — Они невероятно опасны для человека. В организме многих мелких зверьков, скажем, у тех же сусликов, встречается так называемая реккетсия. Это мельчайший возбудитель Ку-лихорадки. Тяжелая и опасная болезнь, кстати, не похожая на обычную лихорадку, а скорее напоминающая воспаление легких. Так вот, если клещи напьются крови у больного суслика, то они сами становятся носителями возбудителя Ку-лихорадки. При этом они сохраняют его в своем теле не менее трех лет и даже передают его через яйца своему потомству! Таким образом, клещи не только распространяют возбудителя болезни, но и стойко хранят его в природе. Вот что такое клещи, дорогие товарищи! Весной, когда клещи голодны и наиболее активны, они нападают на человека и могут заразить его тяжелой болезнью. А вы, вместо того чтобы беречься, несете на стан сусликов с клещами!

Марченко решил сделать паузу, чтобы слушатели как следует призадумались над сказанным, и потому без надобности начал перебирать лежавшие перед ним для лишнего эффекта бумаги. В это время Ибрай Хасанов, сидевший на ближней кровати, задрал одну штанину до колен, обеими руками сжал волосатую икру и спросил лектора:

— Вот такой клещ, да?

У лектора воистину выскочили на лоб глаза.

— У-у, кровосос! — увидев выражение лица лектора, проворчал Ибрай и начал царапать ногтем тело.

— Стойте! Стойте! — без памяти закричал Марченко, бросаясь к Ибраю.

Взглянув на клеща, Марченко произнес трагическим голосом:

— Да, это он! — Несколько секунд у лектора был вид совершенно несчастного человека, но потом будто вновь осветило его солнышко. — Впрочем, это кстати. Обождите, не трогайте! — И он уже с прежним видом поспешно вернулся к своей лекции. — Так вот, дорогие друзья, после окончания работы, перед сном, вы должны тщательно, повторяю, очень тщательно осматривать и ощупывать свое тело. В первую очередь, конечно, надо осматривать шею, затылок, подмышечные впадины и паховые области.

— Какие это паховые? — лукавя, переспросил Ибрай.

Наивный лектор, думая, что новосел-татарин в самом деле не понял его, обеими руками показал, где у человека паховые области. Несколько парней вдруг прыгнули, один из них тоненько захохотал.

— Что же вы смеетесь? — вроде бы сердито одернул товарищей Ибрай Хасанов. — Что тут смешного? Лучше бы сняли штаны да осмотрели свои паховые области!

На этот раз дружный хохот прокатился по всей палатке, — это случилось впервые за всю последнюю неделю.

— Оставим шутки, товарищи! — заметил лектор несколько обиженно. — Я продолжаю. Нет, нет, вы обождите, не трогайте! — вновь сказал он Ибраю. — Итак, осматривать свое тело необходимо регулярно и тщательно. Если на тебе будут обнаружены клещи, как вот в данном случае, то их надо немедленно снять, опустить в керосин...

— В керосин? — раздался голоса.

— ...или в карболовую кислоту.

— А если их нет?

— Тогда сжечь, — отрезал лектор.

— Придется каждый раз костер разводить, у нас клещей полно, — сказал кто-то, и опять все засмеялись, представив себе, как топчется бригада у костра, ища на себе клещей и сжигая их в огне.

Помахав рукой, лектор потребовал тишины.

— Теперь о том, как удалять клещей с тела,— заговорил он, приближаясь к Ибраю.— Это надо делать очень осторожно — иначе в ранке может остаться колющий аппарат. Покажите-ка, молодой человек, как вы это делаете? — Но как только Ибрай пустил в ход свой ноготь, лектор закричал, весь трясаясь: — Стойте, стойте, что вы делаете? Ну, кто же так тянет? Что вы! Клеща тянут медленно, очень медленно — то вправо, то влево. Медленно и осторожно. Попробуйте еще...

Ибрай начал вытаскивать клеща из тела, как учил лектор, но сколько ни тянул его то вправо, то влево — клещ сидел крепко.

— Не поддается? — спросил Краюшка.

— Сидит, кровосос!

— А ты его, Ибрай, за хвост, за хвост!

— Какой хвост? Где у него хвост?

— Обождите, обождите,— вступился Марченко.— Если клещ сидит слишком крепко, лучше всего смазать его каким-нибудь жиром. Жир закупоривает дыхательные отверстия клеща, он перестает сосать кровь, и тогда его легко удалить с тела.

— Ох, зар-раза! — закричал Ибрай и, дурачась, начал коверкать отдельные слова.— Ну-у, теперь-та мы знаем, чем тебя выживать надо! Жи-иром! Ребята, скажите Фене, пускай тащит мне полкило свежего сливочного масла! Я ев-во, кровососа, удалять-та буду!

Последние слова Ибрая утонули во взрыве хохота. Минуты две не стихал этот заразительный, с выкрикиваниями и взвизгиваниями хохот. А когда сжигали клеща на огне, творилось что-то совсем невообразимое. В одночасье сгнуло все, что стойко держалось в палатке целую неделю и отравляло всем жизнь,— затаенность, уныние, тоска. Забыли все горести и беды. Молодость взяла свое, она жила и торжествовала!

Вначале Марченко немного обиделся на своих слушателей, но вскоре с удивлением почувствовал, что хохот был для них необычной и страстной потребностью, он давал им какое-то странное наслаждение, он зажигал новым светом их усталые глаза, и тогда лектор, обращаясь к Багрянову, вынужден был отозваться о своих слушателях с похвалой:

— Веселый народ!

— Всегда такой! — ответил Леонид; сам он тоже

смеялся весело, безудержно, откидывая голову назад и от удовольствия потирая ладонью грудь.

И вскоре на глазах у лектора свершилось чудо. Насмеявшись вдоволь, до слез, молодые слушатели вдруг предстали перед ним совсем другими людьми. Куда девались их усталость, хмурость, отчужденность! Все они собрались вокруг стола, заговорили, заспорили, закидали лектора вопросами.

— Товарищи, лекция продолжается,— напомнил Леонид.

— Итак, я продолжаю,— со счастливым видом заговорил Марченко, когда все стихли.— Как же уберечься от клещей?

И он увлеченно рассказал о мерах общественной профилактики: борьбе с грызунами и клещами, выборе места для стана, выжигании вокруг него травяного сухостоя и распылении ядовитых веществ.

— Простите, товарищ лектор,— улучив момент, заговорил Леонид.— Один попутный вопрос: а вспашка целины имеет какое-нибудь значение в борьбе с грызунами и клещами?

— Конечно! — ответил лектор.— Вспашка целины сама по себе является замечательным мероприятием по оздоровлению обживаемой местности. Ведь при этом разрушаются норы грызунов и глубоко запахиваются клещи, где они и погибают.

— Я так и думал,— сказал Леонид.— Откровенно говоря, товарищ лектор, вот этот последний способ борьбы с грызунами и клещами нам больше всего нравится. Могу заверить вас, что этим способом мы будем уничтожать очаговые болезни беспощадно. Приезжайте летом — вся целина вокруг нашего стана на несколько километров будет вспахана. Конец клещам!

— Теперь о личной профилактике,— продолжал Марченко и, запустив руку в портфель-чемодан, выложил на стол какую-то сетку темного цвета.— Прежде всего, дорогие друзья, вы должны думать о своей одежде. Новосел на целине обязательно должен иметь комбинезон — он хорошо защищает от клещей. Если комбинезона нет, то обычную одежду надо хорошо заправлять: брюки в сапоги, рубашу или куртку в брюки, а поверх потуже затягивать пояс. Обшлага и воротник надо плотно пригонять к телу. Вот так, видите? — Лектор почти задушил себя — лицо его потемнело от при-

лившей крови.— А чтобы защитить от клещей шею и голову, на плечи набрасывается вот эта сетка, пропитанная раствором нафтализола с небольшой примесью скипидара. Набрасывается она вот так...

— И всегда вот так ходить? — с удивлением спросил Ибрай.

— Всегда! — ответил лектор уже из-под сетки.

— И в жару?

— Ага...

— Товарищ лектор, все ясно, ослобоните себя! — выкрикнул Ибрай.— Вы уже хрипите!

И вновь палатка дрогнула от хохота.

— За лекцию спасибо,— говорил Леонид лектору Марченко, провожая его вскоре со стана и едва удерживаясь от смеха.— Очень понравилась! Жаль, что не вся бригада слушала...

А в палатке все еще раздавался безудержный хохот — с визгом, криками, оханьем и стонами. О, что тут происходило! Кто катался по полу, мучаясь от колик в животе, кто валялся на кровати, иступленно дрыгая в воздухе ногами.

В этот памятный час в душе Леонида, где уже больше недели было темным-темно, неожиданно вновь зажегся свет, каким она светилась нынешней весной.

Сразу же после лекции Леонид отправился к Тимофею Репке, который дня три назад вернулся из больницы и работал на тракторе Зарницына. Сегодня Тимофей проводил техход за трактором, что по очереди делали в последнее время все трактористы. Более часа Леонид помогал Репке, а потом, закончив техход, они прицепили сеялку и отправились к пахоте. Загрузив ящик сеялки зерном на краю первой клетки, где только что были сыпаны семена, Леонид сказал Репке:

— Садись, трогай!

Тяжелая сеялка тонула на пахоте больше, чем следует, и потому Леониду много раз пришлось регулировать диски. И все же к середине гона он добился своего: сеялка пошла!

К месту, где лежали мешки с зерном, Леонид вернулся почти с пустым ящиком. Отлично! Засеяно без малого полтора гектара. Сеялка отрегулирована правильно: на гектар уходит точно сто пятьдесят килограммов семян. Давненько Леонид не был так счастлив, как в эти минуты.

— Ну, Репка, начали! — закричал он Тимофею, когда тот выскочил из кабины, и могуче затряс его своими расходившимися от счастья ручищами. — Легло первое зернышко!

— Стой ты! Стой! — оборонялся Репка.

— Скоро свет увидит. Ужить будет.

— Обожди, чего ты? Как малый!

Леонид повернулся к засеянной пахоте, приветственно помахал рукой:

— Расти, зернышко! Расти!

Потом, словно извиняясь перед Репкой, сообщил:

— Первый раз в жизни сею, — и легонько дотронулся до груди Репки. — А это дело, скажу тебе по секрету, сызмальства считаю я святым. Отец, светлая ему память, приучал именно так смотреть на хлебопашество. Его завет выполняю. Правильно он говорил: хлеб всему голова. Вот поднимутся здесь огромные массивы пшеницы. Скольких людей мы накормим! И сколько же хороших дел сделают люди, подкрепив свои силы нашим хлебом! Мы дадим жизнь зерну — оно даст жизнь людям! Разве это не приятно сознавать? И потом... часть нашего зерна пойдет на семена! Они будут посеяны не только здесь, но и в других местах. Понимаешь? Так и пойдет наше зерно по всей стране! Пойдет и пойдет! Мы с тобой, дорогой дружище, умрем, а оно все будет жить и жить и давать людям жизнь. Вот как я смотрю на наше дело!

Тимофей Репка кивнул в сторону стана и сказал:

— Оглянись.

От колка со всех ног бежал Петрован. Он принес бригадиру только что полученный с почтой пакет из МТС. Быстро пробежав глазами по бумаге, Леонид сообщил, опуская внезапно потемневший взгляд:

— Вот и приказ...

— О чем же?

— Краснюк отстраняет меня от работы.

— За что?!

— За самоуправство и развал бригады.

II

А степь уже собиралась цвести...

Глазам своим не верил Леонид. Совсем ведь недавно здесь бушевала пурга, и казалось, что все в степи по-

гибло под снегом. А сейчас, куда ни глянь, всюду стелется ворсистый плющ молодой зелени. Полностью ожили и ошетинились крупные, похожие на кочки дернины ковыля, кистями, словно из барсучьего волоса, поднялись более мелкие дернинки типчака, а между ними густо полезло разнотравье и дружно выскочили на волю, на солнце, весенние однолетники с бутонами, а то и в цвету. «Еще какая-нибудь неделя, да если будет так же тепло — вся степь и зацветет, — подумалось Леониду. — Очень это красиво, говорят...»

Он остановился на небольшой гриве, огляделся: степь нежилась в мареве и тиши. Леонид опустил на одно колено, чтобы получше разглядеть да потрогать цветы белой ветреницы, и вдруг вспомнил, что когда-то обещал красавице мечтательнице Жене Звездиной прислать букет с целины. «Вот и не сдержу свое слово! — с горечью подумал Леонид. — Что же делать? Собрать вот этих, беленьких? Что уж есть...» Он быстро набрал букетик полураспустившейся ветреницы. Да поверит ли Женя Звезда, что так скромно цветет целина? Вдыхая едва уловимый запах ветреницы, Леонид спустился с гривки в низину, где видны были куртины тарначей. «И здесь скоро все зацветет», — удивился Леонид, войдя в тарначи и глядя, как обильно набрали бутоны желтая акация, жимолость и таволожка, а всюду между кустами лезут ирисы и пионы. И здесь, трогая рукой бутоны на ветвях низкорослых кустарников, Леонид второй раз за день с небывалой, острой болью почувствовал, как тяжело ему покидать степь.

Приказ Краснюка не был для Леонида неожиданностью. Но думать о новой близкой и неизбежной беде не хотелось.

Все время Леонида занимала лишь одна большая дума — о севе. Это кровное крестьянское дело, которым он собирался заняться впервые в жизни, волновало своей близостью так сильно, что он терял сон. Ему было радостно думать, что в каждом зернышке урожая, который пойдет с целины по стране, будет содержаться и его доля труда. Потому приказ Краснюка был тяжел для Леонида не тем, что в какой-то мере унижал его перед бригадой (хотя и это неприятно), а тем, что отрывал от дела, к которому так горячо рвалась его душа.

Но за короткое время на целине Леонид уже привык получать и сносить удары. Сегодня, когда он держал

бумагу Краснюка, опять очень своевременно и точно сработала в Леониде та чудесная пружина, которую обнаружил он в себе совсем недавно. Сегодня, пожалуй, Леонид сдержался даже без особых на то усилий, лишь сказав себе, что надо вновь держаться. Он стал как никогда мрачен, он почти потерял на время голос, но и только. Прошла минута внутренней борьбы, и он, спрятав в карман приказ Краснюка, сказал обычным тоном, будто ничего и не случилось:

— Ну, друзья, за дело!

Через час трактор Тимофея Репки вывел со стана к поднятой целине уже три сеялки. Почти все, кто был на стане, вышли посмотреть, как начнется сев.

— А ты больше не задерживайся—иди к Зиме,— сказал Черных Багрянову.— Не поможет—прямо в райком...

— Ох, не до жалоб сейчас!

— Знаю, но ведь надо!

— Неохота мне идти, Степаныч!

— Не пойдешь—я пойду.

Да, ему решительно не хотелось расставаться со степью, где его собственным трудом и трудом его товарищей было поднято уже немало целины. «Но что делать? Ведь Зима наверняка не поможет. Разве он заставит Краснюка отменить приказ? Нет, надо в район...— Леонид думал напряженно, но без горячности, какая была свойственна ему раньше в нелегкие минуты жизни.— Да и в районе помогут ли? Тяжба с начальством—дело нелегкое... Пока тягаешься с этой рыжей образиной—весна уйдет. Вот ведь в чем дело!» Не зная, чем унять боль души, Леонид вышел из тарначей. «Перебраться разве, пока не поздно, в другое место?—подумалось Леониду, но он тут же отверг эту мысль.— Легко сказать—перебраться! Да куда я могу уйти отсюда! От земли, которую обработал своими руками? От бригады? От могилы Кости? Нет, я должен быть здесь! Только здесь!» Поднявшись от тарначей опять на гривку, он остановился и, оглядываясь по сторонам, сказал себе вслух, рубанув рукой, твердо и даже зло:

— Только здесь!

И тут он увидел, что со стороны Заячьего колка его догоняют на мотоцикле. «Она! Тьфу, змея с синими глазами! Да что тебе надо?» Он помрачнел пуще прежнего и, понимая, что деваться некуда и встреча с

Хмелько неизбежна, опустился на пригретую солнцем землю.

Она очень удивилась, увидев в его руках букетик нежной белой ветреницы.

— Ну, сразу и жарко! Теперь начнет палить! — заговорила она, отойдя от мотоцикла и смело опускаясь на землю неподалеку от накупившегося Багрянова. — Далек ты ушел! Я не думала... — продолжала она, все поглядывая и поглядывая на букет цветов в его руках. — Вернулся в Лебяжье шофер, который возит вам семена, и говорит: «В Заячьем собираются сеять!» Я скорей туда...

— Туда — твое дело: ты отвечаешь за сев, — заговорил Леонид, не устаивая Хмелько взглядом. — А вот сюда зачем? Я ведь теперь не бригадир, что тебе от меня надо?

— Мне сказали, ты пошел в Залесиху.

— Ну и что же?

— Далек ведь! Дай, думаю, подвезу.

— Спасибо за заботу, — пробурчал Леонид. — Только я в Залесиху не пойду. Раздумал...

— Почему же? — встрепенулась Хмелько. — Ты должен пойти в райком! Ты должен рассказать там о Красноюке...

— А дальше что?

— Его заставят отменить приказ, и ты останешься здесь.

— Я и так останусь здесь.

— Но ведь он снял тебя с работы!

— Я ехал сюда не за должностью, а поднимать целину, — немного погодя сухо ответил Леонид. — Но пока что я лично поднимал ее мало. Теперь буду поднимать больше.

— Чем? Где?

— Трактором. У Заячьего колка. Отсюда сверну прямо на Черную проточину и буду вытаскивать наш трактор. Думаю, что уже пора.

— А его уже вытаскивают.

Леонид быстро обернулся к Хмелько.

— Seriously? Вот и хорошо! — Опустив взгляд, добавил: — Вот когда отсеюсь, тогда и за другие дела...

— Тогда и сразишься с Красноюком?

— Пожалуй, тогда уже поздно будет...

— Вот и я так думаю! — воскликнула Хмелько; в ее голосе послышалось осуждение. — Тогда тебе в райкоме скажут: а почему сразу не пришел, почему молчал?

— Да не поэтому поздно будет... — Леонид неожиданно усмехнулся совсем невеселой усмешкой. — Не с кем будет сражаться! Не понимаешь? Я думаю, когда мы закончим сев, Краснюка уже не будет здесь.

— Да куда он денется?

— Отбудет в милые пенаты.

— Неужели сбежит?

— А вот увидишь! Не лежит его душа вот к этой матушке-земле... — Леонид погладил рукой землю между дернинами, провел ладонью по зеленым. — А у кого не лежит к ней душа, тот не совет на ней гнезда.

— Может, ты сейчас...

— Думаешь, со злости наговариваю? Нет, я его раскусил! Правда, это могло бы случиться и раньше, да ведь не хочется плохо думать о людях. Очень это неприятно.

— О некоторых ты все же думаешь плохо.

— О тебе?

И тут Леонид впервые посмотрел на Хмелько долгим, пристальным взглядом. После той встречи, когда Хмелько не пустила его в Лебяжье, он видел ее лишь однажды — на похоронах Кости. Сильно изменилась она за эту неделю. Сегодня она была не в шубейке из курчавой овчины, а в новенькой прорезиненной куртке защитного цвета, хорошо спасающей от ветра, не в обычном своем заношенном лыжном костюме, который служил ей дорожной и рабочей одеждой в непогодь и грязь, а в шерстяной кофточке и юбке; вместо шапки она надела сегодня зеленый берет, вместо сапог — туфельки на низком каблучке. Даже в простой, грубоватой одежде Хмелько всегда оставалась по-своему изящной; теперь же в женской одежде, если исключить полувоенную куртку, она казалась (может, с непривычки) просто очень и очень нарядной для степи. Но эта нарядная одежда только оттеняла бледность ее лица, усталость взгляда. Она и сейчас была красива, она и сейчас могла ослепить синевой своих глаз, но Леонид смотрел на нее спокойно, без прежнего восхищения и любования. «Ишь ты, вырядилась! — думал он о ней беззлобно, но

все же с неприязнью.— А хитра-то, хитра! Думает, у меня горе, так я и раскисну, приласкаюсь к ней, чтоб утешила... Не жди, змеюшка, не жди!»

Чувствуя на себе взгляд Багрянова, Хмелько с большим волнением думала о том, что, быть может, не все еще потеряно.

— Ну что, опять не нравлюсь? — вдруг спросила она негромко, поведя глазами на Леонида.— Не понравилась со счастьем, не нравлюсь и с горем?

— Не начинай...— попросил Леонид.

Она замолчала, но не потому, что вняла его просьбе,— воспоминание об обиде, какую он нанес ей неделю назад, внезапно сдавило горло.

— Я рада, что ты передумал идти в Залесиху,— заговорила она после долгого молчания, не решаясь сердить Багрянова и надеясь вернуться к тому, что волновало ее, немного позже.— Ты непременно еще раз схватился бы с Краснюком, и тогда все пропало, и тогда не миновать уезжать тебе отсюда... Значит, на Черную проточину? Я рада. А трактор, наверное, уже и вытащили. Там теперь здорово обмелело. Подвезти тебя туда?

— Туда подвези,— ответил Леонид, собираясь встать.

— погоди,— остановила его Хмелько и вдруг спросила: — Кому же, интересно, ты этот букетик нес? Не Краснюку же?

— Хочешь знать? А зачем? — спросил Леонид.

— Хочу знать твои вкусы.

— Ты и так их знаешь.

— Но они, кажется, очень изменчивы? Не успела одна скрыться.— несешь букет другой.

— Ну, что ж, захватила с поличным, так деваться мне больше некуда! — тоном жулика, припертого к стене, проговорил Леонид.— Теперь ты знаешь меня как облупленного. Что ж поделаешь? Такой низкий я человек. На серьезные чувства не способен. Кого ни встречу — одно на уме...

Хмелько искоса посмотрела на Леонида.

— И я не составляю исключения?

— И ты.

На щеке Хмелько внезапно ожила ямочка.

— Ты думаешь, я обижусь? На это рассчитываешь? Наивные расчеты. Ведь я знаю, ты лжешь на себя и еще знаю — я тебе нравлюсь.

— Этого мало,— сказал Леонид.
— Все начинается с малого, даже Волга.

— Замолчи!

— Но ведь она уехала...

--- Вернется.

— Нет, не жди! — горячо возразила Хмелько и, обернувшись к Леониду, сдвинула брови и прищурила глаза.— Она уехала не потому, что заподозрила тебя в измене. Это только повод. А причина совсем другая. Она поняла, что ей никогда не привыкнуть к степи.

— Это неправда! Она сама говорила...

— Все мы любим говорить красивые слова! — перебила Хмелько.— Но ведь ты не мальчик, ты уже многое повидал в жизни. Так неужели ты всерьез поверил, что такая слабенькая, изнеженная девочка будет жить с тобой в этой глухой степи? Да ни за что! Ни за что! Пройдет дурман первой любви, и ей станет здесь плохо, очень плохо... Но ведь ты, как я тебя понимаю, не собираешься уезжать отсюда? Что же тебе делать? Бросить любимое дело, променять его на любовь к девочке, у которой совсем другой путь в жизни?

— Замолчи, она вернется! — крикнул Леонид.— Я написал письмо матери. Мать сходит к ней в Москве и уговорит вернуться, а если ничего не выйдет — после сева сам поеду...

Хмелько смотрела на небо, но уже сквозь слезы.

— Глупый ты... — промолвила она с нежностью и горечью.

Леонид поднялся с земли и некоторое время исподлобья, стиснув скулы, смотрел на Хмелько.

— Ты обещала подвезти. Подвезешь?

— Не могу, — ответила Хмелько.— Не ручаюсь. Как бы не разбиться нам...

— Тогда прощай...

— Прощай!

Леониду вдруг стало грустно и больно прощаться с Хмелько. Ему захотелось как-то утешить ее, как-то обласкать, чтобы облегчить эти минуты расставания навсегда. Он шагнул к плачущей Хмелько и положил ей на колени букетик ветреницы.

— Возьми. Это тебе...

И дошел, боясь оглянуться назад.

Через день Леонид Багрянов возвратился в Заячий колок на тракторе «С-80», который вытащили наконец из Черной проточкины. Едва открыв дверцу кабины, он озабоченно крикнул встречавшему его Корнею Черных:

— Ну, как у вас тут, Степаныч? Сеете?

— Сеем всюю! — отвечал Черных, подходя к трактору. — Дело идет хорошо.

Леонид соскочил на землю.

— Давай я буду сеять, — заговорил он, подавая руку Черных. — Сам знаешь, этот трактор выгоден на севе. От зари и до зари — и дам сто га. А приладимся — будем сеять и ночью. За неделю отсеемся. Только успевай готовить землю да семена! Возят их?

— День и ночь везут.

— И сеяльщиков дали?

— Дали!

— А погодка-то какая! Только сеять!

И Багрянов начал сев.

Для людей, где-то ведающих степью, это была очередная «весенне-полевая работа», которую нужно закончить в «сжатые сроки»; для молодых новоселов, поселившихся в степи, это было их новым делом, которому суждено надолго остаться в памяти; для Леонида Багрянова это было чем-то вроде священнодействия, таинством, которому он отдался весь, всем своим существом, как отдаются глубоко верующие люди молитве. От темна и до темна он своим трактором-богатырем таскал по мягкой пахоте, уже пообсохшей и начинающей пылить, пять сеялок, сразу засевающих полосу в восемнадцать метров шириной, и каждый раз, заканчивая обратный гон, с душевным трепетом отсчитывал про себя: «Еще семь гектаров с добавочкой! Еще семь!..» А сеяльщикам кричал:

— А ну, братцы, дружно!

С каждым днем становилось жарче. Заячий колок полностью оделся, целина ярко зазеленела, зацвели тарначи и разнотравье. Но Багрянов не замечал зеленой весны. День-деньской он видел только пахоту, от которой над трактором и сеялками поднималась пелена пыли, он видел рычаги в своих руках да ощущал не-

щадно палящее солнце. Он засевал за световой день каждый раз не менее ста гектаров, выполняя полторы нормы. Обедал всухомятку, на ходу. Когда совсем стемнело, останавливал трактор, при свете фонарей осматривал и заправлял его, не отходя от пахоты, выливал на гудящую голову несколько ведер воды, нехотя опоражнивал миску мясной похлебки и, прикрывшись курткой, быстро засыпал на мешках с пшеницей. Задолго до рассвета он опять уже был на ногах. «Железный парень!» — восхищались им лебяженцы.

Однажды утречком, на четвертый день сева, возвращаясь с дальнего края пахоты к северной опушке Заячьего колка, Леонид увидел: у кулей с зерном остановились две «победы» и знакомый «газик» главного агронома Зимы. «Вот тебе на, понаехали!» — с недовольством подумал Леонид, размышляя, что бы это могло значить. Остановив наконец сеялки для заправки, он выскочил из кабины и предстал перед Зимой. Главный агроном, обращаясь к прибывшим с ним людям, сказал:

— Вот вам и сам Багрянов...— А Багрянову представил своих спутников:— Это товарищи из Барнаула, из краевого комитета партии и земельного управления.

Когда знакомство состоялось, один из приехавших, высокий седовласый человек в свободной не то охотничьей, не то спортивной куртке и в запыленных сапогах из яловой кожи, спросил Багрянова, всматриваясь в его лицо.

— Вы писали в Центральный Комитет?

— Да, писал,— ответил Багрянов, смело встречаясь со взглядом седовласого человека из краевого комитета партии.

— Вы и сейчас держитесь своих мыслей, высказанных в письме?

— Как же я могу отступать? — от волнения потирая грязные руки, сказал Багрянов.— Не затем писал!

— Отступать не надо,— с одобрительной улыбкой согласился седовласый.— Раз уверен в своей правоте — держись крепко. Пока не разубедят в ошибке.

— А вы... надеетесь разубедить?

— Ну, за этим не стоило бы ехать специальной комиссией,— ответил седовласый.— Твое письмо, как ты уже догадываешься, из Центрального Комитета пе-

реслано нам, в крайком. Оно уже рассмотрено, и мы полностью разделяем и поддерживаем твои мысли.

— Вернее-то, это не мои мысли, а Куприяна Захаровича,— проговорил Леонид.

— Были его, теперь — твои,— возразил седовласый.— Хорошие мысли именно так и ходят по свету. Так вот, дорогой Багрянов,— продолжал он,— очень хорошо, что ты не промолчал, не похоронил своих хороших мыслей, а понес их в партию.

— Значит, здесь будет совхоз? — с нетерпением спросил Леонид.

— Да, будет,— ответил седовласый.— Вопрос уже решен: сорок тысяч гектаров земли вокруг Лебединого озера передается совхозу. Мы приехали, чтобы выбрать место для усадьбы.

— А чего его выбирать? — так и загорелся Леонид.— Взять от колка на восток — вот и все! Прекрасная площадка!

— Это где могила... Зарницына?

— Могила как раз и окажется в центре поселка, на площади... Его именем и назовем совхоз...

— Тоже прекрасная мысль.

— Давайте типовой проект, и начнем строить!

— Загорелся-то! — переглядываясь со своими спутниками, сказал седовласый о Леониде и тут же, заметив, что сеяльщики уже закончили заправку сеялок, проговорил: — Мы задерживаем сев... До вечера, Багрянов! Сей! Теперь уже на совхозной земле!

Вечером Леонид, к превеликой своей радости, узнал, что директором нового совхоза, которому присваивалось имя Зарницына, назначается Николай Семенович Зима.

За день, проведенный в Заячьем колке, Зима успел приготовить все, что требовалось для ведения сева ночью. При заходе солнца Леонид передал свой агрегат Тимофею Репке, и тот вскоре вышел сеять с фонарями. Когда наладилось все дело, Зима и Багрянов присели на мешки с семенами и закурили.

— Пойдем на стан, выпишь,— сказал после короткого молчания Зима.

— Я здесь посплю,— ответил Леонид.

— Какой тут сон?

— Теперь тепло.

— Но здесь же тебя тревожить будут!

— Ничего, я привык.

Зима неодобрительно покачал головой.

— Завтра возвращайся на свое место.

— Вот отсеюсь, тогда...— возразил Леонид.

— Упрямый ты, как дьявол!— сказал Зима с укором.— Может, и моих приказов не станешь выполнять? Что молчишь?

Не отвечая, Леонид укладывался на мешках.

— О ней ничего не известно?— вдруг спросил Зима тихонько.

— Пока ничего...— помедлив, отозвался Леонид.

— Да-а, молодежь!— вздохнув, воскликнул Зима.— Всё вы умеете делать, всё умеете строить: города, плотины, небоскребы! И здорово строите! Залюбуешься! А вот семью не умеете строить. Тут вам еще многому учиться надо!

— Идите, я посплю...

— Врешь, думать будешь.

Стояла тишайшая майская ночь, когда истомившейся от солнечного зноя земле не спится, а только чутко дремлет в лунном свете. Леониду казалось: не только в далекой небесной вышине, но и по всей степи, касаясь свежей, пахучей земли, мягкой пахоты, беззвучно двигалось, повсеместно вспыхивая, переливаясь и мерцая, необычайно могучее, бесконечное звездное половодье. И сам он вместе с кучей мешков, своим телом чувствуя тепло, хранимое семенным зерном, вдыхая его сытный запах, подхвачен звездным половодьем и несется, несется в неизведанные миры.

iv

На рассвете, отправив в последний рейс Тимофея Репку, Леонид Багрянов уже не смог уснуть. Через час пересмена — руки начинали гореть в ожидании работы. Да и какой сон, когда просыпается степь! Где-то вдали в чуткой предутренней тишине уже слышатся едва внятные, лопочущие птичьи голоса. Нельзя разобрать, какие же птицы заговорили сегодня первыми, но вслушиваться

и вслушиваться в их мелодичное лопотанье необычайно приятно: ты полон чувства безмерной близости к земле и ты счастлив, что вместе с нею встречаешь солнце. Да, как ни могуче было ночью звездное половодье, сколько ни носило его по неизведанным мирам, а он, Леонид Багрянов, к превеликому счастью, на прежнем месте: вот они, под рукой, мешки с пшеницей, вот она, рядом, безбрежно чернеющая пахота, а вон и Заячий колок, похожий на дремлющее среди степи зеленое облако. Все знакомо, близко, дорого! Приятно путешествовать, но еще приятнее вернуться на родную землю. Вернуться, да вот так, как сейчас, услышать лопотанье птиц у своих гнезд! Вернуться да увидеть, как над землей разгорается заря.

И вдруг все его существо прожгло такой болью, что хоть криком кричи на весь свет: видение разгорающейся над степью зари вновь и вновь напомнило о Светлане. Судорожно хватаясь за мешки, Леонид разом приподнялся и вцепился в рубаху на своей груди.

После бегства Светланы такое случалось с Леонидом очень часто. Не только днем, когда за делом, бывало, ему и подумать-то о Светлане не удавалось, но и ночью, во время глубочайшего сна, вдруг прожигало его насквозь совершенно нестерпимой болью-тоской. Днем, на людях, в работе, он все же мог сдержаться, хотя это и стоило ему огромных усилий, а вот ночью было хуже: он просыпался со стоном, а потом, едва отдышавшись, долго-долго сидел, бесцельно глядя сухими глазами в ночь. Не что другое, а именно это обстоятельство и было главной причиной того, что Леонид покинул палатку и, пользуясь теплой погодой, стал ночевать на мешках с зерном у пахоты. Шли дни, а его сердце так и не могло обтерпеться — боль разлуки со Светланой день ото дня становилась острее и несносней.

Рядом вдруг раздался знакомый голос:

— На кого ж ты... так уж... засмотрелся, что и не слышишь?

Это была Анька Ракитина. Оказывается, Тоня Родичева уехала в Лебяжье — повидаться со своей двоюродной сестрой, которая только что вернулась в село из Кузнецка. Вот Анька и вызвалась принести Леониду завтрак.

— На зарю смотрю, — нехотя сказал Леонид, узнав, почему появилась перед ним Анька.

— А чего на нее смотреть? Девчонка она, что ли?

— Отвяжись! — отмахнулся Леонид и вновь начал допрашивать Аньку: — Ну, хорошо, Тоня уехала, а почему не кто-нибудь другой, а именно ты принесла завтрак?

— А я ведь теперь свободна, — ответила Анька.

— Это как свободна?

— Так ведь отпахались же мы вчера! Два трактора — на техход, а нам отдых...

— Все допахали?

— Даже больше, чем по плану, — ответила Анька и польстила: — Твоя правда вышла. Как говорил ты...

— Ну, ладно, слей на руки!

Леонид умылся с помощью Аньки и присел на мешок. Развязав перед ним узелок с миской, полной разогретой вчерашней похлебки с мясом, Анька вновь заговорила:

— Видишь, что с руками? Узелок и то едва развязала. Ох, и наломалась я на этом проклятом прицепе, так, слушай, наломалась, что все косточки болят! И кто его выдумал, этот прицеп? На что уж я здоровая, вон какая, а и то не хватает сил...

— Ну и отдохала бы, — сказал Леонид.

— Успею! Теперь время будет! — ответила Анька. — Да это не пахота — одна маета. Но зато, как ни говори, приятно взглянуть: вон сколько землищи подняли! Глазом не окинешь! Что и говорить — поработали... Не раз вспомним за жизнь, верно ведь?

Леонид знал, что Анька искренне радуется успехам бригады и может гордиться не только работой других, но и своей собственной, — работала она, всем на удивление, с большим увлечением и даже с азартом. Впрочем, в последнее время Анька удивляла бригаду не только своим отношением к работе. После того как Деряба посетил Заячий колок, она как-то особенно присмирела, перестала заигрывать с парнями, больше того — отталкивала тех, кто вдруг начинал виться вокруг нее соколом. Даже ходили слухи, что у одного из ухажеров после разговора с Анькой наедине однажды долго огнем горело все лицо.

— Да, все вспомнится! — принялась мечтательно рассуждать Анька, так и не дождавшись ответа от занятого едой Леонида. — Вот как заколышется по степи пшеница, тогда и вспомнишь весну и поглядишь себе на

руки...— Она заботливо пододвинула к Леониду кусок хлеба и продолжала: — Ты знаешь, вся бригада радешенька, что будем в совхозе... До полуночи об этом только и разговору! Насилу спать улеглись. Да, хорошее здесь место для поселка. Простор! Воздух какой! И земля вокруг, рядом... Да тут, если застроиться как следует, не поселок будет — одна красота! Говорят еще, если кто не желает жить в совхозных домах, — строй себе домик отдельно! Вот бы, слушай, домик, а? Малюсенький, чистенький, весь в зелени! — Анька вдруг жалобно вздохнула и закончила с тоской: — Да пожениться бы, черт возьми, с хорошим парнем! Работящим да сердечным, как ты...

— Опять? — не поднимая головы от миски, спросил Леонид тихонько.

— Что ты, Леня, золотце, и не думаю! Боже упаси! — с испугом отвечала Анька. — Если хочешь знать, мне и так стыдно... Разошлась, дура! Давай завлекать! Не веришь, что стыдно? Ей-богу, стыдно! Даже удивляюсь, что со мной стало. Как отбило! Ну, а помечтать-то о хорошем парне разве я не могу? Я ведь сама не из плохих. Я тоже работающая, да и сердце имею... Мы бы знаешь как с хорошим парнем зажили! Ой, и не спрашивай! — Она помолчала некоторое время, а потом добавила полупшепотом, с горечью: — Истосковалась я по семейной жизни...

Леонид на минуту оторвался от миски, серьезно поглядел на Аньку, сказал с участием:

— Вон Черных, чем не парень?

— Парень-то он хороший, да очень строгий, — ответила Анька. — Не простит он мне...

— Добейся, чтобы простил!

От вздоха у Аньки высоко поднялась пышная грудь.

— Ты ешь, ешь, — заговорила она после минуты раздумья, подкладывая Леониду новый кусок хлеба. — Ты давно не гляделся в зеркало? Поглядишь! Страшный ты стал: худой, небритый, одни глаза...

— Не причитай! — одернул ее Леонид.

— А дотошный ты, дьявол, просто удивление меня берет, — заговорила Анька вскоре, увидев, что Леонид закончил завтрак. — Будто ты уже лет сто прожил на белом свете! Ведь вот ты сразу же догадался, что я не зря пришла...

— Что ж молчала так долго? — спросил Леонид, не веря, что у Аньки может быть к нему какое-то важное дело.

— Хотела, чтобы ты сперва позавтракал.

— Стало быть, серьезное дело?

— Ой, Леня, такое серьезное, что и не знаю, с чего начать! — Сунув руку за вырез кофты, Анька вытащила оттуда несколько отдельно свернутых вчетверо телеграфных бланков. — На вот, читай!

Перебирая в руках телеграммы, Леонид с внезапным смутным чувством тревоги осведомился:

— Все от Дерябы?

Кивнув головой, Анька ответила:

— Чуть не каждый день получаю.

— Слышал. А зачем мне даешь?

— А ты читай, читай! Светло ведь. Там ничего особого — все про любовь.

— Хвастаешься?

— Какое уж тут хвастовство?

— Но я не пойму, зачем мне читать про вашу любовь? — удивился Леонид. — Подумаешь, роман!

Анька нахмурилась и промолвила недовольным голосом:

— Зря я тебя сейчас похвалила!

— Но что же в них, в этих телеграммах?

— Здесь не его слова, — медленно и строго ответила Анька.

Леонид стиснул в руках бланки и разом прижал их к своей груди.

— Как не его?! — крикнул он вдруг сорвавшимся голосом. — А чьи же?

— Не знаю чьи, а только не его.

— Ты хочешь сказать, что это не Деряба шлет тебе телеграммы?

— Да.

— Так кто же?

— Не знаю.

— А Деряба? По-твоему, он не в Москве? Где же он?

— Он здесь.

— Где здесь? Где? Где?

— Не кричи ты, дурной! — прикрикнула Анька и оглянулась по сторонам. — Я не знаю где, но догадываюсь...

— Анька, умница ты! Анька! Анька! — весь горя и дрожа, приглушенно выкрикивал Леонид, хватая Аньку за руки. — А ты знаешь, у меня ведь тоже были такие мысли. Ой, думаю, здесь, здесь он! Да вот все слышу — получаешь телеграммы. Значит, думаю, ошибся. Ну, Анька, целовать тебя или нет?

— Не надо.

— И ты думаешь, это он... убил Костю?

— Да.

Агрегат Тимофея Репки уже приближался к краю пахоты. Леонид бросился к трактору и, едва Репка остановился, сам рванул дверь кабины.

— Слушай, Тимофей, ты очень устал? Сможешь еще поработать?

— Смогу, а что? — спросил Репка.

— У меня очень срочное и важное дело!

Через минуту Леонид шагал на стан так широко, что Анька, стараясь поспеть за ним, то и дело принималась бежать.

V

Солнце уже скрылось за гребнем высокого метельчатого камыша. Днем над северным побережьем Бакланьего одиноко, с мягким шелестом проносились кряковые селезни, безуспешно разыскивая своих подруг, схоронившихся в дебрях лабз, в своих гнездах, да низко над камышовой глухоманью, ловко планируя, проплывали зоркоглазые болотные луни. И только непоседливые камышевки надоедливо сновали в сухих зарослях вокруг полянки, будто без конца рассматривая Дерябу и Хаярова, которые лежали здесь на изъеденных молью кошмах. А вот теперь, едва за вечерело, всюду полезли с лабз на воду покормиться засидевшиеся на яйцах утки: они всюду булькали, плескались осторожно подавали голоса.

Первым поднялся с кошмы Хаяров.

— Пойдем, а? — предложил он Дерябе. — Нам ведь тоже кормиться пора.

— Обождем, — не сразу ответил Деряба; он лежал на кошме навзничь, прикрыв ладонью глаза, должно быть, о чем-то мучительно думая.

— Да ведь жрать охота!

— Ну и утроба у тебя! Никак не насытишь!

— Это от безделья,— попытался оправдаться Хаяров.— Сидишь, сидишь тут, в этих камышах, как дикая выпь, ну и тянет на жратву... Да и чего мы жрем? Этой их... казахской мазней мне все кишки залепило! Сейчас бы рубануть с кило жирной ветчины— вот бы да!.. Пойдем, шеф, слышишь, уже дымком наносит с берега...

— Не ной ты над ухом! — сердито сказал Деряба и шумно перевернулся на бок, чтобы не встречаться с дружком взглядом.

Некоторое время Хаяров, стиснув скулы, недобро, пожалуй даже с озлоблением, смотрел на согнутую спину Дерябы, потом, шмыгнув носом, презрительно произнес вполголоса:

— Дрейфишь ты, шеф, вот что!

Деряба не вскочил, как можно было ожидать, а лишь едва приметно дрогнул всем телом, а затем начал легонько скрести ногтями поваленный ветром камыш.

— Дальше...

— Дрейфишь, вот и пе идешь на берег.

— Дурак ты! Зелень поганая! — заговорил Деряба, вероятно понимая, как опасно ему терять сейчас свой обычный властный тон.— Тебе бы только брюхо набить. А вдруг кто заедет на машине? Не успеешь и тягу дать!

— А ночевать там не боишься?

— Ночью нас не возьмешь. Как залают собаки, мы тут же в камыши — и след простыл...

— Врешь, и ночевать дрейфишь, да деваться некуда! — с внезапной решимостью напрямую отрезал Хаяров; выражение его лица стало особенно хищным.— Я давно вижу: сдала твоя кишка, того и гляди напустишь в штаны! Ненадолго же хватило твоей храбрости! Так чего же мы сидим здесь целых две недели? Чего ждем? Надо же уходить, пока не поздно!

Но даже и такие неслыханно обидные речи Хаярова не сорвали Дерябу с кошмы.

— Много ты понимаешь! — воскликнул он как бы с сожалением, явно избегая задираться с Хаяровым и тем самым обнаруживая свою слабость.

— Ну, хорошо, я согласен, сразу нельзя было уходить,— продолжал Хаяров, веря и не веря своим неве-

селым наблюдениям над Дерябой.— Нас могли схватить в любом месте, особенно на станции или в поезде... А через неделю, когда все успокоилось, почему не сигануть было отсюда? Молчишь?

— Ох, зелен ты, зелен! — проговорил Деряба и, неожиданно поднявшись, обтер грязными ладонями заросшее густой рыжей щетиной лицо, словно продирает заspanные глаза.— Слушай ты, свистун, да мотай на ус! Нам надо было сразу же уходить отсюда...

— Но ты же говорил, что нас поймают!

— Говорил, да позабыл о психологии,— сдержанно, стараясь не уронить своего достоинства, признался Деряба.— Психология— мудреная наука. Ну, сам знаешь, кто из нас не ошибается? На ошибках учимся.

— Объясни толком,— угрюмо попросил Хаяров; с некоторых пор он привык чувствовать себя с Дерябой на равной ноге.

— Маху дали! — ответил Деряба и замялся, почему-то не решаясь сразу открыть перед Хаяровым все карты.— Тут вот какое дело... Сразу-то нас, пожалуй, никто и не искал, вот как я теперь думаю.. Подозрение было на этих трех горлопанов из Лебяжьего да на Ваньку Соболя, почему их и взяли. Подозрение было немалое, так зачем же еще кого-то искать? И они не искали... Мы могли тогда легко уйти. А помучились они с этими четырьмя балбесами — и схватились за головы. За кем вины нету, того сразу видно. Иной и сам на себя наболтает, а ему все одно не верят... Вот теперь они и поняли, что мы их направили по ложному следу. Спихватились и шныряют по всей степи. Не хотел тебе пока говорить об этом, да раз уж ты такой храбрый — получай. Сообращаешь, как нелегко уходить теперь отсюда! Вот я и думаю.

Откровение Дерябы оглушило Хаярова будто громом. Некоторое время он сидел на кошме, вцепившись в нее руками с таким чувством, словно летел на ней, как на ковре-самолете, но не в облака, а в пропасть. «Влопались! Ой, влопались! Ой, сели! — кричала вся его утробушка.— Вот отчего ему и жратва на ум не идет! Сели! Да как же теперь смыться-то отсюда?»

— Ну, кто из нас сдрейфил? Я или ты? — глядя на Хаярова исподлобья, с ненавистью, хриловатым голосом спросил его Деряба.— Гляди, какие у тебя со стра-

ху-то глаза! Как у филина. Тьфу, свистун поганый! Он еще Дерябу критиковать! Не-ет, тебе еще далеко до Дерябы!.. Я вот все знал, да никакого виду не подавал, а ты? Ну, а сейчас я тебе, если на то пошло, еще добавлю и тогда посмотрю, какая у тебя, такого храбреца, будет морда! Да знаешь ли ты, свистун, что нам сейчас и носа высунуть отсюда нельзя? Особенно тебе, у тебя он вон какой, хоть целину им подымай... Ты знаешь, как теперь розыск поставлен? Нажал кнопку — и заработала машина. Тут тебе и телеграф и рации... Куда ни сунься — и все к ним в лапы!

— Конечно, я такой-сякой! — кое-как собравшись с духом, обидчиво отвечал Хаяров. — Ты наговоришь! А сам ты какой? Хочешь сказать, все-таки храбрый? Так я тебе и поверил! Храбрый, а зачем, скажи, так оброс щетиной! Ты погляди, на кого ты похож? Дикий кабан!

У Дерябы свело в сторону все лицо.

— Эх ты, чадо! — произнес он с презрением, не найдя слов, чтобы в полной мере выразить свое отвращение к ничтожеству Хаярова. — Значит, ты думаешь, что я оброс от трусости? Да просто я больше тебя соображаю!

— Что же мне не сказал? — подозрительно спросил Хаяров. — Я тоже бы на всякий случай не брился... Или сам хочешь скрыться, а я пропадай? Так, да?

— Опять же ты дурак! — не моргнув глазом ответил Деряба. — Я не брился — у меня на то причина: вон какие угри пошли. А у тебя какая причина? Этот самый... Иманбай, он сразу бы догадался, что отращиваем мы бороды неспроста!

— Иманбай и так косится, — сказал Хаяров. — Сначала-то, конечно, ему понравилось, что мы сбежали с целины... И он всему верил, что говорили. Захотели перед отъездом в Москву поохотиться с недельку на озере — верил; укрываемся, чтобы силком не заставили вернуться на целину, — верил... Ну и водочка помогала ему верить, сам знаешь! Сколько было выпито? Все запасы с Черной проточины... А вот теперь как протрезвел, черный хорь, так и начал коситься. И заметь, как ни придем на ночь, так начинает выпрашивать: где сидели на гусей той ночью, да как заблудились, да скоро ли в Москву...

— Но я ведь хромой! — напомнил Деряба.

— Тоже не верит!

Солнце еще стояло над горизонтом, а в камышах уже становилось сумеречно. Чуткая тишь окутывала озеро. Далеко слышалось, как под лапкой утки, бредущей своей тропкой к гнезду, с хрустом ломались пересохшие камышины. Где-то в зарослях, не так уж близко, устраивалась на покой некая птичка-невеличка, а все слышно было: и как она перепархивала с места на место, и как встряхивала крылышком, расправляя на себе перо... На плесе, где стояла у края лабзы лодчонка, пригнанная с Черной проточины, на удивленье звучно, будто они кормились поверх воды, чавкали караси.

— И караси жрут,— после длительного молчания со вздохом проговорил Хаяров.— Эх, ухи бы!..

— Сейчас пойдем,— пообещал Деряба.

— Ну, а когда же ты все-таки чего-нибудь надумаешь? — не утерпев, поинтересовался Хаяров.— Уходить-то отсюда совсем надо ведь.

— А вот сегодня и скроемся.

— Нет, это точно, шеф? Точно? Дай слово!

— Ставлю печать.

— Но как скроемся? На крыльях? По небу?

— Неплохо бы!..— серьезно добавил Деряба.— Но раз нет крыльев, улизнем и по земле...— Ему и теперь не хотелось до конца быть откровенным с Хаяровым, но, увидев, с какими глазами слушает его растерявшийся дружок, он презрительно усмехнулся и решил все же поведать о своем плане.— Вот этот самый Иманбай и поможет нам скрыться... Не веришь? Да если я захочу, он нас, хитрая животиночка, за пазухой куда надо унесет! Понял? У него есть знакомые люди в Казахстане — отправит туда, а ведь Казахстан — другая республика. Здесь нас ищут, а там и знать о нас не знают! Когда еще дойдут туда розыски! Они пойдут через Москву да Алма-Ату. Вон какой крюк! Мы еще у казахов можем жить да поживать!

Но этот план почему-то не успокоил Хаярова.

— А если Иманбай не поведет?

— Заставлю!

Хаяров опустил голову и надолго задумался. Вновь и вновь вспомнилась ему та страшная ночь, когда горела степь, и последние минуты Кости Зарницына. Невмоготу и вспоминать, что пережито той ночью, а вот не вы-

ходит из головы, да и только! Никуда-то, видно, не денешься от неотвязных и жутких воспоминаний. Немало пережито по милости все того же Дерябы и за последние две недели, на озере Бакланьем. А что ждет впереди? Вряд ли Иманбай согласится добром вести их в Казахстан сегодняшней ночью. А начни принуждать — недолго до беды. Окончательно разобравшись, с кем свела его судьба, старик может выкинуть что угодно: судя по всему, у него горячий, несносный характер. Конечно, Иманбай страдает оттого, что ему пришлось покинуть халупу, совсем недавно сложенную своими руками, покинуть хорошие пастбища. Он обижен до последней степени. Он зол на всех, кто мешает ему жить привычной жизнью и пасти коней в степи. Но из тех разговоров, что велись с Иманбаем за две недели, все же совершенно ясно: старик не захочет их спасать, догадавшись, что они убийцы. Дела складывались так плохо, что Хаяров готов был поменяться жизнью с любой земной тварью, лишь бы не жить в страхе.

— Втравил ты меня!.. — со злобным стоном, чуть не плача, бросил он вдруг в сторону Дерябы, как это случилось уже не однажды. — Ведь когда шли, давал же ты слово: только попугаем... Помнишь? Сколько я просил тебя: не бесись, не лезь с ножом!

— Замолчи, зануда, давно уже все сказано! — прорычал Деряба в бешенстве. — Ты же своими глазами видел, как все вышло! Он же узнал меня!

— А ты не рычи на меня! Не бросайся! — прокричал Хаяров, вновь стараясь показать свою независимость. — Ишь ты, разрычался! Ты вот лучше скажи-ка: убил ты человека, а что доказал? Кто испугался-то? Как ветром сдуло отсюда бригаду, да? Сдуло? Эх ты, пророк? Как работала, так и работает! Ну, что на это скажешь? Есть на свете патриотизм или нет?

— Ты что, тоже идейным стал?

— Да уж лучше, чем «мокрым делом»...

— Замолчи, гад, а то глотку вырву! — заорал Деряба, вскакивая со сжатыми кулаками; похудевшее, бордатовое лицо его горело, а глаза побелели от злости. — Я его спасаю, гада, а он на меня? Ты долго будешь?.. Молчишь? Вот так-то лучше: прикуси себе, зануда, язык! И помалкивай...

Вышли они на берег, когда скрылось солнце.

Ужинали в землянке, на полу, перед очагом, в ко-

тором дотлевала аленькая кизячья зола. Деряба ел неохотно и, как только Иманбай, сидевший у застолья, помолился, сказал ему, чтобы он дал двух коней и сам проводил их до станции. Поймав удивленный взгляд Хаярова, Деряба как бы пояснил:

— До станции Кулунда.

Иманбай долго сидел, не отвечая, устремив взгляд вверх, как и во время молитвы, внешне спокойный, но по тому, как легонько подрагивали его веки, чувствовалось, что решение гостей об отъезде вызвало у него множество мыслей, и скорее тревожных, чем радостных.

— Зачем ночью-та пойдем? — спросил он наконец, так и не меняя молитвенной позы. — Луна нет. Дорога нет.

— Нам на утренний поезд надо, — сказал Деряба.

— На вечерний можно.

— Ну, ты нас не учи, — строго косясь, одернул Деряба хозяина. — Мне неохота лишнюю ночь спать вот в этой духоте... Надоело.

Пока шел этот разговор, Хаяров осторожно наблюдал за Иманбаем. Не было никаких сомнений: старик окончательно прозрел и догадался, кого он приютил в своей землянке, чью водку, доставленную с Черной проточины, пил две недели. Один раз Иманбай коротко переглянулся со своим сыном Гаязом, и Хаяров понял: хозяин сказал сыну взглядом, что тот давно прав, относясь к гостям враждебно, а он, старый дурак, совсем ослеп — не разглядел, кого пустил в свой дом... «Поведет ли он в Казахстан, когда мы потребуем этого в пути? — подумал Хаяров. — Не заведет ли он нас, как Сусанин? Ой, выдаст! Ой, по глазам его вижу! Тьфу, влопались! Да я-то за какую такую вино? За что мне-то сгубил, гад, всю жизнь, а?»

Еще раз переглянувшись с сыном, Иманбай заговорил с ним по-казахски.

— Что ты ему говоришь? — перебил Деряба старика.

— Говорю: иди лови коней, — с неподдельным удивлением ответил Иманбай. — Сам просил. Ехать надо — конь надо...

Указав Дерябе глазами на Гаяза, который уже направлялся к двери, Хаяров сказал:

— Я схожу помогу ему.

— Сходи,— быстро согласился Деряба, поняв, что Хаяров ради предосторожности решил не сводить глаз с молодого табунщика.

Гаяз и Хаяров вышли из землянухи, а через несколько минут вернулись с уздами и арканом в руках. Молодой казах о чем-то заговорил с отцом на родном языке.

— О чем это вы? — вновь перебил их Деряба, приподымаясь с кошмы, где собрался было отдохнуть.

— Он спрашивает, каких коней ловить надо,— спокойно ответил Иманбай, казалось совершенно не придавая значения подозрительности гостя.

— А-а,— протянул Деряба, отворачиваясь от старика и вновь примеряясь, как лучше улечься на кошме.

Той же секундой Иманбай, проворно вскочив, навалился на него и вцепился в его шею. Хаяров и Гаяз молча бросились помогать старику, собираясь тут же связать Дерябу, как успели договориться об этом, когда брали узды и аркан, но Иманбай вдруг заорал благим матом: Деряба зубами впился ему в руку. Несколько секунд всеобщего замешательства — и удачно начатое дело было испорчено. Разъяренный Деряба был уже на ногах и, остервенело разбросав всех в стороны, вырвался на волю.

У Дерябы оставался один путь — бежать к той поляне-логову, где провалялся он в безделье две недели, а там к лодке... Будь в его руках ружье, он легко ушел бы в степь. А что сделаешь с ножом? Ему могли перебить картечью ноги, а потом взять живьем, что и было, вероятно, задумано подлым Хаяровым ради спасения своей шкуры. Вот и оставалось скрыться на лодчонке, а там где-нибудь высадиться и уйти в степь.

Добежав из последних сил до полосы чистой полой воды, за которой начинались камыши, Деряба вдруг сорвался с ног. Барахтаясь в воде, он услышал радостные выкрики Гаяза и с ужасом догадался, что его зарканил молодой табунщик, будь он трижды проклят! Крича про себя и стоная от злобы на весь белый свет, Деряба свободной правой рукой выхватил из ножен на поясе финский нож и в одно мгновение перерезал веревку на своей груди. Когда он вскочил на ноги, Гаяз и Хаяров, орущие что-то, были уже совсем близко.

— А ну, гады, где вы? — заорал им Деряба, поднимая над головой нож.— Кто первый, иди сюда! Налетай!

Увидев, что Деряба освободился от аркана и стоит уже с ножом в руке, Гаяз и Хаяров враз смолкли, остановились и начали отходить назад. О, как запела в эти секунды яростная душа Дерябы! Сколько торжества было в его разгоряченном взгляде! Деряба уже хотел броситься на своих врагов, чтобы проучить их на всю жизнь, но тут внезапно увидел в стороне от землянухи, на фоне вечерней зари, грузовую автомашину и бегущую от нее к озеру группу людей. Душа Дерябы вместо песни прокричала смертным криком: «Облава!» Все слилось перед глазами и поплыло, как туман... Расплескивая мелководье, будто и в самом деле дикий кабан, Деряба бешено понесся к темным зарослям камыша.

До зарослей оставалось совсем близко, когда Деряба понял: он бежит кочкарником, совсем не той тропой, что вела к знакомой поляне. «Куда же я взял? Вправо? Влево? — Эти мысли будто обжигали мозг Дерябы.— Куда же бежать? Сюда? Нет! А куда же? Вот сюда?» Он заметался еще сильнее между кочками, отыскивая свои прежние следы, но везде были лишь старые, не обхоженные наново тропы. Но вот Деряба совсем неожиданно для себя оказался среди высокого кочкарника, где в прошлом году по закрайке камышей прошелся огонь, и только тут понял: вгорячах он взял намного левее знакомой тропы. Обругав себя самыми последними словами, Деряба метнулся вправо, но тут же увидел бегущих к озеру людей. Ему ничего не оставалось, как вломиться в камыши в незнакомом месте, только бы поскорее скрыться с чужих глаз!

Но как это трудно, да еще в невероятной спешке, да еще в темноте, заново прокладывать путь в камышах, по заброшенной тропе! Деряба не бежал, а летел, будто выброшенный из трубы, запинался, падал, перевортывался, раздирал камыш руками и зубами. Дерябой двигали уже не его силы (не мог он быть так силен!), а один ужас, беспредельный ужас, превративший все его существо в судорожно конвульсирующий живой ком, завернутый в какое-то тряпье.

Но и ужас не смог вынести обезумевшего Дерябу из камышей к воде, где он надеялся, опередив преследова-

телей, добраться до лодчонки и потом скрыться на другой стороне озера. Через какое-то время Деряба оказался на плавучей лабзе, которая ходила под ногой ходунном, зыбилась, хлябала и оседала иногда так глубоко, что хоть грудью ложись на бугор, поднимающийся перед тобой. Деряба почувствовал, что еще несколько секунд — и он упадет, харкая кровью. Он провалился в лабзу до колен, ухватился обеими руками за камыш и, покачиваясь из стороны в сторону, хрипя всей грудью, продержался так на ногах более минуты. Он старался вслушиваться, но ничего не слышал, ничего: на всю степь стучало одно его сердце. Он не слышал даже того, как из-под ног у него с криком вырвалась кряква.

Дальше Деряба уже не бежал, а только шел, хрипя, как загнанный лось, раздирая камыши. Оставалось не так уж далеко до плеса, когда он почувствовал, что его нога вдруг ушла под лабзу, — она была здесь особенно хлябкой. Деряба не успел крикнуть: лицо ободрало корнями камыша, омыло вонючей водой...

На том месте, где провалился Деряба, несколько секунд то тут, то там вздрагивала лабза и встряхивался камыш, и еще одна кряква, заорав как полоумная, сорвалась с гнезда и унеслась в вечернее небо.

Поздним вечером Леонид Багрянов после облавы на Бакланьем и безрезультатных поисков Дерябы усталый, мокрый до пояса, с исцарапанным о камыш лицом возвратился в Заячий колок. Приехал он на коне из табуна Иманбая. Передав повод своего жеребчика Гаязу, который сопровождал его, поблагодарив за услугу и пригласив молодого табунщика держать связь и дружбу с новоселами, Леонид с трудом поволок ноги к палатке, где в раскрытом оконце виднелся свет. «Не спят, — мельком отметил Леонид. — Меня поджидают». Леонид думал, что кто-нибудь, услышав радостный визг Дружка, вьющегося вокруг него, вот-вот выбежит навстречу из палатки. Но никто не выбежал. Совсем рядом с палаткой, у березы, где висел отвал, служивший бригаде колоколом, Леонид вдруг увидел в темноте двух чужих оседланых коней. «Кто бы мог быть — начал он гадать. — Не Громов ли? Кажется, его кони-то?» Он завернул к березе, чтобы лучше разглядеть коней, и оказался совсем близко от раскрытого оконца палатки, в котором

при свете коптилки виднелись вихры парней да девичьи кудри. И тут же он весь обомлел, услышав в палатке негромкий, дорогой голосок Светланы...

VI

В положенный срок на вспаханной и засеянной целине взошла пшеница. Вскоре она уже шагала по черной, хорошо прогретой солнцем пахоте бесконечными стройными рядами, как ходили когда-то в атаку войска. С каждым днем ее движение нарастало, становилось мощнее, неустойчивее, отчаяннее, и пришло время, когда пшеница будто хлынула под ветром по степи, подобно могучей зеленой лавине, вырвавшейся из недр самой земли.

Все бригады совхоза имени Зарницына, закончив сев, с неделю отдыхали. Люди любовались первыми всходами на созданной их руками пашне, знакомились с ближней степной округой, а потом, приведя в порядок тракторы, опять начали штурм целины. Под знойным солнцем, которое теперь палило совершенно нещадно, целина быстро высыхала и твердела. Вновь заточенного лемеха хватало лишь для одной смены: затвердевшая, проросшая травами земля будто сжигала железо. В Заячьем колке, который стал центральной усадьбой совхоза, день и ночь гремела, лязгала, дышала огнем кузница.

В середине лега, когда вся целина вокруг Лебединого озера была поднята и бригады перешли на залежи, с которых убиралось сено, часть людей была отозвана на строительство усадьбы. На помощь молодым новоселам прибыл также большой отряд строителей из Барнаула. По всему Заячьему колку, в тени ветвистых берез, будто грибы, поднялись палатки. В колке стало необычайнолюдно и шумно. В короткое время вся обширная площадка, отведенная под усадьбу совхоза, была завалена штабелями деталей для сборных домов и строительными материалами, доставленными со станции Кулунда, и штабелями сосновых бревен из лебяжского бора. От зари до зари не прекращался здесь грохот, гвалт и стук топоров: новоселы торопились поставить первые жилые дома еще до начала жатвы.

За горячей работой на строительстве и на пахоте молодые люди не замечали, как летит время и как растет пшеница. А росла она, особенно после обильных июньских дождей, так невиданно буйно, что этим не могли надивоваться старожилы Алтая: никогда еще им не приходилось видеть такое чудо в своей степи. Выметав колос, пшеница некоторое время волновалась под ветром, будто ей не хватало простора, а когда подернулась позолотой — отяжелела и уже заколыхалась, зашумела спокойно и могуче, как море. И тогда откуда ни возьмись здесь появились молодые, только что покинувшие гнезда чайки. Целыми днями они неутомимо и стремительно носились над пшеничным половодьем, то взмывая в небесную высь, то касаясь крылом золотой волны.

1954—1959

Алтай — Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Глава первая	5
Глава вторая	45
Глава третья	93
Глава четвертая	141
Глава пятая	189
Глава шестая	229
Глава седьмая	275
Глава восьмая	309
Глава девятая	345

ИБ № 1423

МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ БУБЕННОВ ОРЛИНАЯ СТЕПЬ РОМАН

Редактор **Г. Коледенкова**
Художник **В. Нагаев**
Художественный редактор **О. Червенева**
Технический редактор **Л. Дунаева**
Корректор **М. Стрига**

Сдано в набор 11.10.78.

Подписано к печати 05.12.78.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура литерат. Печать
высокая. Печ. л. 12,0. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 21,01.
Тираж 150 000 экз. Заказ № 9-24. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза
писателей РСФСР. 121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4.

Отпечатано с матриц ордена Ленина типографии
«Красный пролетарий», Москва, на книжной фабрике
им. М. В. Фрунзе РПО «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР,
Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

